

Алексей  
ВАРЛАМОВ

Лауреат премии «Большая книга»



ПОВЕСТЬ

# сердца

*Тепло человеческого воздуха*

## Annotation

Алексей Варламов стал классиком уже при жизни, и его повести вместили жизнь целого поколения. Они отстаивают «устаревшие» в эпоху креативности и мобильности понятия чести, сердечности и открытости, справедливости и любви. И обаяние этой тягучей медовой прозы непреодолимо.

В книгу вошли известные произведения «Рождение», «Дом в деревне» и «Падчевары». А также новая, недавно законченная автором семейная сага «Ева и Мясоедов». События каждой из этих повестей тесно переплетены с историей жизни самого Алексея Варламова и жизнью современного мира. Пережиты, продуманы, глубоко прочувствованы. Это художественно осмысленная, воплощенная в образах и судьбах яркая и драматичная история общества, история времени.

---

- [Алексей Варламов](#)
  - [Рождение](#)
    - [Часть первая](#)
      - [1](#)
      - [2](#)
      - [3](#)
      - [4](#)
      - [5](#)
      - [6](#)
      - [7](#)
      - [8](#)
      - [9](#)
    - [Часть вторая](#)
      - [1](#)
      - [2](#)

- 3
- 4
- 5
- 6

- Часть третья

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

- Ева и Мясоедов

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

- Дом в деревне

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

- [12](#)
  - [Падчевары](#)
    - [Зимняя рыбалка на озере Воже](#)
    - [Летние ночи в Падчеварах](#)
    - [Осенний поход в Коргозеро](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
-

# **Алексей Варламов**

## **ПОВЕСТЬ СЕРДЦА**

### ***(сборник)***

*В этой книге собраны четыре повести, которые прежде дорого достались мне в жизни и лишь потом были написаны. В них ничего не выдумано.*

*За каждой стоят судьбы людей, иных из которых уж нет на свете. Эта книга — моя благодарность тем, кто не пожалел для меня памяти своего сердца.*

**Рождение**  
***Повесть***

## Часть первая

### 1

Первый раз младенец шевельнулся в животе матери на исходе пятого месяца жизни. Его крохотные мягкие ручки и ножки уже давно задевали гибкую стенку матки, но прежде их движения были слишком слабыми, и женщина их не ощущала. Теперь же она почувствовала легкое прикосновение, вздрогнула и прислушалась. Он толкнулся снова, и если бы кто-нибудь увидел в эту минуту ее лицо, то, будь это даже человек очень холодный либо ожесточенный, он бы наверняка многое простил всем несовершенствам и несправедливостям земной жизни. Но кроме большой лохматой собаки видеть ее было некому: муж уехал в лес, и она была одна в просторной, по-осеннему прохладной квартире, где все отличалось когда-то крепостью, добротностью и порядком, а теперь медленно приходило в запустение. Женщине было тридцать пять лет, это была ее первая беременность, и возраст, некрепкое здоровье и хрупкое телосложение сильно ее беспокоили. Она добросовестно и вовремя обошла всех положенных врачей, и хотя ее предупреждали, что беременность будет сложной и, возможно, она ее не доносит, никто поначалу не говорил ничего плохого.

Давали обычные в таких случаях советы, но все равно последние месяцы женщина жила в неуверенности и тревоге, со страхом прислушиваясь к тому, что происходит в глубине ее тела.

От этой тревоги и неопределенности она никому, ни мужу, ни матери, ни ближайшим подругам, ничего не говорила про свое положение, а хранила и носила в

себе эту тайну, опасаясь сглаза, несчастья, несвоевременных поздравлений, любопытства и удивления.

Она была замужем двенадцать лет, и давно все родные и знакомые, прежде шутливо намекавшие на потомство, но постепенно замолчавшие, были уверены, что она никогда не родит. Своим тактичным молчанием они уверили в том же и ее, и когда то, чего она так ждала и отчаялась дожидаться, внезапно свершилось, ее охватил трепет. Она долго боялась и не разрешала себе поверить окончательно, пока в угрюмом, всегда избегаемом ею учреждении с нелепым названием «женская консультация» не подтвердили: беременна, предположительно восемь недель, будете оставлять? — холодно, даже неприязненно; но когда она их торопливо перебила, конечно, оставлять, обошлись приветливее, с непривычной для этого места заботливостью и велели через месяц приходиться ставиться на учет.

Все это показалось ей тогда странным и необъяснимым, тем более что в последние годы они бывали с мужем близко редко. Их брак, заключенный когда-то не столько по любви, сколько вследствие наваждения, давно перешел в привычку, и былая страсть превратилась в заботу друг о друге, а потом и эта забота угасла. Почему так случилось и можно ли было этого избежать, она не знала, но то, что у нее не было ребенка, не просто ее печалило, а обесмысливало саму ее жизнь. Она никогда не говорила на эту тему с мужем, и хотя допускала, что он тоже страдает, вся вина ложилась на нее, или она незаслуженно ее на себя брала, если только можно говорить о вине в подобных случаях. Впрочем, в глубине души она имела свое объяснение, почему так долго не могла забеременеть: от нее слишком ждали этого ребенка — его родители, он, ее родители — и в минуты близости она никогда не



могла расслабиться и отвлечься от этой настойчивой мысли, так что со временем даже супружеские отношения потеряли для нее всю прелесть и превратились в скучную утомительную обязанность, которую она под всяческими предлогами избегала.

Наверное, она была плохая жена своему мужу, но ни он, ни его жизнь интересны ей не были. Совместное проживание казалось чем-то вынужденным, и сколько она ни пыталась убедить себя в том, что в мире миллионы бездетных семей и сотни тысяч из них счастливы, а если и несчастны, то совсем по другим причинам, к ней эти рассуждения не имели никакого отношения.

Муж никогда не высказывал недовольства, он много и увлеченно работал, на выходные и праздники часто уезжал в лес и возвращался оттуда свежий и отдохнувший. Он был по-своему к ней внимателен, но подспудно в ней жило убеждение, что рано или поздно она останется одна. Она была к этому готова и ничуть не удивилась бы, если бы однажды он сказал, что уходит. Она полагала даже, что если он этого и не делает, то лишь потому, что ему мешает дурно понимаемая порядочность, но все это заставляло ее, умную, спокойную женщину, становиться подозрительной, мелочной, прислушиваться к его телефонным разговорам, напрягаться, когда он где-то задерживался, и барахтаться в отвратительной житейской мути.

Это чувство, равно как и мысль, что он ей изменяет, казалось настолько унижительным и их самих недостойным, что иногда она всерьез задумывалась о том, чтобы уйти первой и освободить этого человека, которого она теперь если не любила, то все равно уважала.

Она была готова это сделать сама, потому что сейчас это было легче, чем через несколько лет, когда

она станет зависимее и слабее, но в то лето, которое она выбрала для разрыва, и подоспели неприятные признаки — сонливость, усталость, тошнота, что случалось с нею и раньше и что, обманываясь, она часто принимала за беременность, а потом жестоко разочаровывалась. И эта истинная беременность вторглась в жизнь женщины, заставив ее позабыть о всех своих подозрениях, невысказанных упреках и намерениях.

То, что испытала она в те летние месяцы, вернее всего следовало назвать ужасом перед собственным, но точно чужим, стремительно меняющимся телом и еще более изменившейся психикой. Она сама себя не узнавала и не понимала: ей часто хотелось плакать и сделалось невыразимо жалко себя. Никогда она не чувствовала себя такой беззащитной, уязвимой, одинокой и никому не нужной, и никогда окружающий мир не казался ей столь враждебным и жестоким. Она боялась подолгу оставаться дома одна, боялась выходить на улицу, боялась куда-нибудь ехать. Все время ей мерещилось: что-то случится с трамваем, загорится поезд в метро, взорвется подложенная террористами бомба, нападет в темноте убийца или маньяк, и, ничего не говоря о своих страхах мужу, она инстинктивно к нему тянулась, хотя в последние годы он только раздражал ее молчаливостью.

Должно быть, от внимательного взгляда все эти вещи едва ли ускользнули бы, однако муж был слишком занят собою, чтобы обращать внимание на подобные причуды. И, сталкиваясь с его отчужденными глазами, она замыкалась и таила все в себе. Она жила словно в скорлупке, лелея и оберегая свое тело, пронося его как драгоценный сосуд, и даже баночки с мочой для анализа казались ей чем-то очень значительным, ибо имели непосредственное отношение к происходящему с младенцем.

Так прошло, словно в забытьи, лето, не жаркое в тот год, но душное и сырое, а потом наступила осень, и ей стало легче. Она не испытывала больше приливов дурноты, не падала в обморок и как будто успокоилась и затихла. В глубине ее тела жил маленький ребенок, жил с нею всегда — когда она гуляла, спала, ходила на работу, и хотя ей по-прежнему казалось, что весь мир ополчился на нее, теперь, после того как дитя зашевелилось, она почувствовала себя не такой одинокой.

Женщина подошла к окну и отодвинула штору. Сильный ветер срывал с деревьев мокрые, светло-желтые, с ржавыми крапинками листья, листья падали в лужи, по лужам барабанил дождь, все было в лохмотьях — и небо, и земля, и люди с развевающимися полами плащей, торопливо проходившие по улице, наклонив головы и с трудом удерживая зонты.

А рожать ей только в феврале. Впереди еще вся осень и больше половины зимы: скользкие тротуары, снежные заносы, ранние сумерки и долгие глухие ночи. Она и страшилась и торопила время. Ее живот был пока не заметен, но скрывать свое положение удастся еще недолго. Она с тоской подумала о соседях, о любопытствующих бабках возле подъезда, о своих сослуживцах и родне, о новых перешептываниях, толках и преувеличенной заботе со стороны людей, которые были ей несимпатичны.

Дождь за окном не кончался, женщина не спеша оделась, позвала собаку и вышла из дому. Ей не слишком хотелось гулять в такую погоду, но она побрела вдоль канала, мимо шлюза, где уходили вверх в Волгу и вниз в Оку последние баржи, ветер рвал мокнувшее на веревках белье, ходил по палубе одетый в непромокаемый плащ матрос в меховой шапке, равнодушно поглядывая по сторонам, и так же равнодушно и лениво смотрел через залитое дождем

стекло в рубке капитан, гадая, сколько их продержат в этом шлюзе на северо-западной окраине Москвы.

## 2

Мужчина сбился с дороги, когда до деревни оставалось не более трех километров. Он решил сократить расстояние, пошел напрямик через лес и полчаса спустя понял, что заплутал. Давно должна была показаться деревня, а лес делался сырее и неприятнее, на смену елям и соснам пришел низкий ольховник, продираться через который было неловко и нелегко. Местность эта была расположена далеко на север от Москвы, здесь шел уже не дождь, а снег, случались крепкие утренники, лужи не успевали за день оттаять, и очень странно выглядели по обочинам заброшенных лесных дорог застывшие мерзлые сыроежки и рыжики.

Шел седьмой час, приближались сумерки, и мужчина пожалел, что не взял в этот раз собаку. Леса эти он знал недостаточно хорошо, и ничего другого, как ночевать здесь, ему не оставалось.

Присев на поваленное дерево, заросшее упругими опятами, он пересчитал оставшиеся в пачке сигареты — единственное, чем в отсутствие еды мог скрасить себе ночь. Их было шесть штук — четыре целых и две сломанных. Он взял сломанную, закурил, но она еле тлела. От земли, от деревьев, от неба тянуло стужей, в воздухе сгущалась темнота, и ему сделалось жутковато. Даже топора, чтобы развести приличный костер, у него не было. Он с тоскою оглядел хмурое, студеное небо и уходившие к нему верхушки худых и гибких деревьев, взвалил рюкзак и решил, что будет идти, пока хоть что-то видно. Ветки хлестали его по лицу, ногами он задевал поваленные стволы и торчавшие в разные стороны сучья, несколько раз

падал, порвал сапог, но упорство его было вознаграждено.

Полчаса спустя в плотных сумерках за редкими деревьями блеснула вода, и он увидел лесное озерцо. Окруженное топким берегом и кривыми маленькими соснами, оно выглядело довольно зловеще, хотя необыкновенно красиво. Он никогда не бывал здесь прежде, но по рассказам местных знал, что где-то на берегу есть избушка, и, рискуя в темноте свернуть шею, пошел вдоль воды, пока не уперся в бревенчатый сруб.

В первый момент он даже отказался поверить в свое везение. В избушке то ли кто-то жил, то ли постоянно сюда наведывался, но, осветив ее спичкой, он увидел на столе керосиновую лампу, банку с чаем, кружки, консервы, дрова, пилу, топор и рыболовные снасти. «Не хватает только водки», — подумал он радостно, но водка, пожалуй, и не требовалась.

Минут десять он сидел не двигаясь, наслаждаясь покоем и запахом жилья, выкурил сигарету, а потом затопил печку, принес воды, начистил и поставил вариться картошку. Теперь спешить было некуда, он делал все по своему обыкновению аккуратно, получая от каждого из этих простых действий то неизъяснимое, особое удовольствие, какое способен ощутить в лесу лишь горожанин. В десятом часу вечера, когда в избушке стало совсем тепло, он поужинал и, сидя у огня, покуривая крепкую «Астру» и попивая сваренный из озерной воды чай, погрузился в сонное, неторопливое течение своих мыслей.

Он подумал о том, что еще недавно, всего несколько лет назад, он бы не смог почувствовать всю прелесть этой избушки и этого леса, его ощущения не были бы такими полными и глубокими, потому что он был слишком честолюбив, мучился от сознания своего несовершенства, к чему-то стремился, — теперь же, слава Богу, все это ушло. Быть может, его нынешнюю

покойную и размеренную жизнь нельзя было назвать громким словом «счастье». Это было скорее довольство, понятие, заклеенное как обывательское, но, в сущности, безобидное и никому не причиняющее зла. Теперь все то, что он считал прежде целью каждого уважающего себя человека — дело жизни, признание, заслуженный успех, — потеряло былую привлекательность и в цене оказались совсем иные вещи. Наверное, это было что-то вроде преждевременного старения, но он, мечтавший о невероятно интересной, захватывающей жизни, полной поездок, шума и встреч, он, желавший прославить свое имя и гордившийся собою, презиравший тех, кто разменивался на мелочи, довольствовался тем, что ходил в тихий академический институт, откуда разбежалась половина народу, не рассчитывал более ни на какую карьеру, ни на то, что его позовут за границу, и лучшими своими днями считал те, когда дважды в году, в мае и сентябре, ездил в глухую деревушку на границе Архангельской и Вологодской областей к скуповатой старухе с диковинным именем Текуза, которая за батон колбасы и два килограмма карамели сдавала ему комнату в громадной избе и весьма гордилась своим образованным непьющим постояльцем. При этом он не был ни охотником, ни рыболовом, ни грибником, в его отношении к природе не было ничего материального и корыстного — он просто любил лес, любил по нему ходить, медленно и тихо, чтобы не вспугнуть раньше времени лесную птицу или зверя, слушать и вбирать в себя его запахи и звуки, и если и собирал корзину ягод или грибов, то делал это в охотку, не придавая этим дарам никакого значения. Местные жители его не понимали и считали за чудака, которому можно простить бесполезную трату времени лишь потому, что он горожанин, чужак, — а он был счастлив

тем, что за целый день не встречал не только человека, но даже следов чьего-либо присутствия.

Лишь здесь ему было по-настоящему хорошо, и порою он думал, что пройдет еще несколько лет — и он переселится в эту деревню или такую избушку насовсем, чтобы забыть о жизни, похоронившей его лучшие и худшие устремления, обижавшей его невезением, непониманием, черствостью, жизни, в сущности, не сложившейся по его ли вине или потому, что так вышло и жизнь не складывается у девяти десятых, только редко кто в этом сознается. Друзья, которых он растерял, потому что друзьям завидовал больше всех, и чем ближе был ему человек, тем больше раздражали его успехи; те немногие женщины, с которыми он ненадолго сходилась, но быстро остывал, чувствуя, что им надо тепла, а ему самому было холодно; жена, его совсем не понимавшая, чужая и равнодушная женщина, единственное достоинство которой заключалось в том, что она не мешала ему жить, как он хочет. А ведь если бы кто-нибудь сказал ему десять лет назад, что все так скучно и заурядно сложится, он бы этому человеку никогда не поверил. Он слишком высоко себя ставил и ценил, чтобы так быстро сдаться и опустить руки, а теперь и сам не знал, к лучшему или худшему то, что с ним произошло. Но в любом случае его судьба не самая печальная, по крайней мере он свободен, здоров и у него еще будет достаточно времени и сил, чтобы насладиться лесными дорогами, остожьями, ручьями и не считать свою жизнь напрасной.

Дрова в печи догорали, и нужно было точно угадать момент, когда закрыть трубу, чтобы не выпустить лишнее тепло и не угореть. Это была достаточно тонкая вещь, и когда ему случалось топить печь, он иногда ошибался. Но теперь ошибиться не хотелось: ничто не должно было испортить этот вечер. Дрова еще

переливались красным и желтым жаром, дрожали, рассыпались на угольки и подергивались налетом золы. Он отсел от печки и глядел, как отражаются огоньки в маленьком, затянутом паутинкой окошке, выходявшем на озеро. Интересно, кто срубил и хранил в порядке эту избу? Как она уцелела, не была разграблена и сожжена? Мало ли людей шляется нынче по лесам даже в этих глухих местах. Но так или иначе он был благодарен неведомому человеку, не просто избавившему его от необходимости ночевать в промозглom лесу, но подарившему ощущение счастья.

Мужчина закрыл печь, вышел из избушки и подошел по деревянным мосткам к озеру. Теперь определить его величину было невозможно, но, сколько он помнил, оно было совсем маленькое. Такие озера обычно бывают очень глубокими, и он с волнением подумал о непуганых громадных рыбах, которые медленно шевелят жабрами и где-то спят в ямах, изредка поднимаясь на поверхность, и во всем своем великолепии выбрасываются из воды. После жарко натопленной избушки холод был приятным, и он долго стоял на берегу, разглядывая то темную воду, то небо, где слегка прояснило и через лохматые облака проглядывали скуповатые редкие звезды. Он уже сильно замерз, но уходить было жалко, и он стоял и стоял на этом мостике, точно желая унести с собой ощущение темноты, смешанной с запахом озера и леса, и вдруг охватила его печальная и ясная мысль, что никогда больше такой ночи и такого пронзительного чувства благодарности миру и жизни за то, что они есть, у него не будет. Он не мог объяснить себе точно, отчего так подумал и что помешает ему прийти сюда снова, но от мысли, что он уедет, а озеро и изба останутся, ему сделалось тоскливо, как тяжело больному человеку, в покойный и ясный день



разглядывающему небо через запыленное больничное окошко.

Он вернулся в избу и в этом печальном настроении лег спать на грубые нары, подстелив под себя замасленную телогрейку. Спал он долго, беспокойно ворочался: он все-таки угорел слегка, а под утро замерз, и всю ночь его мучили сны, точно он куда-то едет по разбитой, некрасивой дороге на телеге с мерзлым картофелем, прицепленной к трактору, и не знает, куда и сколько еще ехать.

Когда он проснулся, погода переменилась. Нежное осеннее солнце освещало озерцо, и оно казалось не угрюмым, как накануне, а веселеньким и домашним, словно аквариум. Мужчина позавтракал и в знак благодарности оставил хозяину лесной избы складной нож.

По небольшому ручью, вытекавшему из озера, он спустился к реке, на которой стояла деревня, и пошел вдоль берега. Дорога была красива, на деревьях и на траве блестела паутина, шелестели под ногами листья, и в обнаженности леса было что-то музейное. Когда ему случалось подниматься на поросшие соснами гряды, открывались бесконечные темные дали, и казалось, что отсюда можно увидеть полунощное море. Он шел неслышно и неторопливо, и лицо у него было загадочным и вороватым, как у счастливого любовника.

Но когда несколько дней спустя он вернулся в свой заводской район возле водохранилища, в душе у него возникло странное ощущение, что эта поездка в лес, самая удачная из всех, была дана ему как роздых перед чем-то очень тяжелым, с чем ему неминуемо предстоит столкнуться, и он не мог отделаться от смутной тревоги, затенявшей его радость.

— С тобой все в порядке? — спросил он жену, открыв скрипнувшую дверь в спальню.

Она ничего не ответила, но его взгляд, не равнодушный и отчужденный, как обычно, тронул ее.

— Что-нибудь случилось?

— Случилось, — волнуясь, неожиданно для себя самой произнесла она.

— Что?

— Я жду ребенка.

— Какого ребенка?

Она как-то виновато-довольно улыбнулась, как улыбалась только в первые годы их общей жизни, и показала руками на живот.

Однако загорелое, обветренное лицо мужа выразило не радость, а растерянность.

— И что ты решила? — спросил он осторожно, и она не сразу поняла, что он имеет в виду, а когда догадалась, то лицо ее потемнело, она остро пожалела о своих словах и подумала, что никогда ему этого вопроса не простит.

### 3

Младенец привык к организму матери не сразу. Первые недели, когда женщина еще не была уверена в своей беременности, между нею и крохотным зародышем шла яростная борьба. Ее оплодотворенная после стольких пустых лет Бог знает какая по счету яйцеклетка вызвала целую бурю, и все ее существо начало сопротивляться посторонней жизни. Будь женщина на десяток лет моложе или случись это не первый раз, сопротивление не было бы таким упорным. Но, лелея мысль о дитяти, мешая тревогу и страх с нежностью и любовью, она и помыслить не могла, насколько близок был зародыш к гибели. Однако от своих ли родителей, от природы или по воле Бога он унаследовал отчаянную цепкость и, несмотря на

лихорадку первых месяцев, сумел прицепиться к стенке матки и крепко за нее держался.

Это был младенец мужского пола, обещавший стать здоровым и крепким мужчиной, он изнурял мать, но сумел взять от нее самое нужное, он был жаден, эгоистичен, жизнестоек, у него были свои ощущения и эмоции — он делал все то, что следовало ему делать, и развивался, как развиваются миллионы человеческих детенышей, кому удалось избежать преждевременной гибели или внутриутробного убийства.

Большей частью он спал и во сне рос, но, отделенный от внешнего мира непроницаемой оболочкой, частично воспринимал происходящее за пределами материнского живота. Он любил, когда мать гуляет, любил мелодичные плавные звуки, но плохо переносил, когда она нервничала, боялась или съедала что-нибудь острое. Он был весь в ее власти и целиком от нее зависел во всех мелочах, между ним теперешним и тем, кем ему предстояло стать, лежало громадное расстояние, несоразмерное с самой человеческой жизнью, и преодолеть его было еще сложнее, чем прожить жизнь.

Подобно тому как в спокойствии ясного дня облачко на горизонте может означать приближение ненастья, в организме женщины исподволь накапливалось и развивалось неблагополучие. Оно было пока незаметным, его не могла почувствовать ни сама женщина, ни определить опытные врачи или умные приборы, но младенец забеспокоился и принялся посылать матери сигналы, выплескивавшиеся в мутных снах.

Эти сны были поначалу мимолетны, и, просыпаясь, она их не помнила, лишь чувствовала себя после ночи разбитой. Но однажды ее разбудило особенно пронзительное сновидение. Была лунная ночь, комнату освещал зыбкий неприятный свет, ей чудился

привезенный мужем запах леса, костра, грибов, болота и лесных ягод — запах, который она так любила прежде, но теперь раздражавший ее, как почти все запахи.

Несколько минут она лежала не двигаясь, вытянув руки вдоль затекшего, онемевшего тела, и ждала, не шевельнется ли маленький. Но, утомленный, он заснул, и она опять почувствовала себя одиноко. Сон не шел: женщина с трудом повернулась на бок и поглядела в окно. Там, за деревьями с поредевшей листвой, медленно и бесшумно двигалась самоходная баржа. Она остановилась в шлюзе и стала подниматься, вырастая до размеров невероятных.

Женщина включила ночник и взяла молитвослов. Она не была прежде религиозна и даже крещеной не была, но, с тех пор как забеременела, читала тайком от мужа утренние и вечерние молитвы. Она не могла в точности объяснить, зачем это делает, тем более что чужие, непонятные и таящие в себе угрозу слова не приносили ей ни утешения, ни облегчения, и, всю жизнь далекая от Бога и церкви, она казалась себе теперь самозванкой, но отступить было еще страшнее.

В последнее время она много думала о своей жизни, о странных совпадениях и обстоятельствах, ей сопутствующих, о том, почему именно теперь был послан ей этот ребенок, и никак не могла отрешиться от мысли, что все случившееся с нею произошло вопреки тому, что зовется судьбою, ребенка у нее быть не должно и законы природы, к человеку безжалостные и бесстрастные, эту ошибку могут в любой момент исправить. А потому, если у нее родится ребенок, то произойдет это лишь неким чудесным образом. Размышляя так, она решила, что не может носить и родить, будучи некрещеной, но всякий раз, когда она приближалась к церкви и входила в холодное, пустынное здание с его заунывным пением, возгласами

причта и шепотком молящихся, ее охватывал озноб. Она не хотела туда — там все было слишком чужое и немилосердное, там пугали ее и взгляды святых на иконах, и колючие взгляды церковных старух, и, постояв несколько минут, она торопливо выходила на улицу.

Но в ту ночь она почувствовала, что откладывать дальше нельзя, она была слишком встревожена тягостным сном, в котором ее дитя жаловалось. Женщина нежно поглаживала живот и смотрела за окно, где уже совсем рассвело и давешняя громадная баржа ушла в водохранилище. Утро было туманным и тихим, обещая солнечный день — один из тех редких теплых дней начала октября, какой посылает природа людям, прежде чем замереть, и она подумала, что если не решится креститься сегодня, то не сделает этого никогда.

## 4

Когда женщина вошла в храм, шло причастие в алтаре. По случаю воскресенья народу было много, люди томительно переминались, что-то невнятно бубнил чтец возле левого клироса, и от духоты и запаха ладана ей стало дурно. Она подошла к старухе в черном халате, стоявшей за свечным ящиком, и та сказала ей, что крестить будут после службы в крещальне.

Мужчины, женщины, патлатые парни и орущие младенцы с крестными и вопреки запрету пробравшимися родителями, видеокамеры, фотоаппараты, вспышки — десятка три или четыре человек набилось в небольшое помещение с бассейном, недавно выстроенное возле храма. И все, что последовало затем, когда пришел монашествующий батюшка с большой залысиной и редколесной бородкой,

выстроил всех в круг, раздал свечи и, торопливо обходя собравшихся, стал совершать таинство — действие, менее всего к этому слову подходящее, а потом сначала мужчины, затем женщины окунались в маленький бассейн-купель с мутной водой, — поразило ее своей грубостью, суетливостью и несоответствием тому, что она от этого дня ждала, и подумалось даже, не обман ли это и можно ли считать такое крещение вступлением в пугавшую ее Церковь.

Однако, когда все было окончено, женщина почувствовала облегчение. До последней минуты она боялась, что-то помешает свершиться тому, что произошло в этом переполненном помещении, где ей пришлось раздеться донага и она ловила на себе удивленные взгляды других женщин; она боялась, что не будет допущена, и теперь испытала благодарность почти детскую, чистую, что никто ее не остановил и у нее и ее младенца, уже как бы крещенного во чреве матери, есть свой ангел-хранитель.

В этом благостном настроении она медленно шла домой и тихонько рассказывала ребенку, что теперь он не должен ничего бояться, все будет хорошо и ничто им больше не грозит. Но когда она поднялась в квартиру, то увидела в глазах мужа тревогу.

— Где ты была?

Она пожалала плечами и ничего не ответила, потому что вообще была с ним холодна после того вопроса, и уж тем более не собиралась рассказывать о крещении — он бы не понял ее и сказал со своей обычной снисходительностью, что креститься — это не таблетки от кашля принимать, и если она думает таким образом помочь себе и ребенку, то глубоко ошибается.

Но муж сказал совсем другое:

— Ты знаешь, что происходит?

— Нет.

— Война, — ответил он лаконично.

Остаток дня они просидели у телевизора, пока не отключили первый канал, а поздно ночью мужчина собрался и поехал в центр города. Он уже уезжал два года назад в августе и поехал теперь, потому что очень уважал пухленького, мило причмокивающего единственного интеллигентного и порядочного человека, пробравшегося во власть, этой властью отвергнутого и преданного, а теперь призывающего всех честных людей встать на ее защиту. А женщине снова сделалось страшно. Ей было все равно, кто с кем воюет и кто победит, но сообщения были такими кошмарными, что всю ночь она не могла уснуть. Ей представлялись дома с выбитыми стеклами, отключенным электричеством и водой, пустые магазины, очереди, толпы людей, выстрелы. А если именно в это время ей придется рожать?

Уснуть она не могла. Собственная квартира казалась ей ненадежной, и, хотя в их районе было тихо, страх был сильнее рассудка, ибо это был страх не за себя, а за младенца.

Чтобы успокоиться, она взяла Евангелие. Она вспомнила, когда-то давно она читала одно место, имевшее непосредственное отношение к тому, что происходило вокруг и к ней самой. Она стала торопливо листать потрепанную дореволюционную книгу, где половина страницы была напечатана по-старославянски, а другая по-русски, и глаза выхватили из текста: *также услышите о войнах и военных слухах, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам... и тогда соблазняются многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут и прельстят многих; и по причине умножения беззакония во многих охладает любовь...*

Она читала очень быстро, но каждое из этих зловещих и, казалось, уже осуществившихся

предсказаний грозно отдавалось в ее сердце, и наконец она дошла до самого важного: ГОРЕ ЖЕ БЕРЕМЕННЫМ И ПИТАЮЩИМ СОСЦАМИ В ТЕ ДНИ! Она прочла эту строчку и снова ощутила физическую дурноту, как и в первые недели беременности. Ей сделалось душно, и, держась рукою за стенку, она пробралась к балкону.

Ночь была звездная, прохладная и тихая. Пахло сыростью и прелой листвой; мигая огоньками, двигалась по каналу баржа, и гудела вдали электричка — все было как всегда, с той поры, как она помнила себя выросшей в этом доме девочкой. *Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет. А с ней все произойдет именно зимою...*

Женщина смотрела на темный парк, на жилые дома по ту сторону водохранилища и едва угадываемую в ночи телебашню, где шел в это время бой, и думала о том, что от ее крещения ничего не изменилось, а только отчетливее прояснилось: ее не рожденное еще дитя стало заложником и жертвой охватившего город безумия.

Он не хотел рождаться в этот мир, он боялся его, и с этим страхом поделаться ничего она не могла. Она физически ощущала приближение беды, и осторожный, лукавый вопрос, заданный мужем в тот день, когда она сказала ему о беременности, показался ей не таким кощунственным. Может быть, он был прав, и если зачатие не произошло раньше, не следовало испытывать судьбу теперь, когда против них было все, что только могло быть. И даже Тот, у Кого искала она защиты, предрекал ей горе.

Под утро вернулся мужчина.

Он сел возле телевизора и смотрел, как американские корреспонденты направляют камеры на дымящееся здание, на пробегающих людей, машины,



танки, лицо у него было недоуменное и незащищенное, точно он вдруг помолодел и поглупел. И ей странно было подумать, что этот человек станет отцом ее ребенка. Между ними давно уже не было ничего общего: она не могла высказать ему ни одно из своих опасений, ни на что пожаловаться — она была предоставлена самой себе. Но самое главное было не это — и она отчетливо понимала: весь ужас был в том, что их ребенок был зачат без любви.

## 5

Первый колокольчик прозвенел в конце октября. В тот день женщине сделали ультразвуковое исследование и велели срочно ложиться в больницу.

— Это что-то серьезное? — спросила она у пожилой врачихи, выписывавшей направление, и внутри у нее все жалобно заняло.

— Милочка, в гинекологии и акушерстве серьезно абсолютно все, — ответила та, не поднимая головы.

— И надо обязательно в больницу?

— Пишите расписку, что отказываетесь, но я за жизнь вашего ребенка не ручаюсь.

— Нет-нет, я согласна, — сказала она торопливо и заискивающе, — приходилось вырабатывать эту отвратительную манеру общения — и спросила:

— Скажите, а как по-вашему, что с ним?

Врач оторвала глаза от листка и сквозь толстые очки посмотрела на нее:

— У вас очень серьезная патология, и, судя по всему, плод развивается с грубыми пороками.

— Но ведь я себя хорошо чувствую, — возразила женщина, отчаянно цепляясь за призрачную надежду, что все это только ошибка.

— Да он у вас там умрет, вы ничего не почувствуете.

— А разве так бывает? — спросила она растерянно.

— Сколько угодно. — И ее поразил какой-то дьявольский сладострастный блеск, мелькнувший в глазах врача, она запоздало подумала, что не надо было ничего спрашивать, потому что, даже если эта старуха и находит удовольствие в том, чтобы говорить гадости, даже если это ложь или дополнительный аргумент упрятать ее в больницу, все равно оставшиеся дни до родов будут отравлены одной-единственной фразой: «Да он у вас там умрет, вы не почувствуете».

Она вышла из кабинета, не чуя под собой ног, и взмолилась: толкнись, маленький, ну толкнись, но младенчик затих. Всю дорогу до дома ее трясло, она боялась, что опоздает и ребенка не успеют спасти.

— Может быть, тебе чем-нибудь помочь? — спросил муж, наблюдая за ее лихорадочными сборами.

Она посмотрела на него невидящими глазами:

— Узнай, где эта улица, — и протянула бумажку с адресом.

Больница находилась в одном здании с роддомом на краю большого поля и в сумерках возвышалась над ним как застывший корабль с рядами освещенных окон. В приемном отделении ей велели снять с себя все вплоть до белья, нательного крестика и обручального кольца. Она отдала вещи мужу, и уже когда, закутавшись в больничный халат, прощалась с ним, ее поразил его взгляд: он смотрел на нее с жалостью и страхом, как смотрят дети на взрослых, когда заболевают и им становится жутко оттого, что рушится целый свет. Он ничего не говорил, а только держал ее за руку и смотрел, и она чувствовала на себе этот взгляд и тогда, когда дверь за нею закрылась.

А мужчина медленно пошел домой в пустую квартиру. Его встретила жалобным поскуливанием собака, он налил ей холодного супа, но сам есть не стал и не раздеваясь прошел в комнату. Надо было что-то

делать, но у него не было ни желания, ни сил, и он сидел в кресле очень долго, пока совсем не стемнело.

Прошло больше месяца с того утра, когда жена сказала ему, что беременна. И если поначалу, давно уже не думавший о ребенке, он воспринял это известие настороженно и отнесся как к какой-то помехе, то теперь снова, еще больше, чем когда бы то ни было, и совсем иначе, чем в молодости, он полюбил мысль, что станет отцом. Это точно давало ему некий шанс возместить и исправить то, что казалось уже навсегда утерянным, и пусть не в себе, но в своем ребенке осуществить неосуществленное им самим.

Особенно отчетливо он это понял в ту зябкую ночь в центре Москвы, в негустой толпе защитников демократии, собравшихся под памятником Юрию Долгорукому, он понял, хотя никогда бы и никому в этом не признался, что ему нет дела ни до судьбы страны, ни до судьбы демократии, пусть придет диктатор или иноземный завоеватель, он не шевельнет и пальцем, потому что его собственная жизнь была теперь нужна ребенку. Он смотрел на жену с надеждой и мольбой, он был готов простить ей ее холодность, равнодушие, отчужденность, только бы она родила здорового, крепкого сына, потому что иначе вся его жизнь и даже та избушка на лесном озере, его странствия по лесам и болотам, все это очарование и восхищение природой будут не выходом, а тупиком, все это имеет смысл лишь в том случае, если будет кому подарить и оставить эти леса и горьковатые запахи осени. И теперь, когда жену положили в больницу, когда выяснилось, что с ее беременностью не все благополучно, он испытал ужас. Он мог смириться с тем, что из него ничего не получилось, но мысль, что его еще не родившемуся ребенку угрожает опасность, была для него нестерпима.

Видеться с женой он не мог, разрешали только звонить по телефону из вестибюля. В этом нарядном, сверкающем вестибюле, украшенном несколькими стендами с фотографиями, на все лады рекламирующими платные роды и аборт, стояло два телефона. Вокруг них собиралась большая очередь, и, просиживая в ней почти по часу, он невольно слушал, как ликующие, ошалевшие от счастья отцы, бабушки и дедушки поздравляли рожениц и подбадривали тех, кто вот-вот должен был родить, что-то возбужденно кричали, спрашивали, вырывали друг у друга трубку и точно соревновались в том, чтобы наговорить как можно больше ласковых слов. И ему в довершение ко всей его душевной сумятице было нестерпимо обидно на них глядеть и думать, что у жены все осложнено какими-то обстоятельствами и неизвестно, как все еще пройдет. Когда же очередь доходила до него, он говорил, чуть прикрыв трубку ладонью от сидевших рядом людей, вполоборота, воровато, но все равно ему мерещилось, что все догадываются и смотрят на него с неловкостью. Его никогда не поторапливали, но он спешил, комкал слова и быстро уходил, отдавая бабушке в белом халате передачу с фруктами и кефиром.

На улице он искал глазами жену, вознесенную на самый верхний этаж этого здания, но трудно было понять, какая из застывших у громадных окон женщин его жена. Он махал рукой наугад, а потом поворачивался и шел к метро, чтобы завтра прийти снова и услышать от жены спокойные и ровные слова, узнать, что за ночь ничего не произошло, ей делают уколы, ставят капельницы, дают таблетки и все идет своим чередом.

Она говорила с мужем уверенно и спокойно, но когда он уходил — она провожала его глазами до угла серого жилого дома, — ее охватывало невыразимое отчаяние. Ей было худо, очень худо в этой сверкающей, лоснящейся от чистоты больнице. Никогда в жизни она не видела ничего более гнетущего, чем отделение патологии в родильном доме.

С утра до вечера по этажу ходили как сомнамбулы нечесанные женщины, каждая погруженная в себя, со своими несчастьями, болями, думами и бессонницами, лежавшие кто по месяцу, а кто и не по одному в постоянном страхе и изматывающем ожидании. Она избегала слушать их разговоры, все об одном и том же — аномалиях, пороках, отклонениях, когда они собирались после ужина вместе и точно заводили друг друга. Но волей-неволей узнавала вещи, о существовании которых прежде и не подозревала. Чего только не было в природе, какого дьявольского изобретательства она не проявляла, чтобы превратить и без того непростые вещи — беременность и роды — в муку. И когда она думала о своем ребенке, ей хотелось, чтобы родился мальчик и никогда не знал то, что узнала за эти три недели она.

Порою ей казалось, что она попала сюда по ошибке, что ей ничего не делают, если не считать нескольких уколов и капельниц, ей не нравился лечивший ее врач, скучающий, безразличный мужчина сорока лет, равнодушный и к ней, и к ребенку и ничего определенного не говоривший про ее состояние. Было вообще непонятно, что она тут делает и что тут делают с ней. Часами женщина простаивала возле окна и глядела на мерцавшую и тревожно переливающуюся огнями Москву, на глухой, уходивший за кольцевую дорогу лес.

За все это время она сошлась только со своей ровесницей, попадьею. Попадья рожала уже в шестой

раз, она ходила по коридору с огромным животом, переваливаясь как гусыня, но было в этой дебелой, раздавшейся женщине с редкими волосами и увядшей кожей что-то очень привлекательное и несмотря ни на что красивое. Каждый день к ней приходил бородатый, худощавый муж с целым выводком детей, они стояли под окнами, кричали и махали ручками, попадья давала по телефону строгие наставления, и от этой сильной, крепкой женщины исходила уверенность. Она точно дарила надежду, что когда-нибудь бессмысленное заточение окончится и окажется, что страдание было необходимым. Но потом попадья ушла рожать, и женщина осталась одна.

Дела ее были не слишком хороши. У нее была фетоплацентарная недостаточность или, как более доходчиво объяснила заведующая отделением, слишком раннее созревание плаценты. Ребенку покуда ничего серьезного не угрожало, и он развивался нормально, но если это созревание не остановить и не подкрепить организм матери, то плод начнет страдать от недостатка питания и кислорода.

Заведующая говорила довольно мягко, она не запугивала, а разъясняла, но каждую ночь женщина просыпалась и прислушивалась, шевелится ли ребеночек, и зловещая фраза, оброненная в консультации, не шла у нее из головы. А он вел себя очень странно: то надолго замирал, то, наоборот, беспокойно толкался и капризничал. Во всем этом ей чудилась его жалоба, и она сходила с ума от волнения и неопределенности своего положения.

— А что будет, если не удастся остановить старение плаценты? — спросила она однажды у заведующей, специально дождавшись в коридоре, когда та возвращалась с обхода.

— Давайте считать, что нам все удастся. — В голосе послышалось недовольство. — Мы проводим курс

лечения, ситуация стабилизировалась, и вас скоро выпишут. Но через две недели вы должны будете лечь снова и пройти повторный курс.

Она понимала, почему эта аккуратная, строгая женщина была недовольна: такие вещи надо спрашивать у своего врача, но ему женщина не доверяла. Она и заведующей-то не слишком верила. Она не верила никому. Чем больше судьба сталкивала ее с врачами-гинекологами, тем больше она убеждалась в том, что это были, как правило, неприятные, избалованные, высокомерные люди, привыкшие к дорогим подаркам и очень не любившие, когда их о чем-нибудь пытаются спросить.

Надо было искать других врачей, кто бы мог во всем разобраться и объяснить, что с ней происходит, потому что без понимания этого она не могла жить дальше.

В середине месяца ее выписали из больницы, но смятение, с которым она лежала, только усилилось. Как ни тягостно приходилось ей там, сознавать, что ты находишься под наблюдением, было легче, чем оказаться наедине со своей тревогой и непрекращающимися жалобами младенца. От этого можно было потерять рассудок, и, глядя на молодых, беспечных мамаш, гулявших с колясками в их уютном, защищенном от ветра дворе, она думала: неужели же и они через все это прошли, так же мучились, изводили себя и неужели когда-нибудь и она, забыв обо всем, будет гулять с малышом на улице? Это казалось ей теперь таким далеким и несбыточным и точно не приближалось с каждым прожитым днем, а замерло и остановилось на месте, как замирает все живое в безветренный летний день. Слишком поздно пришла к ней беременность, и в какой-то момент женщина почувствовала, что начинает уставать и сдаваться и ей уже все равно, когда и чем кончится. Только бы

кончилось это ожидание, эти страхи, сны, эта недаром названная бременем тяжесть.

## 7

Новая врач понравилась ей сразу: улыбчивая, моложавая, светловолосая, совсем не похожая на гинеколога. Она нашла ее случайно, по объявлению в газете. И с самых первых минут, едва очутилась в уютной, по-домашнему обставленной комнате, почувствовала себя покойно и легко, даже мысль, что вся эта приветливость оплачена хорошими деньгами, ни разу не пришла в голову.

— Ну, пожалуйста мне, — сказала она, сразу перейдя на «ты», — что с тобой случилось?

Она не смотрела на часы, не перебивала, лишь несколько раз задала уточняющие вопросы, и женщина рассказывала ей про свои страхи, сны и предчувствия. Сперва она торопилась и путалась в словах, но потом, поняв, что ее слушают, а не отмахиваются, как в роддоме, успокоилась и испытала невыразимое облегчение от того, что кому-то, пусть даже постороннему человеку, доверяет самое сокровенное, что так долго таила в себе.

— Ты думаешь, с тобой происходит что-то необычное? — спросила врач, когда она остановилась.

— У меня ведь особый случай.

— Нет, это испытывают почти все. То, что ты называла, — твой возраст, первая беременность, по большому счету не имеет никакого значения. Я могу привести десятки примеров, когда абсолютно здоровые молодые женщины не могли доносить или рожали больных детей, а те, кому рожать категорически запрещено, рожали здоровых. И медицина тут ни при чем. Приход человека в мир и уход из него — это две



самых больших тайны, узнать которые, а тем более как-то на них повлиять нам не дано. Лучше всего тебе было бы найти деревенскую бабку-повитуху, неграмотную, необразованную, не испорченную книгами. Она бы тебе и как ходить подсказала, и трав нужных дала, и до родов бы довела, и приняла бы все как следует.

Голос врача был мягок, и женщина не столько вслушивалась в смысл ее слов, сколько в их плавное, успокаивающее звучание.

— Ты говорила, тебе все время кажется, что ему там тесно?

— Да.

— Это гипоксия. Она нынче у каждого первого. С таким воздухом, которым мы дышим, водой, пищей, да и вообще всем, что вокруг делается, странно, что бабы еще рожают. Мужчины портят землю, а мы за все расплачиваемся. И все равно рожаем. Новых мужчин.

— Уж лучше мужчин! — вырвалось у нее.

Врач засмеялась:

— Не бойся, родишь, все у тебя будет хорошо. Знаешь, что я тебе посоветую. Возьми отпуск за свой счет или попроси в консультации больничный до самого декрета и гуляй, гуляй, по пять-шесть часов в день, пей и ешь только натуральное, никаких импортных соков, колбас, шоколада. Ходи только пешком, ешь фрукты, лесные ягоды, пей компоты, понемногу читай что-нибудь спокойное — так, Бог даст, и приходишь.

— И это все? А как же больница?

— В больницу не надо. Поверь мне, ничего серьезного у тебя нет. Все идет хорошо, так хорошо, насколько это вообще возможно. Они просто перестраховываются и на всякий случай запугали тебя, чтобы снять с себя всю ответственность. Но если ты хочешь помочь ребенку, ты должна избавиться от страха. Больше всего он страдает именно от этого. Пойми, что беременность — это не болезнь, это

нормальное и, может быть, даже более нормальное, чем ее отсутствие, состояние женского организма.

И она поверила, то ли в самом деле ее убедила эта улыбчивая женщина, то ли ничего другого ей не оставалось, но она вышла совсем в ином настроении и впервые за много дней улыбнулась.

В Москве ноябрь едва ли не самый отвратный месяц. Но такой солнечной погоды, чистого неба, мягких приглушенных теней и нежности она не видела никогда. С утра женщина уходила гулять и бродила до обеда вдоль канала и водохранилища, замерзших внезапно, так что корабли и баржи, не успевшие перебраться на зимовку, застыли во льду.

Когда она ложилась в больницу, еще была осень, не все облетели листья и зеленела по газонам трава — теперь же все стремительно преобразилось и города было не узнать. Дни казались ей то огромными и долгими, то летели, не успеешь оглянуться — снова сумерки; она чувствовала себя день ото дня все лучше и полюбила свою беременность. Младенчик толкался, в его поведении больше не было беспокойства, и он не жаловался на то, что ему тесно. Она гладила его, разговаривала, она ждала его появления на свет, как, казалось ей, никто до нее не ждал. Она молилась на свой живот и больше не стеснялась и не скрывала беременности. Ноябрь кончался, скоро Новый год — первый, действительно новый за много лет однообразной, лишенной содержания жизни, а за ним рукой подать роды. Она позволяла себе то, чего не могла позволить никогда раньше: заходила в «Детский мир», присматривала коляску, кроватку, одежду, еще не решаясь все это купить в согласии со старинным суеверием, но уже прикидывая, где и как все будет стоять в квартире.

Иногда вместе с нею ходил мужчина, они тихо переговаривались, с виду очень заботливые, уже не

первой молодости супруги. И за этими заботами ушли в тень недомолвки и обиды, они думали об одном, и женщине было даже жаль, что это таинственное время проходит. Она была счастлива, задумчива, тиха и благодарна.

## 8

Это было в начале зимы, а все, что последовало затем, слилось в одну кошмарную, стремительно мелькнувшую, как спицы в колесе, полосу, перемоловшую их жизни и навсегда поделившую на две части: то, что было до и что случилось после.

За снегопадом ударил мороз, но она все еще продолжала гулять, съедала каждый день по несколько яблок и бананов, которыми была завалена Москва, и крепкие розовощекие продавщицы в грязных халатах весело обвешивали хмурых покупателей. Все шло своим чередом в городе, так быстро забывшем о порохе и крови. Но однажды утром женщина почувствовала себя плохо.

Весь день она пролежала с высокой температурой и сильным отравлением, недоумевая, что с ней случилось. Это не было похоже на простуду, и отравиться она ничем не могла, но к вечеру температура спала, и на завтра ей стало так же хорошо, как прежде. А еще через два дня ее встревожила одна странная, произошедшая раньше срока вещь. За это время она прочла довольно много медицинских книг и знала, что во второй половине беременности такое возможно и не обязательно предшествует родам, но на всякий случай решила съездить к своему врачу.

— Это что-то плохое?

— Нет, — ответила та не сразу, — плохого ничего нет, но в больницу придется лечь.

— Обязательно?

— У тебя сейчас критический срок — тридцать недель. Это надо пережить, и пока лучше побыть в стационаре. Сейчас полежи дома, отдохни, а к вечеру поезжай в больницу. И ничего не бойся. Что бы тебе ни говорили, не бойся, все у тебя будет хорошо.

Снова замороженная уверенным голосом, она вышла из кабинета, успокоившись, и растроганно подумала, что подарит этой высокой красивой женщине какую-нибудь дорогую, хорошую вещь, потому что та заменила ей мать, подруг и стала чем-то гораздо более важным, чем врач, но на улице ей снова стало страшно.

Что-то было не так или не совсем так, как сказала врач. Чего-то она недоговаривала или скрывала, и женщина остро почувствовала это. У нее не было ни опыта, ни особых знаний, но там, в животе, происходило нечто такое, чего никогда не бывало раньше. Он сделался твердым, опустился вниз, стало трудно идти. Она все еще пыталась совладать с собою и убедить себя, что это ей только кажется, но теперь все происходит наяву.

Дома она сразу прилегла и попыталась заснуть, но сон не шел. В ней что-то менялось, причем менялось еще стремительнее, чем утром, так что ощущения не поспевали за этими изменениями, а мысли за ощущениями. Она взяла книгу, но, не раскрыв, отложила. Неслыханное одиночество навалилось на нее, одиночество, которого она прежде никогда не знала, даже будучи беременной, и она сперва не заплакала, а тихо заскулила. Впервые за все это время ей сделалось страшно не за ребеночка, а за саму себя. Она подумала, что, наверное, не перенесет этих родов и умрет.

Вскоре пришел муж, сел рядом, взял за руку и стал говорить что-то ласковое. А она думала о том, что так говорит он лишь потому, что ее слезы вредны для

ребенка, а до нее самой ему нет дела. И все, что он делал последнее время, когда гулял с ней, ходил по магазинам и не жалел денег, он делал не ради нее, и это показалось ей невероятно обидным, точно она сама была девочкой.

Слезы ее душили, она не могла остановиться, и тогда он всерьез встревожился, стал предлагать успокоительное, но она плакала все сильнее, отталкивала его рукой, а потом с ужасом почувствовала, что внизу живота у нее схватило, и резкая боль заставила ее остановиться. Это новое, заявляющее о себе, то, что она боялась назвать истинным словом, напугало ее так, что ей стало уже не по-женски, не одной только эмоцией, а по-животному, инстинктивно жутко.

Она оторвалась от подушки и поглядела на мужа:

— Я не хочу больше ждать. Поехали в больницу.

— Хорошо, — сказал он растерянно, — может быть, вызовем «скорую»?

— Не надо, я сама.

В полном молчании, не зажигая света, они оделись и вышли из дому. Было холодно, скользко, они шли осторожно, по-прежнему не говоря ни слова, и он снова ничего не понимал, раздраженный, сердитый. Его злили ее капризы, перепады настроения, вспышки ярости и меланхолии, которых за эти месяцы он наглядился достаточно, — все это было ему чуждо, противно и казалось проявлением обыкновенной женской истеричности.

Из своего глухого, крайнего у канала двора они вышли на шумную, слепящую огнями улицу. Мужчина поднял руку, чтобы остановить машину, но женщина покачала головой, и они поехали на трамвае. Только что кончилась смена на машиностроительном заводе, в вагоне было много народа, но никто не уступал ей место, потому что в шубе живот не был заметен. Так

они и доехали в этом переполненном вагоне до метро, потом еще одну остановку под землей и пешком побрели к роддому.

Сыпал мелкий колючий снег, здесь на открытом пространстве возле поля было еще ветренее и уютнее. Остались позади длинные ряды невыносимо ярких коммерческих палаток, мерзнувшие у костра кавказцы, крепкие московские бабушки с морковкой и свеклой, разговорчивые хохлушки с творогом, сметаной и колбасой, настойчиво предлагавшие супружеской чете свой дешевый товар. Идти было всего пять минут, но это расстояние в несколько сотен метров показалось женщине огромным. «Я не дойду, не дойду», — думала она, держась рукой за мужа. Боль в животе притупилась, и теперь она ясно ощущала, что вся тяжесть сосредоточилась внизу. Они завернули за угол длинного, последнего перед шоссе дома, и на другой стороне им открылись сияющие этажи роддома. На одном из них горел синий свет — там было родильное отделение.

Женщина посмотрела на верхний этаж и подумала, что сейчас они наконец дойдут, она разденется, ляжет в палату и уснет до утра. Ей нужно было пережить только этот вечер и эту ночь.

На звонок в приемном отделении вышла молодая смуглая медсестра с большими сережками в ушах, взяла обменную карту, паспорт и велела женщине раздеваться. Мужчина остался за дверью и слышал, как жена охнула, когда снимала сапоги, потом стало тихо. Медсестра открыла дверь, отдала одежду, и из полумрака вестибюля в освещенном, ослепительно белом кабинете с кафельными стенами он разглядел бледное лицо, показавшееся ему совсем чужим.

— Мне уже идти? — спросил он. — Она больше не выйдет?

— Можете, если хотите, подождать, — сказала сестра с легким восточным акцентом, — сейчас вашу жену осмотрит врач.

Дверь закрылась, и он остался в полной темноте. Затем раздался неприятный, резкий голос. Сначала он не прислушивался, но голос за дверью стал еще резче и жестче:

— Когда у вас начались сукровичные выделения?

— Утром.

— У врача когда последний раз были?

— Сегодня.

— Когда сегодня?

— В первой половине дня.

— Почему вы не пришли сразу?

— Врач сказала, можно подождать до вечера.

— В какой вы наблюдаетесь консультации?

— Это не в консультации.

— Вы должны были немедленно, как только начались выделения, ехать сюда. Не девочка же вы пятнадцатилетняя, в самом-то деле. И потом, вы у нас лежали, в выписке у вас стоит: повторная госпитализация через три недели. А прошло сколько?

— Но врач...

— Что вы заладили: врач, врач... Скажите вашему врачу спасибо. Этой ночью вы родите.

— Как рожу? — вскричала она. — Но ведь ему еще рано!

— Да, рано. Если бы вы пришли хотя бы на несколько часов раньше, можно было бы попытаться что-нибудь сделать, теперь уже поздно. У вас началось раскрытие матки.

Дальше мужчина не слышал. Он медленно, точно ему стало плохо с сердцем или просто дурно, сполз со стула и очутился на полу. В приемном отделении кроме него никого не было, и никто не мог видеть, что с ним происходит. Сколько так продолжалось, он не знал.

Голоса за дверью стихли, и он не понимал, где теперь его жена и что ему делать дальше. Понял он только одно: ребенка у него не будет.

## 9

В дверь снаружи застучали, и в помещение ввалилась целая компания: мужик лет сорока пяти, женщина с невообразимо громадным животом, точно там сидел годовалый ребенок, и еще двое пацанов. Беременная привычным движением руки нащарила выключатель, и все несколько удивленно поглядели на сидевшего в углу мужчину. Он достал сигарету и, не глядя на них, вышел на улицу. Снег шел не переставая, перед входом намело уже целый сугроб. Сигарета быстро тлела на ветру, и он даже не успел почувствовать, как она кончилась и обожгла губы.

— Там кто-нибудь есть? — спросили у него, когда он вернулся.

Он пожал плечами.

Беременная встала и, переваливаясь, подошла к двери.

— Можно?

— Минуточку, — ответила сухопарая, в больших круглых очках врач, не отрываясь от телефона. — «Скорая»? Наряд возьмите. Преждевременные роды, гипоксия плода, гипотрофия, фетоплацентарная недостаточность, поперечное предлежание плода, двукратное обвитие пуповины. Срок тридцать — тридцать одна неделя. Первородящая, тридцать пять.

Он физически почувствовал на себе взгляд четырех свидетелей его горя, и этот взгляд показался ему полным облегченного, лицемерного сочувствия, какое всегда возникает у человека при виде чужого несчастья и мысли: «Слава Богу, что не со мной».



В эту минуту и ему на мгновение подумалось, что это не с ним, с ним такого произойти не могло, с ним никогда, ни разу ничего подобного не происходило.

Дверь оставалась приоткрытой, и он слышал разговор врача и жены.

— Вы с мужем? Одна? Это ваше дело. Пожалуйста, одевайтесь и ждите «скорую».

— Почему? — спросила жена еле слышно.

— У нас нет условий. Вы поедете в специализированный роддом.

— Но может быть, можно еще что-нибудь сделать?

— Нельзя, — жестко, даже злобно, как будто ее просили о чем-то неприличном, ответила врач, и мужчина понял: не хотят рисковать, никому не нужны неудачные роды.

Дело не в том, что у них нет условий — у них просто другой уровень, платные роды, коммерция, на фотографиях батюшка в пасхальных ризах, освящающий родильное отделение. А тут слишком трудный подворачивается случай, да к тому же бесплатный, а статистика все равно ведется. У них теперь новое мышление, хочешь, чтоб за твоей женой уход был и врач неотступно, — деньги плати. И его охватила такая ярость, что он едва удержался от того, чтобы не ворваться в эту сияющую комнату, где его жену раздели догола, не позволив оставить даже обручальное кольцо (это в ваших же интересах делается, женщина!), и заорать на злую врачиху, как та смеет в таком тоне разговаривать с роженицей, что она вообще себе позволяет? Он буквально ненавидел эту худую, плоскогрудую, очкастую блондинку, вынесшую приговор не просто его ребенку, но всей его жизни, он был готов удушить ее за злорадство, за то, что она пользуется своей властью и растерянностью приходящих сюда людей.

Ему нечего было теперь терять, для него все кончилось, кончилось в ту самую минуту, когда она жестко сказала, что ночью его жена родит, выкинет, и даже присутствие посторонних людей, притихших при виде того, что они наблюдали, его не останавливало. Но когда открылась дверь и вышла смуглая медсестра в халате, оттенявшем ее смуглость до кофейного цвета, он не сказал ни слова.

Ярость его схлынула, и ему сделалось печально. «Господи, почему мы так друг друга ненавидим? До какой же степени можно одному человеку ненавидеть другого? И за что?» Он вспомнил ту ночь в октябре, когда ходил по городу и встречал самых разных людей, переполненных этой ненавистью, и подумал, что ненависть заразна, она передается от человека к человеку и поражает, казалось бы, такие далекие от всех распрей места, как родильные дома, где, наоборот, должна аккумулироваться любовь. Но все было пронизано ненавистью и страхом, тем, что греки очень точно назвали фобией, и эта фобия была и в его собственной душе.

— Ты слышал?

Он поднял голову и увидел жену, одетую, застывшую, с закушенной губой.

Он кивнул и посмотрел на нее с жалостью.

— Это все? — И опустил голову, не дожидаясь ответа.

Они ждали приезда «скорой» два с лишним часа. Сидели в тесном помещении приемного отделения, куда пришли еще несколько беременных женщин. Они все приходили под вечер, большие, неповоротливые, с родителями, мужьями, торжественные и серьезные, и рядом с ними мужчина и женщина, которая и беременной еще не казалась, выглядели точно посторонние. Но женщине было уже все равно. Она совсем не замечала, что происходит вокруг, ей было не

важно, что говорит муж и чем он недоволен. Она сидела на клеенчатой банкетке, прислушивалась к младенцу и мысленно с ним прощалась. В счастливый исход этой ночи она не верила и хотела только, чтобы все как можно скорее кончилось.

— Не суетись ты, сядь, — раздраженно сказала она. — Приедет она, никуда не денется.

Но он ее не слушал, вскакивал, пытался прорваться в приемную и требовал, чтобы медсестра позвонила еще раз, но та отвечала, что от нее ничего не зависит, «скорые» им не подчиняются, а что в стране делается, вы и сами знаете. И все это было бестолково, нелепо, а главное, абсолютно не нужно.

Когда в одиннадцатом часу показалась наконец облепленная снегом машина и угрюмая акушерка сквозь зубы велела им садиться, женщина снова почувствовала схватки. Она уже хорошо понимала, что это такое, — и определенность придала ей сил. Она улыбнулась мужу и сказала, что, возможно, врач ошиблась, потому что она до сих пор ничего не чувствует.

— Просто они любят поугадать.

— Да? — поверил он сразу же, и это напомнило ей ее саму в кабинете обманувшей ее золотоволосой врачихи: когда помочь ничем нельзя и изменить ничего невозможно, лучше солгать и утешить.

Машина неторопливо выехала на Волоколамское шоссе, потом стала кружить по каким-то переулкам, дважды пересекла трамвайную линию и остановилась у молчаливого здания, зажатого между жилыми домами, тоже мрачными и темными. Они вышли из «скорой» и прошли в приемное отделение. Здесь все было обставлено в традиционном вкусе: кадка с фикусом, нравоучительные стенды и трогательная скульптура, изображавшая мускулистую мать с младенцем-крепышом, доверчиво приникшим к женской груди.

Снова все повторилось, она разделась, только разрешили оставить цепочку с крестиком, и здесь же очень быстро ее посмотрела врач.

— Сделайте ей укольчик, пусть поспит, и в предродовую, — сказала она коротко, но ни ужаса, ни ненависти в ее глазах женщина не увидела.

Она попросила разрешения выйти в вестибюль и подошла к сидевшему под скульптурой мужчине.

— Ты езжай. Они сказали, что все обойдется и меня положат на сохранение. Езжай спокойно домой и отдыхай. А утром я тебе позвоню.

## Часть вторая

### 1

Это было похоже, наверное, на то, что ощутили бы пассажиры на большой высоте самолета, если бы ледяной, резкий, бедный кислородом воздух ворвался в салон и в этом салоне после привычной мягкости и уюта им предстояло жить всю оставшуюся жизнь.

Младенец уже давно испытывал сильное беспокойство, и раздвинувшаяся было теснота материнской утробы снова сдавливала его со всех сторон. Но теперь уже не женщина выталкивала его из себя, а он сам начал к этому стремиться и медленно перемещаться к выходу. Большая пуповина, обвивавшаяся вокруг тела, ему мешала, он устал и чувствовал, что мать впервые за эти семь неполных месяцев совсем не помогает ему, а, напротив, пытается удержать.

Но что-то неумолимо гнало его оттуда, где еще недавно он был в безопасности, а теперь каждая лишняя минута грозила гибелью. Он торопился наружу, за границу своего темного и тесного мира, в большую, озаренную синим светом комнату.

Там, в этой комнате, вокруг стола, на котором лежала роженица, стояло несколько человек в белых халатах с голубым отливом, с лицами, закрытыми марлевыми повязками, так что видны были только глаза.

— Нет, — кричала женщина, корчась от схваток, — я не хочу, чтобы он родился!

— Тужься, да тужься же ты — он задохнется.

— Нет, сделайте что-нибудь, ему еще рано!

— Поздно уже делать, ты убьешь его.

Но она все равно упорно сопротивлялась и не хотела его отпускать. А он лез — маленькая, мягкая головка, испещренная синими венами, приближалась к отверстию матки. Но обезумевшая мать все еще пыталась удержать его в себе.

«У вас желанный ребенок?» — спрашивали ее в больнице. «Желанный, конечно, желанный». Да был ли у кого-нибудь более желанный ребенок? Но теперь он желанным не был. Больно это было или не больно, сколько продолжалось — ничего она не знала, и никакого значения это не имело. Ей казалось, что она умирает, и лучше было бы, если бы она действительно умерла вместе с ним. Она лежала в обрывках каких-то ощущений и мыслей, иногда открывая глаза и тотчас же их закрывая — так пугали ее взгляды врачей. Страшными были эти глаза, глядевшие поверх повязок, страшными были отрывистые и непонятные предложения, которыми они обменивались друг с другом.

Акушерка велела тужиться сильнее и запрещала резко выдыхать, но женщина ее не слышала. Она оставалась в полном неверии и непонимании, что с ней происходит, что это происходит и что это происходит с ней — так рано, когда этому еще нельзя быть. Она кричала не от боли, а от безумного ужаса, но младенец был мудрее и упрямее, чем она, и лучше знал, что ему делать.

Его жизнь в тот момент висела на волоске, еще немного — и он умер бы от удушья: к тому, что происходило, не был готов не только он, но и женщина, которая в другом случае делала бы все необходимое помимо своей воли, а теперь ее тело бездействовало и словно отключилось. Но он успел в последний момент выкарабкаться на волю, и женщина как сквозь вату услышала зовущий ее по имени совсем нестрогий голос:

— Мальчика родила!

Это «мальчика» ее всколыхнуло — она ведь так хотела мальчика и неужели именно его ей придется потерять? То, что он может выжить, она не предполагала — она просто не знала, что выживают такие дети. Он был в руках у врача — она его еще не видела, в следующий момент ему перерезали пуповину, и он закричал. Его крик был очень слабым, а потом он вдруг оборвался, младенец словно захлебнулся, и тогда все засуетились, забегали, и она услышала умоляющий голос акушерки:

— Кричи, маленький, ну кричи!

Но он не кричал. После того, как в его раскрывшийся ротик с грохотом ворвался колющий, обжигающий воздух и наполнил легкое, у него сразу же перехватило дыхание, он обмяк, и его тельце посинело.

Это продолжалось чуть больше минуты, но женщина плохо понимала, что происходит. Где-то готовили кислородный аппарат, а врач продолжала, как заклинание, повторять:

— Кричи же, малыш, кричи!

По лицу у нее под марлевой повязкой тек пот, своими маленькими сильными руками она пыталась буквально оживить замирающее тело, и он снова вынырнул из небытия, вздохнул и крикнул.

Его поднесли к роженице:

— Смотри!

Ей показалось, что это было произнесено с осуждением и точно подразумевало: смотри, что случилось, это ты виновата во всем, и она боялась повернуть голову и посмотреть в ту сторону.

Для нее он все еще оставался в животе. Она не хотела, не могла смириться с тем, что дитя, занимавшее все ее существо, покинуло ее раньше срока. А ребеночек, крохотный, щупленький, с поросшей белым пушком спинкой и плечиками, обильно смазанный первородной смазкой, с мягкими ушами, синими

ручками и ножками, безвольно висел у врача на руках, но дышал через силу, с болью вдыхая свистящий резкий воздух, наполнявший его кровь, еще не готовую к тому, чтобы разносить кислород.

Его спинка была покрыта красноватой сыпью, и врач быстро спросила:

— Чем ты болела? У него какая-то инфекция. Чем?

— Я не знаю. — Язык еле ворочался, и она ничего не помнила. — Что с ним? Он будет жить?

— Не знаю. Состояние очень тяжелое.

## 2

Мужчина спал одетый на неразобранной кровати и тяжело дышал во сне, когда раздался телефонный звонок. Он встрепенулся и бросился к телефону, но услышал только длинные гудки. Некоторое время он держал трубку в руках и силился понять, что происходит, а потом взглянул на светившиеся наручные часы и похолодел. Накануне, вернувшись домой, он выпил почти целиком бутылку коньяка и теперь мучился похмельем. Он подошел к окну и отодвинул занавеску. Там была темень, отвратительная ветреная темень, но зажигать свет он не стал. В темноте было покойнее.

Только бы пережить эту ночь, только бы дожить до утра. Если ничего не случится, то тогда она доносит и все будет хорошо. Не нужно ему было уезжать домой, не нужно было так много пить — надо было остаться там и ждать. У него сильно болела голова, и было очень нехорошо. Боже, Боже, кто бы ему сказал, где она сейчас и что с ней? Он вспомнил про телефонный звонок, его разбудивший, — неужели звонили оттуда? Справочная откроется в девять — значит, надо ждать. Еще только половина четвертого, впереди целая ночь.



Если звонили оттуда, то что-то случилось, что-то очень плохое — с ребенком или с ней. Скорее с ней. Из-за ребенка звонить бы не стали. Он со страхом глядел на молчавший телефон: после вчерашнего мутило так, что хотелось перестать быть. Неужели все это действительно было — кошмарный вечер, переполненный трамвай, дорога к роддому, страшный диагноз врача, ожидание «скорой», метель...

Его спокойная, невозмутимая жена, немного замкнутая, отчужденная женщина, которую никогда он не мог представить растерянной, униженной и слабой, в полной неизвестности лежала в какой-то больнице, и он почувствовал что-то вроде вины перед той, кого сам считал виноватой и в своей неудавшейся жизни, и в том, что у них не было детей, и в том, что теперь все шло не слава Богу. Но если с ней что-то случилось или случится, его жизнь будет добита окончательно.

Он всегда думал, что она не любит его и никогда не любила, а вышла замуж потому, что в молодости он был не только честолюбив, но и упрям и привык добиваться того, что хотел. Он желал эту женщину, казавшуюся ему надменной и горделивой, он добился ее, но счастья ни ему, ни ей эта любовь не принесла. Он был почти убежден в том, что у них нет ребенка, потому что она не хочет иметь от него детей. Все эти двенадцать лет он жил с этой мыслью, причинявшей ему невыносимое страдание, он глухо ненавидел ее, он уходил из своего постылого, холодного дома в лес, искал утешения в одиночестве, лгал самому себе, что ему и так хорошо. Он ничего не смог добиться в жизни, потому что не чувствовал ее поддержки, — его женитьба на ней была величайшей ошибкой и причиной всех его бед вплоть до нынешней ночи, но он точно знал, что, если бы эта женщина от него ушла, ни одна другая ее бы не заменила.

В комнате тикали часы, он не мог их видеть, а только слышал, как они отсчитывают время. Он сидел на смятой постели и ждал, он был готов ждать столько, сколько потребует, он любил ее в эту минуту, любил за то, что она зачала от него ребенка, носила, как говорили в старину, под сердцем, и за это он был готов ей все простить. Простить, даже если с ребенком ничего не получится, за одну только попытку простить.

Еще три с лишним часа. Можно было бы попробовать уснуть — все равно от того, что теперь он не спит, ничего не изменится. Вчера вечером, когда он сидел на кухне и пил коньяк, ему казалось, все самое страшное позади — все осталось в приемном отделении первого роддома, но теперь он понимал, что жена обманула его. Он оставил ее одну, как всегда оставляют мужчины женщин, когда те идут рожать (присутствие мужа при родах не в счет), но пить не следовало, нужно было остаться там — так ему самому было бы легче. Какая же долгая, томительная ночь и как это трудно — ждать, когда впереди неизвестность.

Ему вдруг вспомнилась другая ночь — в лесной избушке, печка, грубый стол, темная вода и сырой воздух. Все это казалось теперь таким далеким и точно ему не принадлежавшим, уворованным у кого-то, и его прежние мысли, что у него родится сын и этого сына он однажды отведет на лесное озеро, обернулись жестокой насмешкой.

За окном как будто начало чуть-чуть светлеть, обозначились очертания предметов в комнате, и в приоткрытую дверь бесшумно вошла собака. Она положила большую остромордую голову с печальными глазами ему на колени и заскулила. Эту собаку он купил три года назад. Он считал ее своей, но жена тоже к ней привязалась, и в последнее время собака была единственным, что их объединяло.

Собака беспокойно вертела головой и звала его к двери — она хотела гулять, но мужчина сидел неподвижно в кресле и курил. Теперь, когда стали видны большие настенные часы и звук времени совпал с его изображением, он не сводил глаз с минутной стрелки, которая, если пристально взглядеться, перемещалась по краю циферблата. Ровно в восемь он первый раз набрал номер справочной, на всякий случай, может быть, кто-нибудь пришел раньше, и все то время, пока в трубке раздавались длинные тонкие гудки, у него бешено колотилось сердце и болел живот. Он и хотел и боялся того, что эти гудки оборвутся тишиной, потом шорохом и чей-то далекий, равнодушный голос либо успокоит его и скажет, что ничего не было, либо... Но об этом он запрещал себе думать.

Снова заскулила и заскреблась в дверь собака, но ее хозяин сидел замерев, как восковая фигура, и отрывался от часов только для того, чтобы набрать никак не запоминавшиеся цифры. Один раз он ошибся, и трубку сняла молодая женщина, иногда номер был занят, и он думал, что, значит, кто-то пришел, но в следующий раз снова слышались бесконечные длинные гудки, он досчитывал до десяти и клал трубку, уступая линию кому-то еще, неведомому, кто в этот ранний час тоже названивал в роддом.

Никто не пришел и в девять, и в четверть десятого, хотя теперь дозвониться стало сложно, и только без двадцати минут десять, когда было уже совсем светло и за замерзшим окошком над каналом появилось редкое декабрьское солнце, обещая морозный и чистый день, дребезжащий старушечий голос переспросил фамилию жены и произнес:

— Родила мальчика в два часа тридцать пять минут. Вес — килограмм четыреста граммов, рост тридцать девять сантиметров. Состояние матери удовлетворительное. О детях справок не даем.

— Подождите, подождите, не вешайте трубку! — закричал он, и от его крика шарахнулась и испуганно залаяла собака. — Он жив?

— Я же сказала вам, молодой человек, о детях справок не даем.

### 3

В кувезах — небольших стеклянных ящиках, куда подавали кислород и поддерживали определенную температуру и влажность, чтобы обеспечить условия, максимально приближенные к материнской утробе, лежали дети. Они были совсем голенькие, к их головкам и грудкам вели провода, показывавшие работу сердца и легких, рядом стояли капельницы. В просторной чистой комнате, где находилась реанимация, все время дежурили врач и медсестра.

Врач был мужчина большого роста, сорока с лишним лет, в очках, с коротко постриженными волосами и широким полным лицом. Медсестра, совсем молоденькая, еще не имевшая собственных детей, работала в реанимации недавно, ее чувствительность покуда не притупилась, и она никак не могла привыкнуть к тому, что голые тельца в кувезах иногда замирали и из этой напичканной приборами комнаты уносили крохотные трупы тех, кому еще так рано было рождаться, но врачи были бессильны.

Несмотря на то что в последние годы роддом принимал гораздо меньше рожениц, количество недоношенных и ослабленных детей не уменьшалось. Они поступали сюда волнами — иногда по несколько в одну ночь, а иногда целыми днями не было никого. Последний большой наплыв пришелся на те октябрьские дни, когда утомленные повседневной жизнью люди с удовольствием глядели на дурно

поставленный спектакль гражданской войны, но многие из беременных женщин в разных концах большого города родили тогда прежде времени, и у медсестры и у врача на всю жизнь осталось ощущение ужаса при мысли, что толпа ворвется в здание или же просто отключат электричество и дети в кувезах умрут все до единого.

Этих детишек доктор обожал. Они были страшны на вид, с вялой, дряблой кожей, собирающейся в складки, тоненькими ручками и ножками, непропорционально большими головами, мягкими ушами и белым пушком на плечиках и на щеках. В своих жарких кувезах они лежали вялые и спали, иногда хаотично вздрагивали и перебирали ножками и ручками, а потом снова замирали. Раз в три часа их кормили донорским молоком, и если сами они сосать не могли, то вводили молочко шприцем через нос. Чтобы выходить каждого из них, требовались невероятные усилия, искусность и любовь, но, когда это удавалось сделать, доктор был счастлив.

Мальчик, поступивший ночью, был не самым тяжелым. Однако дыхание у него оставалось неровным, одно легкое не раскрылось, развивалась пневмопатия, во время родов он хлебнул околоплодных вод, и ручаться за его жизнь было нельзя.

Младенец спал. После того кошмара, что он испытал нынешней ночью, после асфиксии, когда он едва не исчез в небытии, он отдыхал и качался над пропастью. У него было слишком мало сил, чтобы приспособиться к этому новому миру, который, как ни старались великаны люди, был слишком далек и непохож на им покинутый. Но в его крохотном тельце все органы, все клетки, все нервы — все было нацелено на жизнь и на выживание, все боролось с тем, что он ощущал, — колючим воздухом, светом, шумом. Он хотел выжить, потому что так был задуман природой, и, несколько

минут постояв над ним перед тем, как уйти с дежурства, толстый доктор осторожно пощупал увеличенную печень и селезенку, покачал головой и сказал стоявшей рядом медсестре:

— На осмотр реагирует. — И глаза его чуть-чуть повеселели.

Полчаса спустя, заполнив журнал, он спустился в холл, и в справочной ему передали, что его хотел бы увидеть отец родившегося ночью ребенка. Доктор задумался: ничего определенного он сказать пока не мог. Если бы прошли сутки, можно было бы утверждать, что шанс у младенца есть, ибо самое трудное в жизни каждого человека — это первая минута, первый час, первый день, первый месяц и первый год. Этот мальчик прожил первую минуту и первый час, но никакой уверенности в том, что он проживет первые сутки, не было. Хотя не было уверенности и в обратном. Все было очень зыбко: на одной чаше весов он, беспомощный, обессиленный, пораженный каким-то вирусом, на другой — так неласково встретивший его мир, и какая чаша перетянет, доктор не знал.

Он не был человеком религиозным, но матерям в таких случаях говорил одно: если верующая, молись, если неверующая, тоже молись. А самое главное, не думай о нем плохо. Он еще слишком связан с тобою, с твоим организмом, с твоей психикой, мозгом, и больше всего, больше, чем лекарства, капельница и кислород, ему нужна твоя любовь, твои теплые мысли. Если этой любви будет много, ты его спасешь. Он говорил так, впрочем, не всем: бывали случаи, когда говорить подобное было бы слишком жестоко и опрометчиво, — но этой женщине сказал. И она, кажется, все поняла. Когда утром он вошел в палату, в ее глазах было отчаяние и горе, когда уходил — надежда. Хотя он давал не надежду, он не любил это слишком

расплывчатое и даже вредное понятие, — он давал работу. Лежи и люби его. Вот твое дело сейчас.

С мужчинами же было труднее. Любить младенца они не могли. То чувство, что испытывали даже самые нежные и заботливые впоследствии отцы, любовью назвать было нельзя. Это могла быть гордость, самолюбие, тщеславие, самодовольство, но только не любовь. Обычно ничего страшного в этом не было, но когда рождались недоношенные дети, порой случалось, мужья требовали, чтобы матери отказывались от них. Детей, на которых Бог ли, природа являли свою милость и чудо, даруя им жизнь, бросали только потому, что родители боялись их выхаживать или у них оставались дефекты, хотя доктор мог бы привести сотню примеров, как из младенцев, весивших при рождении меньше буханки хлеба, вырастали умницы и крепыши. Он вообще считал, что в природе ничего не бывает просто так, и недоношенные дети тоже нужны, они отмечены особой печатью, у них раньше начинает работать мозг, они впечатлительнее, восприимчивее, и если преодолеть самый трудный первый год, то родители будут вознаграждены сполна.

Но в последние годы все чаще и чаще несчастные младенцы попадали в дом ребенка, где, лишенные внимания и любви, которые им были необходимы вдвойне, вырастали калеками. Таких родителей мягкий, незлобивый доктор, похожий на Пьера Безухова, люто ненавидел и, будь это в его власти, в принудительном порядке подвергал бы стерилизации, чтобы не было у них никогда потомства. И пока был малейший шанс уговорить их от детей не отказываться, доктор не отступал.

Поджидавший его в вестибюле мужчина показался ему сперва довольно молодым и как будто посторонним.

— Вы кто будете? — спросил доктор как умел доброжелательно.

— Муж, — ответил мужчина, сглотнув.

— Значит, папа, — поправил доктор еще более благожелательно, и мужчина вздрогнул. — А живете вы где?

Он спросил это не из голого любопытства, а чтобы удостовериться в том, что сидевший перед ним человек был действительно тем, за кого себя выдавал. Бывали случаи, когда на этом месте оказывались не мужья, но папы или, наоборот, не папы, но мужья, и потом бывало много путаницы.

Мужчина посмотрел на него недоуменно-злым взглядом и ответил. Доктор мельком поглядел в карту:

— А мы с вами соседи. Первый у вас ребеночек?

— Да.

— Ну что ж. — Мужчине казалось, что он сейчас сойдет с ума — невыносимо было представить, что жизнь его сына была в руках этого толстенького, любопытствующего человека с круглым бабьим лицом, пытавшегося своими дешевыми приемами его успокоить. — У вас родился сын. Роды преждевременные, ребенок недоношенный, можно даже сказать, глубоко недоношенный. Он находится сейчас в реанимации, и должен прямо вам сказать, что положение тяжелое.

«Это все», — промелькнуло в голове у мужчины, и он был готов к тому, что доктор его сейчас добьет, но тот деловито продолжил:

— В результате принятых мер нам удалось стабилизировать его состояние, мы контролируем ситуацию, и можно даже сказать, что наблюдается положительная динамика. Да, динамика положительная, хотя положение тяжелое.

Он точно кидал на весы два этих утверждения, и мужчине мучительно хотелось и одновременно страшно



было спросить, чего же больше, положительной динамики или тяжелого положения, и что ждет ребенка.

Возникла небольшая пауза: доктор не знал, что сказать, а задавать вопросы мужчина избегал. Нужно было вставать и уходить, но больше всего ему не хотелось сейчас оставаться наедине с неизвестностью.

— Может быть, нужны какие-нибудь лекарства?

Вопрос был неуместный, но доктор обрадовался возможности переменить тему.

— Нет-нет, у нас все есть. Вы знаете, вам, в общем-то, повезло: вы попали в более или менее цивилизованный роддом. Мы занимаем второе место в Москве, — добавил он с гордостью, — первое республиканский центр, но у них такое финансирование, что нам и не снилось. А мы крутимся сами, и хотя аппаратура у нас западная, но методика вся наша, превосходящая западную. Жаль только, что таких роддомов единицы. И это при том, что у нас такая детская смертность и высокий процент осложненных родов.

«Боже мой, зачем он мне все это говорит, — подумал мужчина, — какая мне разница, какая у нас смертность — сто человек на тысячу или один, если мой ребенок может оказаться этим, одним-единственным?»

— В Москве-то еще ничего, а если проехать по России, я уж не говорю про Среднюю Азию.

— Да-да, — отозвался мужчина рассеянно, — скажите, а вы от меня ничего не скрываете?

— Вы успокойтесь, папа, ваш малыш получает все необходимое, он находится под постоянным наблюдением врача и пробудет в реанимации столько, сколько потребуется. Нам удавалось спасать самых тяжелых детей, и для вашего мы сделаем все, что сможем. Если бы ваш сын был безнадежен, я бы

разговаривал с вами иначе, — добавил он, поднимаясь. — Самое главное, поддержите свою жену.

#### 4

Послеродовое отделение, в котором лежала женщина, находилось на третьем этаже, и в отличие от предыдущего роддома здесь можно было переговариваться с мужем из окна. Но никакая сила не заставила бы ее сейчас посмотреть в его глаза. Она твердо решила, что если выйдет отсюда одна, то больше жить вместе с мужем не станет. Но когда наутро увидела его из окна, растерянного, озирающегося и ищущего ее, она дрогнула.

Он так несчастно выглядел среди других мужичков, зычными голосами что-то орущих своим женам, сам на себя не похожий, маленький, пришибленный, и она подумала, что, возможно, ему даже хуже, чем ей, потому что этот человек, всегда живший весело и беззаботно, не знавший, что такое страдание, еще меньше готов к случившемуся, чем она. Он стоял и не уходил, курил и уже не пытался найти ее, а просто ждал, что она увидит его, и женщина с трудом удерживалась от того, чтобы не открыть окно.

Она не допускала мысли, что он разделит ее жизнь, она приучила себя к тому, что он ее бросит, заявит — это твои проблемы, сама все расхлебывай, и укатит в лес (доктор сказал, трудно будет первый месяц, полгода, год, но с каждым днем легче, как солнышко прибывает понемножку в день, так и ей с каждым днем будет легче), — но теперь, в эту минуту, она была благодарна ему за то, что он стоит и не уходит. Хотя бы пока не бросает ее.

Ей самой стоять было очень тяжело. Она чувствовала слабость и не могла отделаться от того

кошмара, который испытала ночью в те предрассветные часы, когда ее отвезли в послеродовую палату и она, вздрагивая от каждого шага в коридоре, ждала, что сейчас придут и скажут: жаль, но так вышло... Мы не смогли ничего сделать... И это будет все, финал, конец ее жизни — этого она уже не переживет. Те несколько часов она лежала и молилась. Это была даже не молитва, а бессвязный поток повторяющихся слов и слез с мольбою сохранить младенца.

Так остро сознававшая всю беременность свое одиночество, она думала о том, что теперь одинок ее сын. Он лежал в двух шагах от нее в комнате со страшным названием «реанимация», он был впервые за свою жизнь с ней разлучен, и ей казалось, что в эту ночь она его предала, и она ненавидела себя, свое тело, не смогшее выполнить самое главное, что было на него возложено, и ту золотоволосую женщину, которая словно специально задержала ее до вечера. Если бы она отправила ее сразу же, если бы удалось что-то сделать и остановить роды...

Мальчик, ее маленький мальчик вместо того, чтобы жить в ней, набирать вес и получать все необходимое, был вышвырнут в мир и лежал теперь брошенный ею с первых своих минут.

«Матерь Божья, — жалобно говорила она, — Ты приди к нему, помоги ему, ему сейчас нельзя одному. Он никогда не был один, он не знает, что это такое. Он безгрешнее и чище любого живущего, пусть он увидит Тебя и перестанет бояться. Ему сейчас страшно, но если Ты к нему придешь, если Ты дотронешься до него, то он успокоится. Ты одна сейчас можешь его спасти и не дать ему исчезнуть. Накажи меня чем хочешь, но только приди».

Время от времени женщина впадала в забытие, потом снова просыпалась и продолжала молиться, и иногда в голову ей западала жуткая мысль, что, быть

может, она молится напрасно, потому что его уже нет. Она со страхом эту мысль гнала, она не разрешала себе так думать, а в ушах звучала подлая фраза, казавшаяся теперь особенно зловещей: да он у вас умрет, вы не почувствуете. Боже, Боже, кто бы ей сказал, что в ее жизни выпадет такая ночь и что от всего этого она не сойдет с ума. Она часто читала в последние недели Евангелие и хорошо запомнила одно место, когда Господь говорил ученикам — эти слова всегда утешали ее и точно опровергали то другое, пугавшее ее: *«Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что человек родился в мир»*. И она верила, когда лежала в той больнице, когда ей было очень худо, когда просыпалась ночью от жутких снов, — она верила, что это только та скорбь, через которую предстоит ей пройти, а потом откроется радость. Но получилось все наоборот: скорбь лишь усилилась, и это было неправильно, несправедливо, это противоречило тому, что сказал Господь. Это значило, что ничто уже их не спасет, ни младенца, ни ее, — он родился тогда, когда рождаться было уже нельзя, не только потому, что она была слишком стара, но и потому, что мир вокруг лежал во зле. И в безмерном отчаянии она подумала, что не надо ей было креститься, не надо было ничего этого знать, она сама все напортила: грозному, злему Богу неуютны ее молитвы и слезы — Он жаждет для нее только наказания, Он отнимет ее дитя, которое не смогла отнять судьба, и она заплакала горькими, бессильными слезами.

Это было похоже на наваждение, смесь яви и сна, она точно лишилась опоры и висела над бездной отчаяния и страха, куда безвозвратно уходит человеческая душа, и над такой же бездной висел ее младенец. И она подумала, что если он упадет, то она

уйдет туда вместе с ним. У нее не было сил больше терпеть и ждать — кругом нее было темно и тихо, она не знала, жив он или нет, сердце ее молчало, она снова попробовала молиться, но не смогла: кто-то или что-то мешали ей это сделать.

Маятник страдания, приблизивший ее к Богу несколькими часами раньше, отшвырнул теперь так далеко от Него, как она не была даже в той жизни, до своего крещения. Она пришла к Нему, чтобы уйти от судьбы и стать матерью, она переступила через себя, свой страх и стыд, когда беременная раздевалась в бассейнчике с мутной водой и на нее смотрели как на ненормальную. Она вытерпела все, чтобы заручиться Его поддержкой, но Он оставил ее в самую тяжкую минуту ее жизни. Она не чувствовала ничего, кроме одиночества и бездны, — это были ужасные часы, ей казалось, что она сейчас сойдет с ума, завоет и бросится на того, кто войдет и скажет непоправимое про младенчика, как бросается медведица на безумцев, вздумавших играть с ее детьми.

Но потом наступило утро, и в палату вошел большой круглый человек в очках. Он быстро сел на кровать, взял ее за руку и сказал, что мальчик жив, он цепляется за жизнь, ему очень худо и очень трудно, но он цепляется и она должна обязательно ему помочь. Она должна думать только хорошее, не отчаиваться, и только нежностью и любовью она его спасет. Женщина заплакала и часточасто закивала, но то, что доктор принял за надежду в ее глазах, было не надеждой, а благодарностью Той, Которая ее услышала, пришла к ее сыну и дала ему руку. Потому что если бы Она не дала ему руку, то он бы не смог уцепиться — она сама только что висела над этой бездной и знала, что без этой руки спастись невозможно. И это не она ему, а он, маленький, крохотный и слабый, помогал ей преодолевать отчаяние и страх. Случилось то, чего не

должно было случиться, — чудо, потому что у нее не могло быть ребенка, все происходило вопреки природе и вопреки судьбе: и то, что она зачала, и то, что не было выкидыша на ранних сроках, и то, что ей все время мешали, но не смогли помешать, и то, что все дается так трудно. Все это потому, что глупая и злая судьба не хотела отпускать свою жертву и насылала на нее бесплодие, старение плаценты, инфекцию, злобную врачуху в консультации, нелюбимого мужа...

Здесь она споткнулась и посмотрела в окно. Муж все еще стоял. Совсем понурый, наверное, думал, что раз она не хочет с ним говорить, значит, все очень плохо. Она хотела распахнуть окно и позвать его, но услышала за спиной окрик:

— Женщина, вы с ума сошли? Ну-ка марш в постель!

В дверях стояла заведующая отделением — седая, желтолицая, насквозь прокуренная.

— Да что тебе муж? — проворчала она. — Себя побереги. Еще набегаяешься.

— Вы думаете, он... — задохнулась она от радости.

— Загадывать рано, но в любом случае слава Богу, что он родился сейчас. Медицина не слишком это признает, но в народе-то есть поверье, что семимесячных легче выхаживать. А особенно мальчиков. — Она вздохнула и присела на кровать.

— Я хочу, чтобы он жил, — сказала женщина упрямо.

— Дай Бог.

«Тем более, что больше рожать тебе не придется», — подумала она, но вслух этого не произнесла.

Утренняя служба закончилась, но храм в стареньком арбатском переулке был открыт. Заходили люди, покупали свечи, ставили их перед иконами, листали брошюры и книги, разложенные на лотке, на скамеечке сидело несколько старух в валенках и шерстяных платках, и мужчина сначала растерялся. Потом взгляд его остановился на тоненькой, необыкновенно красивой девушке, стоявшей за свечным ящиком.

— Пожалуйста, — улыбнулась она, когда он, путаясь в словах, изложил свою просьбу. — Как зовут вашего ребеночка?

— У него еще нет имени.

— Так он у вас некрещеный?

— Он только родился.

— Сожалею, — ответила девушка печально, — помочь вам Церковь не может. Она молится о крещеных.

— Но ему нужно сейчас, понимаете?

— Это невозможно. Сперва вы должны его окрестить.

Он хотел ответить что-то резкое, сказать, что ребенок болен, при смерти и не дай Бог ей такое испытать, но вдруг заметил, что лицо у нее никакое не нестеровское, как ему показалось вначале, а вышколенной, холодной служащей.

Он быстро вышел на улицу, но, куда теперь идти и что делать, не знал. Домой не хотелось, никого близкого у него не было, и весь этот студеный, ветреный день он бродил по улицам. Повсюду шла предновогодняя торговля украшениями, безвкусными импортными конфетами, парфюмерией, спиртными напитками, — все это было дико, ново для него, потому что он не был в центре несколько лет, и эти некогда любимые им бульвары и площади вызывали теперь отвращение.

К вечеру похмелье прошло окончательно, в маленькой булочной за бульварным кольцом он купил батон теплого хлеба и большими кусками, давясь, съел его почти целиком, а потом ноги снова понесли его к роддому.

Здание показалось ему еще более громадным, чем днем. Оно уходило ввысь, в беззвездное, слепое московское небо, и трудно было представить, что где-то в его глубине находились два самых близких ему человека. Он обошел несколько раз вокруг, ноги замерзли, от выкуренных сигарет во рту стало гадко, но уйти отсюда он не мог. Исполнились ровно сутки с тех пор, как у закрытой двери, в другом месте, сказали, что его жена родит, и она родила. Теперь он снова ощутил острый стыд, оттого что в ту самую минуту, когда она лежала на столе и рожала, он спал пьяный, а не стоял под этими окнами, и в тяжелом, похмельном сне, сам того не ведая, превратился из обыкновенного и никому, кроме своей матери, не нужного, пустого и никчемного человека в отца. Но даже ребенок у него получился ущербным, и все это было не случайно, неспроста, все было заслужено им самим.

Ты сам во всем виноват, подумал он в порыве отчаяния, и если покопаться в самом себе, то все станет более или менее понятным. Ты был всегда завистлив, и даже не просто завистлив, хуже — злораден. Чужие горести тебя веселили, ты радовался, когда кому-то из твоих друзей было плохо, и чем ближе был тебе этот человек, тем больше ты наслаждался, хоть и пытался лицемерно изобразить сочувствие. Чужие неудачи были для тебя слаще собственных успехов, ты ими упивался — *поэтому* из тебя ничего не вышло и ты получил лишь то, что желал другим. Ты всем завидовал: одному, что он умен и талантлив, в то время как ты был просто способен и неглуп, другому, что он богат, третьему, что у него много женщин, — ты всегда находил повод для



зависти и для разжигания зла в собственной душе. О, зависть, зависть, как она отвратительна, она есть смертный грех, она порождает убийство, она есть неблагодарность Богу за то, что Он дает, а потому у завистливого отнимется последнее и за твою зависть расплачиваться будет твой сын.

Мужчина вспомнил свой разговор с доктором и подумал о том, что если ребенок и выживет, то скорее всего останется инвалидом, умственно или физически отсталым. Жизнь кончится, кончится в тридцать шесть лет, толком и не успев начаться, бросить семью он не сможет и все оставшиеся годы будет привязан к больницам, врачам, лекарствам, специальным школам и интернатам, будет жить в вечных метаниях от отчаяния к проблескам надежды на какое-то чудо, целителя, но цена всему этому грош, и та радость жизни, те удовольствия, которые он так ценил, его независимость и покой, — все у него отнимется и никогда не придет. Так, может быть, лучше, обожгла его лукавая мысль, если дитя не будет мучить других и мучиться само, закроет глазки и навсегда уснет? А они его забудут, разведутся и забудут, и у каждого начнется своя жизнь, в которой и он и она будут удачливее? Боже, Боже, какая же мерзость лезет в голову! Неужели человек, так хладнокровно желающий смерти собственному сыну, и есть он? И именно так начинается, а может быть, и заканчивается его отцовство?

Им овладело какое-то враждебное чувство к жене. Он подумал, что его женитьба на ней была не просто ошибкой, а величайшим несчастьем, исковеркавшим его жизнь. Надо было давно от нее уйти и найти кого угодно, кто мог бы выносить и родить здоровое дитя. Он никогда не думал, что будет до такой степени хотеть ребенка, — но он хотел здорового, полноценного человека, и всю его жалость к жене, все, что он испытывал прошлой ночью, смыло ненавистью. В каком-

то умопомрачении, ничего не замечая вокруг, он шел по улице, размахивая руками, что-то бормотал, выкрикивал отдельные бессвязные слова, и в один бесконечный ряд сливались перед его глазами глуповатое, круглое лицо детского доктора, хорошенькой девушки из церкви, старухи в приемном отделении, всех, кто пытались его утешить, но он отторгал теперь любое сочувствие — ему хотелось, чтобы из темноты кто-нибудь на него набросился, хотелось грязно ругаться, драться, злобствовать и проклинать.

«Боже, Боже, что это со мной? За что мне такое? Надо остановиться и взять себя в руки. Нельзя так распускать себя. Где я?» Он огляделся и увидел, что вокруг давно уже нет ни жилых домов, ни людей — только кое-где горели скупые фонари и из-за высоких заборов лаяли собаки. Его окружали склады, ангары, строительная площадка, башенные краны и занесенные снегом, с выбитыми стеклами машины. Потом послышался шум, и он увидел электричку, слепящей фарой прорезавшую темноту, и летевшие на свет снежинки. Он пошел через рытвины вперед, спотыкаясь и падая, не видя ничего под ногами, и даже на какое-то время забыл о жене и ребенке, потом вышел на полотно железной дороги и побрел по шпалам. Он не знал, какая эта дорога и куда она ведет. По-прежнему вокруг не было ничего, кроме заборов с одной стороны и леса с другой, прошел встречный поезд, окатив его грохотом и запахом электричества. Наконец показалась впереди платформа, и он понял, что это была та самая железнодорожная ветка, возле которой они жили.

Когда он подходил к дому, то увидел в окнах свет. «Ну вот и все, ребенка больше нет, а ее привезли домой». И даже не разобрал, что в первый момент ощутил: ужас или облегчение. Только мелькнуло в голове: таких детей неужели тоже хоронят в гробиках?

В открывшуюся дверь на него смотрели два испуганных женских лица: его матери и матери жены.

— Это вы звонили вчера ночью? — спросил он хмуро.

— Я звонила, — сказала теща, — я очень волновалась — где...

— Она родила.

— Как родила? Кого? — воскликнула теща. — И сколько весит?

Он ответил.

— У меня-то были одна три с половиной, а другой четыре двести, — произнесла она с превосходством, заключавшим в себе всю прихотливость ее взаимоотношений с дочерью.

Мужчина с испугом посмотрел на мать: неужели и та не удержится и скажет что-нибудь подобное, но мать молчала, и ее обычно замкнутое лицо (она была этой замкнутостью похожа на жену или, вернее, жена была на нее похожа) показалось ему необыкновенно красивым и нежным. Ему захотелось сказать ей о своей душевной муке, ей, единственно его любившей и принимавшей таким, как есть, но его стесняло присутствие третьего человека, и он промолчал. Теща, истолковав тишину по-своему, стала что-то говорить, и мужчина ушел гулять с собакой.

## 6

Тревога усилилась в душе женщины, едва настали сумерки. Весь день она провела в возбуждении после того, как приходил доктор, — она ждала, что придет кто-нибудь еще, но в коридорах было тихо, только в пятом часу принесли полдник.

Потом она уснула, а проснулась оттого, что все было непривычно, и она не сразу поняла, где находится и что с ней. А когда вспомнила все, опять горько заплакала.

Не только душа ее, но и тело не могли приспособиться к тому, что живот, занимавший все ее мысли, стал пустым — кончилась беременность и с нею кончилась тайна. Она по-прежнему осторожно поворачивалась и двигалась, машинально тянулись к животу руки — он был все еще большим, матка сокращалась в размерах не быстро, но она была уже совсем другим человеком, чем сутки тому назад. Из груди стало сочиться молозиво — несмотря на преждевременность родов, организм вырабатывал молоко. И ей нестерпимо захотелось увидеть младенца, взять его на руки и прижать к себе. Женщина накинула халат и вышла в коридор. Слева был небольшой холл с телевизором и креслами, где сидели и беременные, и уже родившие, а иные и потерявшие своих детей, направо — выход из отделения.

— Куда вы? — остановила ее медсестра. — В реанимацию вас не пустят.

Она пошла по коридору назад и остановилась у окна. Напротив, в соседнем крыле здания виднелась комната, освещенная синим светом. Сперва она подумала, что это родильное отделение, но, приглядевшись внимательнее, поняла, что это и есть реанимация. Там был ее ребенок, и чтобы пройти к нему, надо было завернуть за угол и сделать двадцать шагов. В комнате мелькали фигуры людей, она изо всех сил напрягала глаза, пытаясь разглядеть, что они делают, но неожиданно свет погас.

Женщине стало страшно. Она ждала, что свет снова зажжется, но окна оставались темными, и она быстро пошла по коридору.

— Мамочка, — сказала медсестра, — вы успокойтесь. И идите к себе в палату. Я попрошу врача, если он освободится, вам разрешат взглянуть на ребенка.

Она кивнула, но пошла не в палату, а снова к тому окну, из которого была видна реанимация, и стояла до тех пор, пока свет не зажегся.

Теперь у нее появилась цель: она сидела на кровати и ждала, думая о том, что вчера ждала точно так же долго в эти вечерние часы «скорую» и была убеждена, что про ребенка надо забыть, это только так называется — преждевременные роды, на самом деле просто выкидыш. Но родился мальчик, она стала матерью, а все прочее не имеет никакого значения.

Было уже совсем поздно, никто не приходил, и она подумала, что про нее, наверное, забыли или сказали просто так, чтобы она не маячила в коридоре. Но потом дверь приоткрылась, и давешняя медсестра шепотом спросила:

— Мамочка, не спите?

Перед тем как войти в реанимацию, ей велели надеть халат, бахилы, пеленку на голову и марлевую повязку. Она увидела в кувезе красно-синий вздрагивающий комочек, опутанный проводами и с воткнутой прямо в головку иглой, вцепилась в руку врача и не могла вымолвить ни слова — она даже не представляла, до какой степени он мал и слаб. Казалось, жизнь едва теплится в крохотном тельце, и трудно было поверить, что из этого существа может вырасти человек. Но потом она пригляделась и увидела сморщенное личико, ротик, глазки, носик, ручки и ножки с изумительно тоненькими длинными пальчиками и ноготками. Она понимала, что долго оставаться ей здесь не разрешат, и смотрела с жадностью, пытаясь запомнить все до мелочей, любуясь им и любя это сонное, теплое тельце. Тоненькая, слабая струйка брызнула между его ножек, и ее захлестнуло неведомой, счастливой нежностью.

— Ой, писает! — ахнула она.

— Он у нас молодец мужичок, — сказал доктор. — Подождите, он себя еще покажет.

«Матерь Божья, Матерь Божья, Господи, Господи, — бессвязно прошептала она, — это все Ты. Ты только не уходи пока. Ты еще побудь с ним. Пока мне не разрешают. А потом я приведу его к Тебе. Я расскажу ему, что это Ты его спасла, Ты его заступница. Я посвящу его Тебе, Ты только сохрани его».

Она вышла, не в силах сдержать свою радость и благоговение, и не слушала, что еще говорил худощавый врач про приборы и капельницу, она верила, что дело не в этих врачах и приборах, они лишь выполняют, сами того не ведая, волю свыше.

В коридоре она попросила, чтобы ей разрешили позвонить мужу, и, захлебываясь, как самому близкому и родному человеку, стала рассказывать ему про младенчика, путаясь в словах и перебивая саму себя, перескакивая с одного на другое и благодаря его за то, что он стоял утром под ее окнами. Она не помнила себя от волнения и хотела, чтобы и он понял, что их страдания не были напрасными, но муж молчал.

— Неужели ты не рад? — спросила она с досадой.

— Рад. Тут твоя мама. Позвать ее?

— Не надо. Потом.

— Спасибо, что позвонила, — сказал он тихо и повесил трубку, и, как несколько месяцев назад, она остро пожалела о своей откровенности.

Но если бы в эту минуту она могла его видеть, то его лицо поразило бы ее. Оно выражало безмерное отчаяние и отвращение к самому себе.

— Сволочь, — пробормотал он, — какая же я сволочь! Господи, как Ты такое только допускаешь.

Он подошел к окну, прижался к холодному стеклу и услышал гудок и шум электрички, уносившейся в сторону роддома, посмотрел вниз, где два случайных фонаря освещали свежий снег, выпавший прошлой

ночью, открыл окно и несколько минут стоял неподвижно и жадно дышал морозным воздухом.

Затем взял вчерашнюю бутылку с остатками коньяка и плеснул в рюмку.

На часах было без четверти двенадцать. Этот бесконечный изматывающий день кончился, и мужчина подумал, что сегодня — день рождения его сына. Что бы ни было, у него родился сын, и этого уже никто не отнимет. Этот день рождения мог стать единственным и последним, но пока что он был, и он выпил глоток коньяка, упал на колени перед распахнутым темным окном и жадно зашептал:

— Господи, накажи меня как угодно, возьми, сколько Тебе надо, лет моей жизни, возьми мое здоровье, силы, возьми ту избушку — возьми все, только пусть он живет.

## Часть третья

### 1

На третьи сутки угроза жизни младенца миновала, однако эти дни дались ему нелегко. В его организме все время шла отчаянная борьба между антибиотиками и вирусами, его лихорадило и трясло, из полутора килограммов он потерял почти пятую часть, но сыпь исчезла, левое легкое раскрылось и дышать ему стало легче. Он больше не нуждался ни в капельнице, ни в подаче распыленного кислорода, уменьшились отеки, и два дня спустя его перевезли из реанимации в специальное отделение по выхаживанию недоношенных детей, располагавшееся в маленькой двухэтажной постройке в пяти минутах езды от роддома. В тот же день женщину выписали домой. Она вышла, ступая немного неуверенно, неуклюжая в своей тяжелой шубе, с постаревшим лицом и морщинами под глазами, в черном пуховом платке, резко оттенявшем ее бледность, и зарыдала — но не облегчающими сладкими слезами, а тяжелыми, глухими, полными отчаяния и ужаса. Случилось то, что она и в кошмарном сне боялась бы увидеть: она вышла из роддома без ребенка на руках, воровато пряча глаза, точно преступница.

С первых дней своей жизни, несчастный, не получивший ее тепла и любви, ни разу ее не видевший и даже не дотронувшийся до нее, он попадал в чужие руки, а ей предстояло вернуться в мир, где все будут жадно допытываться и обсуждать, что с ней случилось, как, почему, злословить и притворно выражать сочувствие. Она с ужасом подумала о свекрови, о собственной матери, о телефонных звонках и неловких



словах людей, не знающих, то ли поздравлять, то ли сочувствовать, и ей захотелось скрыться от людских глаз еще сильнее, чем в первые месяцы беременности.

Утреннее возбуждение, когда ей сказали, что ребенка переводят из реанимации и это очень хороший признак, прошло. Она сидела в электричке, полуотвернувшись от мужа, скорбная, сжавшаяся внутри и отрешенная ото всего. Дома, наспех поужинав и сцедив молоко, легла спать, но спала плохо, то и дело просыпаясь в бреду, и собственная квартира казалась ей чужой. А рано утром, едва зажглись первые огни в башне напротив, вышла на улицу и отправилась к станции.

На длинной широкой платформе она села в теплую электричку, и по мере того, как поезд над заснеженной поймой Москвы-реки и широким полем аэродрома, над застывшим каналом и шлюзом, мимо парка, индустриальных завалов и задворок вез ее к нужной станции, в ней усиливалась тревога, и она не могла отделаться от предчувствия, что, пока она была дома, с ребенком что-то случилось. Она выскочила из электрички на платформу, где уже чуть-чуть начинало брезжить и плотной толпой шли в чудом уцелевшее НИИ служащие, ускорила шаг и почти бежала, бежала как ненормальная со своими набухшими тугими грудями, стремительно разделась и бросилась в бокс, где лежал ее сын. Однако ей разрешили только взглянуть на него, и остаток дня она провела в комнате для матерей, среди таких же женщин, у которых тоже родились недоношенные дети.

Поначалу она держалась от них в стороне. Ей претили их беспечные долгие разговоры, легкомыслие и веселость, точно ничего страшного с ними не произошло, хотя у многих дела были гораздо хуже и хлебнули они больше, чем она. Роды не застали ее совсем врасплох, она рожала не дома, у нее не было

кесарева сечения, не было родовой травмы ребенка, не было двойни, когда один из детей умирает, — она по своему достаточно легко отделалась, и даже вес, с которым родился мальчик, считался по здешним меркам довольно приличным.

Но они все были моложе, беззаботнее или лучше умели скрывать свои чувства, и, просиживая с ними в этой комнате долгие часы от сцезивания до сцезивания за их болтовней о детском питании, одежде, колясках — о чем ей самой страшно было подумать и поверить, что ее это все тоже коснется и кроме страха и тревоги существует быт, — за всем этим она потихоньку успокаивалась и отогревалась, приходила в себя после шока, и ко многим из этих девиц, не забывавших накраситься и одеться помоднее, привязалась. На нее успокаивающе действовало, что она была не одна, все здесь друг другу сочувствовали и друг о друге заботились, и все они, и богатые и бедные, и образованные и необразованные, счастливые жены, за которыми приходили мужья, и матери-одиночки, — все были равны.

Но это чувство покидало ее, едва она выходила из больнички и ехала домой — позднее трех часов оставаться не разрешали, и ночами просыпалась от ужаса, от жутких снов, грохота набегающих и уходящих электричек, от мыслей, что ребенок не очень хорошо прибавляет в весе, вяловат и плохо сосет из бутылочки, а о груди нечего и думать. Она представляла, как ночами он не спит и плачет, никто к нему не подходит, и к утренней электричке от тревоги не чувствовала себя живой.

В ее глазах было столько страдания, что молоденькая ординатор, лечившая ее ребенка и державшаяся со всеми высокомерно и неприступно, относилась к ней совсем иначе, отвечала на все ее

расспросы, утешала и разрешала бывать при младенчике дольше обычного.

Первые десять дней он лежал в кувезе, кислород ему больше не подавали, но поддерживали тепло, которое сам он покуда хранить не умел. Кормили медсестры, женщина только сцеживала и отдавала им молоко и полностью чувствовала себя в их власти. Она смотрела на каждую из них с безмолвной мольбою и в их отрывистых фразах пыталась почерпнуть хоть слово о лежащем в кувезе мальчике, но сестры держались еще более пренебрежительно, и в их отношении к себе она чувствовала какое-то превосходство.

Вскоре она узнала, что медсестры делятся на хороших и плохих, на добросовестных и недобросовестных, у каждой из них свой нрав, одна берет все подряд, другая — только деньги, третья вообще не берет ничего. И она, сама же презирая себя за брезгливость и неумение, с каким это делала, клала в карманы шоколадки и пятитысячные купюры, пыталась льстить и заискивать, но это удавалось ей еще хуже.

Так в тревоге она встретила Новый год, запретив себе считать его праздником, потому что праздника, пока дитя было с нею разлучено, быть не могло. Она легла спать как обычно, сцедив молоко, не сделав для этого дня никакого исключения и не накрыв праздничный стол, и заснула с одной лишь мыслью и мольбою, чтобы все самое страшное осталось в том кошмарном, Богом и Россией проклятом году, а ее муж так и просидел один перед пустым столом и раздражающим экраном телевизора. Но когда в седьмом часу она встала, чтобы ехать в больницу, он сказал, что поедет вместе с ней.

Уже почти три недели он был отцом, но до сих пор ни разу не видел своего сына. Тот ужас и ошеломление, которые он испытал в первые дни после его рождения, сменились отупением, он жил механически, смирившись с тем, что произошло, и даже порою об этом забывая. Погруженная в свои тревоги, жена снова отдалилась от него, они почти не виделись и мало разговаривали друг с другом: она, приходя домой, ложилась вскоре спать, а он теперь много работал. Никому из своих знакомых, ни на работе ни он, ни она не говорили о рождении ребенка, ничто как будто не изменилось в их жизни — только прибавилось недомолвок и взаимного отчуждения. В глубине души он считал ее виноватой и этой вины не прощал. Но новогодняя ночь живо напомнила ему другую ночь, когда, мучимый неизвестностью, он сидел и слушал в темноте стук часов, и теперь он испытал едва ли не физическую потребность увидеть если не самого ребенка — на это он и не надеялся, — то хотя бы то место, где он находился.

Больничка понравилась ему сразу же. Было в ней что-то трогательное, напоминавшее старые московские особнячки. Он вошел на низенькое крылечко, стряхнул снег и сразу за входной дверью на столике увидел большую потрепанную тетрадь, раскрытую посередине. Это был список всех детей с ежедневной отметкой о прибавке в весе. И среди этих фамилий мужчина увидел свою.

В первый момент он не понял, что под этой фамилией значился не он, а когда догадался, в глазах у него потемнело. Это было первое материальное свидетельство того, что он действительно был отцом и кто-то еще на земле носил теперь ту же фамилию, однако это вызвало у него не радость, не гордость и не восторг, а очень острое, болезненное чувство собственной незащитности.

— Что, папочка, на сына пришли взглянуть? — Он поднял голову и увидел красивую женщину в голубом халате.

Он не был уверен, что действительно этого хочет, но под пристальным и немного насмешливым взглядом врача надел поверх ботинок бахилы и по каким-то коридорам, поднимаясь и спускаясь по крутым лесенкам, прошел в бокс.

Это меньше всего походило на явь: люди в халатах, много молодых женщин, детские кровати и похожие на аквариумы куветы — он шел и думал, что сейчас, быть может, произойдет самое важное событие в его жизни — он увидит своего сына.

В маленькой светлой комнате, где сидела полная старушка, врач подвела его к кувету.

— Ну смотрите, вот он, ваш красавец!

Он представлял сына пусть не таким упитанным и крепким карапузом, каких рисуют на коробках с детским питанием, но то, что он увидел, вызвало у него оторопь. Перед ним лежал и вздрагивал ручками одетый в беленькую распашонку и запеленутый по пояс красненький сморщенный старичок. Распашонка самого маленького размера была ему непомерно велика, и такой же большой была одетая на голове шерстяная шапочка. Он спал раскинув руки, чмокал губами и вздрагивал, но больше всего мужчину поразило то, что этот человечек был абсолютно точной копией его самого, но не маленького, каким он видел себя на младенческих фотографиях, и не теперешнего, а такого, каким ему еще только предстояло стать.

Врач, желая показать мальчика получше, засунула руки в кувет, сняла с младенца шапочку и приподняла его. Маленькая, испещренная венами, масляная головка даже не откинулась, а просто закачалась из стороны в сторону, нижняя губа выпятилась вперед, на личике появилась недовольная гримаса, и мужчина испытал

такое чувство неловкости и стыда, будто эти нахвалившие ребеночка женщины мучили и смотрели на него самого, беспомощного и слабого.

Надо было что-то сказать, поблагодарить, но он не мог вымолвить ни слова: ведь это был его сын, и неужели это был его сын? И он пожалел, что послушался эту красивую женщину и увидел то, что раньше времени видеть ему не следовало.

Выходя из бокса, он столкнулся с женой. Она, одетая в белый халат, несла в руках бутылочку с молочком. Он посторонился и пропустил ее, и его взгляд показался ей таким же растерянным, беззащитным и полным безмолвной мольбы, как несколько месяцев назад, когда только начались их злоключения и ее первый раз положили в больницу.

А женщина, глядя на ребенка, подумала, что теперь он уже не такой жуткий, как в реанимации. К концу третьей недели он догнал свой вес при рождении, ежедневно прибавляя по двадцать — тридцать граммов, ему начали делать массаж, но все равно представить, что настанет день и ей отдадут его, она сможет быть с ним столько, сколько захочет, и никто не будет ее контролировать, женщина не могла.

Она уже привыкла и к этой больнице, и к врачам, и к сестрам, они не казались ей больше такими страшными и жестокими, она приходила сюда как домой, приносила угощение к чаю, охотно разговаривала с другими мамами и даже как будто помолодела на десять лет, потому что к ней обращалась на «ты» даже годившаяся ей в дочери, родившая ребенка в старшем классе девица. Сюда, в этот особнячок, казалось, не проникало ничего, чем жил большой и грязный город: по коридору на первом этаже бродили толстые и важные серые коты, в полдень приезжала машина и привозила для кормящих матерей обед не хуже домашнего, детей выхаживали и растили, пока они не набирали двух с лишним

килограммов, — все это повторялось изо дня в день, и иногда наступал праздник, когда какая-нибудь из мам, одетая в этот день особенно нарядно, приносила для всех остающихся торт и на глазах у всей больницы торжественно забирала своего малыша, завернутого в самую красивую пеленку, два одеяла и укутанного так, что еле-еле было видно крохотное, с кулачок личико.

### 3

Накануне Рождества младенца перевели из кувеза в его первую кроватку, и матери впервые разрешили взять его на руки. Она взяла очень осторожно, боясь оступиться и уронить, и крохотное тельце показалось ей почти невесомым. Она держала его, бережно прижимая к груди, и думала о том, что теперь уйти от него домой будет во сто крат мучительнее.

Весь вечер она проплакала — перенести столько и быть разлученной с сыном теперь, — Боже, Боже, за что и сколько же еще эта мука будет продолжаться?

Сама она, не вполне оправившаяся после родов, держалась из последних сил, но каждый день в семь утра выходила из дому, чтобы успеть нацедить к утреннему кормлению молока. Ему обязательно надо было давать грудное молоко, чтобы он рос и с каждым днем отползал все дальше и дальше от той страшной бездны. Она снова молилась теперь на свое тело — только бы не кончилось молоко, только бы хватило хоть на первые месяцы. Наперекор всем ее страданиям, страхам и тревогам. Ни одна смесь заменить его недоношенному ребенку не могла, и она сумела расцедить груди до такой степени, что молока было в избытке, хотя вся ее жизнь постепенно превратилась в полурастительное существование: она много пила, потом сцеживала, снова пила, и так каждые два-три

часа. Но молоко было жирным, и в каждой глотке, в каждой капле, попадавшей к младенцу, была жизнь. Теперь, когда он лежал в кроватке, ему уже больше не вводили молоко через зонд, а давали сосать из бутылочки. Он сосал плохо, быстро утомлялся и засыпал, она расстраивалась, а та самая красивая врач, что показывала ребенка ее мужу, в ответ на жалобы грубовато отвечала:

— Мамочка, ваш мальчик — конь. Плохо сосет — значит, время ему не пришло. Он лучше нас с вами знает, когда и что ему делать.

Этот тон ее успокаивал: если бы дело было плохо, с ней бы разговаривали иначе.

И еще был один счастливый день, когда ей первый раз разрешили приложить его к груди, без особой надежды на успех — из бутылочки-то лилось струей, а тут надо было работать. Но когда она приблизила его ротик к груди, он вдруг открыл глазки, точно птенчик, клюнул сосок, обхватил его и стал сосать. Он сосал с открытыми глазами, тихонечко дышал — она чувствовала, как убывает молоко, и только молила Бога, чтобы он не бросил грудь, не устал. Но он продолжал сосать сосредоточенно и очень важно, и когда после кормления его взвесили, оказалось, что он прибавил целых сорок граммов. Она была так счастлива в тот день, что это можно было бы назвать наградой за все ее лишения. Материнство приходило к ней не сразу, а постепенно, так что она успевала прочувствовать и обрадоваться каждой из тех вещей, которые обычно наваливаются на женщину скопом. Эти радости были редкими, но когда они были — мальчика посмотрел невропатолог и сказал, что у него нет никаких отклонений, похвалила скупая на похвалы массажистка, дежурившая в ночь медсестра сказала, что вечером он хорошо кушал и за сутки прибавил целых тридцать граммов, — когда ей случалось услышать или узнать



что-нибудь приятное, она не ходила, а летала по этим коридорам и забывала про свою усталость, свои хвори, про то, что сама держится из последних сил.

Тот доктор в роддоме был прав: дни становились длиннее, и дитя росло все лучше и лучше, к середине января он набрал два килограмма, и заведующая заговорила о выписке. «Матерь Божья, Матерь Божья, — шептала женщина благоговейно, — это все Ты. Ты не оставила его и здесь. Ты приходишь к нему, когда меня нет». И страх, казалось, навсегда пронизавший все ее существо, стал уходить, она больше не боялась, что, придя однажды утром в больницу, услышит, что случилось несчастье. Она постепенно поверила, что у нее родился сын, никто не отберет его и она будет с ним жить, кормить, пеленать, гулять, будет его купать — все это придет, и даже то, что все стоило ей стольких кошмарных часов и дней, уйдет в прошлое и станет просто воспоминанием.

Тогда же она решилась на то, на что очень долго не могла решиться: дать мальчику имя, и впервые между нею и мужем возникло разногласие и невидимое, но отчаянное соперничество.

Она инстинктивно очень боялась этого момента. До сих пор она не была уверена в том, что муж станет относиться к ребенку как к своему сыну. За этот месяц она привыкла, что все лежит на ней, к тому же она плохо представляла этого человека стирающим пеленки, моющим пол или ходящим на молочную кухню, в нем слишком сказывалось его барское воспитание, эгоцентризм и презрительное отношение к любой домашней работе. Но отстранить совсем она его не могла, и в загс они отправились вдвоем, в тот самый загс, где последний раз были тринадцать лет назад, и до сих пор не могли разобраться, ошибочным или правильным был их визит туда. Молодая пожилая дама выписала свидетельство о рождении, и сочетание

фамилии и двух имен, одного, данного женой, — оно не слишком ему нравилось, но возражать он не стал — и другого, его собственного, окончательно узаконило существование ребенка и повлекло за собой вещи, в обычных случаях совершенно непримечательные, но казавшиеся им чудесными: прописку, получение пособия. Снова надо было сидеть в очередях, записываться на прием, составлять заявления и ждать, но от этих бюрократических процедур они получали необыкновенное удовольствие, потому что никому из угрюмых чиновников, скучающих при виде их простого, не таящего подводных камней и, следовательно, не сулящего вознаграждения случая, дела не было до того, в какой срок и с каким весом родился младенец. Он был просто один из десятков тысяч рождающихся в России детей, рождающихся вопреки нищете, братоубийству, грязи, лжи и грозным пророчествам о близящейся кончине мира.

#### 4

Из больницы его выписали в середине января. Последние несколько дней мужчина и женщина ездили по магазинам, убрали квартиру и покупали все подряд: коляску, кроватку, ванночку, бутылки, детскую одежду и постельное белье, женщина шила из марли подгузники. Однако чем ближе был назначенный день, тем беспокойнее ей становилось. Она боялась теперь, что не справится с ребенком, все казалось ей неготовым, неубранным, она не была уверена, что сможет сама переодеть, накормить и искупать его. Она привыкла к тому, что каждый день в больнице мальчика смотрели врачи, теперь же она оставалась один на один с этим слабеньким, тихо дышащим существом, жизнь которого была для нее почти такой же непостижимой и

таинственной, как и в пору беременности. И если тогда она сходила с ума и все время прислушивалась, толкается он или нет, то теперь точно так же прислушивалась, дышит или не дышит.

В комнате было тепло, но ей казалось, что он мерзнет. Она положила в кроватку грелку и села рядом. Потом перепеленала его, и хотя прежде делать этого ей не приходилось, все получилось довольно ловко. В положенное время она приложила его к груди, он жадно зачмокал и тут же у груди уснул. Теперь он уже не был таким страшненьким: под кожей образовался небольшой слой жира, она расправилась, исчез пушок на щечках, и он стал походить на обыкновенного младенчика, только очень маленького.

Звонила ее мама, звонила свекровь, она что-то механически отвечала им, а сама не сводила глаз с кроватки. Рядом стоял большой стол, приспособленный ею для пеленания, и на этом столе все необходимое: подгузники, вата, крем, бутылочка с простерилизованным подсолнечным маслом. Это был теперь ее маленький мир, в котором ей предстояло жить вместе с ребенком, и она постаралась сделать его как можно более удобным, обжитым и безопасным, и никого кроме мужа в него не пускала. Ни матери, ни свекрови прийти и взглянуть на внука она не разрешила.

Вечером его понесли купать. Он открыл глаза и первый раз за весь день поглядел на склонившиеся головы родителей. Мужчина осторожно его держал, а женщина мыла. Она боялась его переостудить, нервничала, но все выходило как нельзя лучше. Большим куском марли они вытерли его: она тельце, а он головку, поросшую светлым пушком и все еще податливую и мягкую на ощупь. Младенчик хныкал: он хотел кушать и никак не мог вытерпеть, пока мать его запеленает. Он чувствовал близкое тепло и запах ее

груди, эта близость томила и возбуждала его. Но только он жадно набросился на грудь, как тотчас же ее отпустил и заплакал. Испуганная женщина прижала его к себе и стала уговаривать поесть, но он корчился и выгибался на ее руках. У него схватывал от боли животик, он плакал, потому что хотел, но не мог есть, и только спустя некоторое время успокоился и взял грудь. А ночью снова проснулся от боли, она носила его на руках, он плакал и не успокаивался, и тогда мужчина положил его себе на живот, боль сразу же стихла, и он так и проспал на животе у отца до следующего кормления.

Женщина боялась, что муж может уснуть и неловко повернуться, но мужчина не спал. То, что он переживал в те первые часы, когда младенец был дома, оказалось самым сильным потрясением за всю его жизнь. Никогда и никого, ни мать, ни отца, ни жену, он не любил такой безумной инстинктивной и животной любовью.

Это даже нельзя было назвать любовью или счастьем, ни одно из обычных человеческих понятий к испытываемому им не подходило, было гораздо глубже и сильнее. Все то, чему он поклонялся и верил, что воспитывал в себе годами, катилось под откос, и женщина с удивлением и недоумением наблюдала, как ее уравновешенный, брезгливый муж с необыкновенно серьезным и воодушевленным видом кипятит, тщательно отполаскивает и развешивает в ванной и на кухне пеленки и подгузники, каждый день делает в комнате влажную уборку. Он забросил и лес, и свои любимые газеты, без которых прежде не мог жить, а читал исключительно книги по уходу за детьми. К своему ужасу, она вдруг обнаружила, что он считает себя более сведущим во всем, что касалось младенца, он тиранил и преследовал ее: сколько и как она кормила, гуляла, сколько он спал и какой у него стул, он мучил ее какими-то наставлениями, давал советы —

откуда уж он их брал, начитался в этих книгах или додумался сам, она не знала, но снова вдруг ощутила, что ребенок как бы ей и не принадлежит. Прежде за нее все решали врачи, теперь муж, а она оставалась тем, чем была, — кормящей матерью, единственная забота которой снабжать ребенка молоком.

Они давно не ссорились, потому что ссориться им было не из-за чего: у каждого была своя жизнь и жизни эти не пересекались. Теперь же ссоры вспыхивали в доме постоянно, и лежавшее в кроватке дитя не ведало, что было причиной этих ссор.

А мальчик рос. Пока что разница между ним и обыкновенным месячным ребенком была слишком велика, но он набирал свои граммы и прибавлял сантиметры роста гораздо быстрее, чем доношенные дети, стремясь догнать тех, кто родился одновременно с ним, и вместе с ними начать ползать, вставать, ходить и говорить. Однако за это отчаянное стремление его организму приходилось платить слишком высокую цену, он страдал от нехватки микроэлементов, недополученных в два последних месяца беременности, и в детском тельце опять стало накапливаться неблагополучие.

Уже на следующий день после их приезда из больницы пришла участковая врач, не слишком молодая и, должно быть, изрядно повидавшая на веку, и в ее глазах женщина прочла неподдельный ужас. Сама она уже давно привыкла к ребенку, и он не казался ей ни очень слабым, ни очень маленьким, она помнила, каким он был в кувете месяц назад и как сильно с тех пор переменился. Но врач, осторожно развернув пеленки, боясь дотронуться до него, слегка пощупала печень, послушала легкие и ушла, неуверенно пробормотав, что ребенок должен находиться под наблюдением заведующей отделением.

Потом пришла и сама заведующая, высокая, властная, стремительно и увереннодвигающаяся по квартире, и так же уверенно и властно звучали ее слова. Тщательный уход, избегайте любых контактов, малейшая простуда, температура, отравление — то, что доношенные дети переносят сравнительно легко, у вас выльется в самые тяжелые формы.

Она говорила это, глядя женщине прямо в глаза, она точно готовила ее к самому худшему, разрушая уютный и тихий мир, который они построили в своем доме. На улице зима, по Москве гуляет страшный грипп, дифтерия, ни вы, ни ваш муж не застрахованы от вирусов, у ребенка шум в сердце и увеличенная печень, его организм не полностью адаптировался, и адаптация происходит с большим трудом. От вас зависит многое, но предусмотреть все нельзя, и ребенок, помяните меня, дастся вам большой кровью. Вы должны это хорошо понимать, я вас не запугиваю, я просто говорю вам все как есть.

В какой-то момент женщина перестала слушать: ей было достаточно и десятой части этих медицинских угроз. Она лишь повторяла про себя одно слово: уход, уход, уход. «Маленький, ты только не уходи, — взмолилась она, прижав его к себе, — ты только останься с нами».

Она валилась с ног от усталости, от разорванного сна, от постоянного напряжения и нагрузок, но засыпала и пробуждалась с одной молитвой: «Матерь Божья, если Ты хотела отнять его от меня, это надо было бы сделать сразу. Тогда у меня еще были силы, но теперь я не смогу, если с ним что-то случится. Ты вытащила его из бездны тогда — не дай же ей взять его обратно. Отведи от нас беду, Заступница. Пусть мы грешные, пусть мы живем без закона и без любви, дитя не должно расплачиваться за родительские грехи. Я согласна страдать сколько потребуется еще, я знаю,

просто так ничего не бывает и я была наказана за свою холодность, но только не дай совершиться беде, огради его от зла».

Иногда, засыпая прямо в кресле, покормив его, она пробуждалась оттого, что вспоминала: не успела дочитать молитву, и снова молилась, и плакала, и убеждала, убежденная сама, что только этими молитвами дитя и спасается и проживает каждый новый день. Она загадала себе, что им надо дожить до весны, пережить зиму, как когда-то надо было пережить ночь, и тогда уже никакая бездна их не настигнет.

## 5

С утра молоденький лаборант из детской поликлиники взял у младенца кровь на анализ, и они ушли гулять, а вскоре после их возвращения раздался звонок в дверь. Быстро, так что мужчина даже не успел помочь им раздеться, вошли заведующая отделением и участковая. Спящего ребенка велели распеленать, пощупали печень, заглянули в ротик и склеры глаз.

Все это происходило без объяснений и сопровождалось отрывистыми вопросами и командами: где можно помыть руки, разденьте, переверните, и было похоже на бандитский налет или действие оперативников.

Потревоженный во время глубокого сна, младенец заплакал, женщина взяла его на руки, и заведующая, не глядя на нее, найдя глазами мужчину, еще более жестко, чем в предыдущий раз, сказала:

- Ребенка надо госпитализировать!
- В больницу? — вскрикнула женщина. — Ни за что!
- Вы хотите его потерять? Значит, слушайте меня, папа, внимательно. У вашего ребенка очень плохой

анализ крови. Очень. Гемоглобин в два раза ниже нормы плюс вчетверо повышенный ретикулоцитоз. И желтушность на лице. Это одно из двух: либо инфекционный гепатит, либо идет гемолиз. И то и другое — прямая угроза его жизни.

— Но ведь он себя хорошо чувствует, — возразила женщина, отбиваясь от страшных слов, значение которых она точно не понимала.

Мужчина же не слышал ничего. У него зазвенело в ушах, и он ощутил еще большую слабость, чем в тот вечер, когда стоял под дверью приемного отделения и до него доносились такие же жестокие и резкие слова.

— Госпитализировать надо немедленно. С таким гемоглобином не живут, понимаете? У него страдают ткани, страдает мозг, организм недополучает кислород, и эти последствия могут стать необратимыми. Поверьте мне, сейчас вам кажется, что он чувствует себя хорошо, но через час случится гемолитический криз и он на ваших руках умрет.

— Еще одной больницы я не выдержу, — сказала женщина безучастно.

— Выдержите, — ответила врач жестко. — Вы что хотели, в тридцать недель родили и думаете, легко отделаетесь?

В ее голосе прозвучало осуждение, но женщина с мукой поглядела в злые глаза заведующей, и та смягчилась, точно притупив свою жестокость об это страдание.

— Вы не отчаивайтесь. Печень у него не очень увеличена, значит, пока что прямой угрозы нет.

Она пошла к телефону, стала звонить в Морозовскую больницу, долго ругалась и доказывала, что ребенка могут спасти только там.

Младенец больше не просыпался, пока они ждали «скорую», потом они завернули его в одеяло и пуховый платок и понесли в машину, ехали через пол-Москвы,



надолго застревая в пробках, и только когда в приемном отделении молодой дежурный врач ловко, играючи развернул его, он потянулся, зевнул и захныкал.

— Ну, зеваает, значит, ничего, здоров, — усмехнулся врач.

Женщина не поняла, говорит ли он это серьезно или в шутку, но то, что он не глядел на нее сумасшедшими глазами, ее обнадежило.

Их отвели в бокс, она положила мальчика в которую по счету казенную кровать и в первый момент не обратила внимания ни на грязные стены и потолок, ни на разбитый кафель, ни на духоту, в которой им теперь предстояло жить. Главное, никто не собирался разлучать ее с ребенком. Она вышла в коридор и простилась с мужем, снова, как полтора месяца назад, успокоила его и велела привезти завтра необходимые вещи, потому что даже постельного белья в больнице не давали.

Мужчина вышел на улицу, где стало еще морознее, и в темноте побрел между корпусами к выходу. Больница оказалась неожиданно большой. На ровных аллеях горели фонари, проходили запоздалые посетители, и везде, в больших и маленьких, в новых и старых корпусах, лежали больные дети. Он подумал об этих детях и почувствовал необыкновенную нежность и грусть. Ему хотелось в эту минуту утешить каждого из них, успокоить и взять на себя их страдание. За освещенными окнами мелькали детские головки, он подолгу стоял и смотрел, потому что торопиться домой не хотелось.

Стоило только представить пустую квартиру, пустую детскую кроватку, ванночку, бутылочки, соски, пеленки — то, что являло для него отныне высшую вещественную ценность мира, как его охватывала безудержная тоска. Он прежде любил оставаться один

в квартире, но теперь это одиночество ужасало его, и если бы не собака, он ни за что бы не вернулся домой, а поехал к матери или сестре. Он бывал у них очень редко, потому что и в той, и в другой многое его раздражало, а им, верно, претил его эгоизм, но сейчас он подумал, что раздражительность и эгоизм, страстность, неуступчивость и нетерпимость друг к другу происходят лишь оттого, что люди не знают цены истинным вещам, таким, как здоровье и жизнь детей, заслоняются чем-то надуманным, пока несчастье не откроет им глаза. Он решил, что как только ребенок выздоровеет, то сразу же поедет к двум забытым им родным женщинам, и весь вечер они станут пить чай и говорить о хозяйственных заботах, о детях, о домашних делах, о чем-то простом и незамысловатом, из чего отныне будет состоять на долгие годы его жизнь.

Сыпал легкий снежок, покрывая все следы на земле. Он уже совсем потерял дорогу и не знал, где находится, но спросить было не у кого, и он просто шел и шел бездумно и наугад и вдруг наткнулся на приземистое здание и тускло блеснувшую вывеску: «Патологоанатомическое отделение».

К горлу подступила тошнота, он представил холодные голые тельца и бросился бежать прочь, боясь, что в череде его мыслей и навязчивых картин мелькнет образ сына. Через дыру в заборе он вывалился на какую-то улицу около стадиона, пошел глухими дворами и переулками. Район был нежилой, со всех сторон его обступали громадные корпуса, он уже совсем потерял ориентир, пока наконец не оказался на трамвайной линии. И все его покаянное благодущие смыло этой жуткой картиной.

Он не спал до самого утра. Сидел на кухне под веревками, на которых сохли пеленки, боясь войти в комнату и взглянуть на пустой детский угол, курил, снова мучительно ждал и тут же, опустив голову на

стол, уснул, а разбудил его телефонный звонок, и он не сразу узнал голос жены — низкий, отрывистый и хриплый:

— Плохо. Они сказали, что очень плохо. Немедленно приезжай.

Он был уверен почти наверняка, что не успеет. Бежал до метро, потом по переходу, волоча с собой сумку, набитую детской одеждой и вещами жены, сумку, казавшуюся ему теперь уже совсем не нужной. Когда врачи говорят «плохо», значит, в действительности дело обстоит еще хуже.

И там, в вагоне метро, зажатый людьми с чемоданами, колясками и тележками — они все ехали торговать на барахолку в Лужники и заполнили целый вагон, — в грохоте поезда, ругани челноков и обыкновенных пассажиров, во всей этой сутолоке, в которой его, верно, тоже принимали с его баулом за торговаша, неожиданно подумал об одной вещи, прежде от него ускользавшей. Он подумал, что ему нужен не просто ребенок, не просто сын для продолжения рода или удовлетворения честолюбия, ему нужен именно *этот* ребенок, *этот* младенец, которого он за полтора месяца полюбил, и что бы с ним ни было, что бы ни ждало его в будущем, больной ли, здоровый, это его сын и никого он не будет любить так, как его.

На той станции, где делали пересадку мешочники, его вытолкали из вагона, и толпа понесла по платформе. Он стал продираться назад — его хватали, толкали и что-то кричали, он цеплял всех своей сумкой, но ему нужно было в вагон. Он очень боялся, что не успеет и все произойдет без него, как произошло в тот раз. На следующей остановке он пробился к выходу и по огромному подземному переходу, под шириною проспекта, сквозь сплошной ряд торговцев газетами, календарями, книгами и порнографическими плакатами, изображениями сладких кошечек, мимо

очереди за обменом валюты, дорогих магазинов, дипломатических домов и дипломатических машин, расталкивая прохожих, он шел к больнице. И чем ближе он был, тем становилось ему страшнее, точно его вели на собственную казнь.

Жутко хотелось курить, но он боялся задержаться хотя бы на секунду, пока будет доставать сигарету и прикуривать, и почти бежал по скользкой обледеневшей дорожке к двухэтажному ветхому корпусу, в левом крыле которого на первом этаже располагалось грудничковое отделение. Он опасался, что потеряет время на идиотские объяснения и уговоры какой-нибудь дежурной медсестры, но никто не стал задерживать его, когда, скинув куртку на руку, он пошел по коридору. Больница была полна хохочущими молодыми студентами, проходившими практику, и он быстро затерялся среди них. С обеих сторон долгого коридора располагались стеклянные боксы, и на каждой двери висела табличка с фамилией ребенка, возрастом, диагнозом и температурным листом. Студенты деловито переписывали данные в толстые тетради, и в этой суматохе он не мог отыскать свой бокс. Напряжение его достигло уже такой степени, что он не чувствовал своего тела и точно не шел ногами, а что-то его несло. Наконец у нужной ему двери он остановился, потом неслышно приоткрыл ее и скользнул в душное помещение. Жена сидела на стуле спиной к входу, детская кроватка была пуста.

## 6

— Где он? — спросил мужчина, едва ворочая языком.

— Ему делают пункцию костного мозга.

— Зачем?

— Я не знаю.

Она сцеживала молоко и не поворачивалась к нему, голос ее показался ему враждебным.

— А что говорят врачи?

— Ничего не говорят.

— Но ведь вчера же... — возразил было мужчина.

— Не знаю, что вчера, — она повернулась и посмотрела сухими горячими глазами, — у него с утра взяли столько крови из вены — он весь синий, холодный, еле живой. А теперь еще костный мозг. Я не понимаю, как так можно.

Молоко струйками стекало по стенкам бутылочки, и он подумал о том, что, наверное, зря она сцеживает и вообще все, наверное, зря: и страдания, и молитвы. Все зря, потому что если не суждено ему быть отцом, то никуда от этого не денешься, сколько ни бейся. Он сел на кровать, обхватил руками голову и некоторое время сидел не двигаясь. Пункция костного мозга, кровь из вены... Самому ему, когда у него брали обыкновенный анализ крови из пальца, становилось дурно, из вены у него не брали никогда.

— А он зевает? — спросил он глупо и поднял голову.

— Да при чем тут это? — заплакала женщина. — Я ничего здесь не понимаю. Они прибежали сюда с утра как сумасшедшие человек пять, смотрят его, между собой что-то говорят, а мне ни слова. Только сказали, раньше надо было в больницу, теперь может быть уже поздно.

— Что с ним такое?

— А спроси у них! Плохо, говорят, и больше ничего.

— Тут очень душно, — сказал мужчина, расстегивая воротник. — Давай проветрим, пока его нет.

По коридору ходили какие-то люди: матери в ярких халатах, сестры, врачи, студенты.

— Да сколько ж можно-то?

В дверь постучали — они оба вздрогнули, но вошедшим оказался парнишка в очках.

— Меня интересует история вашей болезни.

— Нет у нас никакой болезни, — отрезала женщина.

Потом наконец принесли ребенка. Женщина покормила его, перепеленала и уложила в кроватку, и они снова стали ждать, что к ним вот-вот придут и начнут что-то делать, но никто не приходил. О них словно забыли. К двум часам коридор опустел, обессиленный, потерявший столько крови младенец не то спал, не то лежал в забытьи.

— Надо поесть, — сказала женщина, — ты хочешь?

Он хотел, но покачал головой: есть в этой ситуации казалось абсурдом.

— Я тоже не хочу, но мне надо, чтобы не пропало молоко.

— Как зовут нашего врача? — спросил мужчина, поднимаясь с кровати.

— Кажется, Светлана. Светлана Васильевна.

Он нашел ее в коридоре на посту. Она сидела за столом и писала историю болезни: маленькая, тщедушная, сама похожая на студентку, из тех, у кого мужчина вел семинары, читал лекции и принимал экзамены.

— Ну что вам? — проговорила она недовольным голосом. — Я все объяснила вашей жене. Положение очень серьезное, но пока ничего определенного мы сказать не можем.

— Но ведь вы же ничего не делаете! — возразил он. — Вы говорите, что положение тяжелое, и никак не лечите его.

— Послушайте, вы кто по профессии? Врач?

— Нет.

— Тогда не надо мне указывать, что я должна делать.

Она опустила голову и снова стала писать.

- Светлана Васильевна!
- Вениаминовна, — поправила она.
- Скажите, он будет жить?

Она пожала плечами:

— Не знаю. Мы только что взяли анализы. Они в работе и будут готовы через несколько дней. Тогда что-то станет ясно и можно будет начать лечение. Скорее всего, у него какая-то разновидность гемолитической анемии. Некоторые из них вылечиваются, некоторые нет. Но если и вылечиваются, то не до конца. Курс лечения в больнице, ремиссия, несколько месяцев дома — и снова больница.

— И так всю жизнь? — спросил он дрогнувшим голосом.

— Иногда удастся добиться улучшения.

Он закурил и вышел на крыльцо. За эти несколько часов погода переменилась. Подул юго-западный ветер, с крыш закапало, над корпусами, голыми деревьями и аллеями завис туман. Было сыро, неуютно, в нескольких шагах от него стояли ярко накрашенные студентки и курили дорогие сигареты. Прошла Светлана Вениаминовна, не глядя ни на него, ни на студенток, — простучали по сырому асфальту каблучки. Кричали вороны, вдалеке гудели автомобили.

Больной ребенок, у меня больной ребенок, повторял он, приучая себя к этой мысли. У него тяжелое, неизлечимое заболевание крови. Это хуже, чем почки, печень, сердце, легкие, — это кровь. Даже если он останется жить, то будет лишен сотни радостей, обыкновенных для здоровых людей. Прикованный к жуткому графику — несколько месяцев дома, несколько в больнице, — он не будет нужен никому, кроме матери и отца.

Сигарета кончилась, он достал другую, прикурил. И все-таки лучше это, чем ничего. Любое бытие лучше небытия. И в такой жизни можно будет открыть для

него радость — только бы они смогли хоть что-нибудь сделать.

Он с неприязнью посмотрел на студенток. Врачи, клятва Гиппократы, курящие, накрашенные девицы, заигрывание, хохот, а рядом умирающие дети. Господи, Господи, пусть он только живет.

## 7

Он приезжал в больницу каждый день к девяти утра и привозил две сумки с продуктами для жены: термос с супом, термос со вторым и термос с компотом из сухофруктов, потому что именно такой компот способствует лактации, и сидел в боксе до поздней ночи, пока его не прогоняли дежурные медсестры. Сидел возле кровати, давая жене немного отдохнуть, иногда носил ребенка на руках, иногда что-нибудь читал, кипятил чай, мыл пол в боксе, стирал и лишь изредка выходил на улицу курить, туда, где то капала с крыш капель и висели туманы, то задували ветра и валил снег, а то наступали морозы и зимнее солнце лениво и бездумно скользило над верхушками деревьев.

Он находился при жене и при ребенке как бессменный часовой, и женщина, глядя на него, с непонятно откуда взявшимся в ее нынешнем состоянии удивлением думала о том, что этот холодный, равнодушный человек, привыкший к заботе только о себе или к тому, что о нем заботятся другие, избалованный своей матерью, изнеженный, не то чтобы переменялся или стал другим, но в нем точно открылось что-то глубоко спрятанное, затаившееся и никогда, быть может, не узнанное, если бы не эта больница.



Они ждали результатов анализов, сначала одних, потом других, затем еще повторных. Каждый день с утра приходила медсестра с лиловыми глазами, молча забирала ребенка и уносила в лабораторию. Они не слышали и не знали, что она там делает, но всякий раз его приносили измученного, холодного, такого же лилового, и от собственного бессилия, от того, что они ничем не могли помочь и ни во что вмешаться или отдать свою кровь, можно было сойти с ума. Женщина с трудом удерживалась от того, чтобы не вырвать его из рук этой сестры, завернуть в одеяло и унести прочь, в свой дом, не открывать дверь, не подходить к телефону.

Однажды кровь брали из пальчика прямо в боксе. Нужно было собрать в двенадцать маленьких пробирок: сначала он терпел и не плакал, но потом, когда кровь с усилием пришлось выдавливать, жалобно заплакал. Их уверяли всегда, что он чувствует боль совсем не так, как большие дети, он ее не осознает и не страдает от нее, но она была готова поклясться, что ребенок плакал и просил, чтобы она защитила его. С каждой новой пробиркой он плакал все отчаяннее и громче, мужчина беспокойно задвигался, и сестра, не поднимая головы, резко сказала:

— Выйдите в коридор, если не можете смотреть! Что вы думаете, мне это доставляет удовольствие?

Однако и неделю спустя ясности не прибавилось. Гемоглобин не падал и не поднимался, желтушность не уменьшалась и не увеличивалась, патологии обнаружено не было, и никаких лекарств младенцу не давали. Они просто лежали в этой больнице, каждый день с утра его смотрели, щупали печень и селезенку, несколько раз уносили в большую учебную комнату, где его осматривал аккуратный, доброжелательный профессор, что-то объяснял студентам, а мужчина и

женщина стояли рядом, и профессор спрашивал их про наследственные заболевания.

К ним здесь привыкли, и больше не приходил вечерами дежурный врач, который всегда осматривал тяжелобольных детей, но все равно каждый раз, когда мужчина в утренних мерзлых сумерках шел по аллейке к больничному корпусу, стараясь не думать о неприметном здании в дальнем углу, он ничего не мог поделать с охватывавшим его ужасом, что за ночь что-то случилось и он придет к пустой кровати.

— Ты меня ненавидишь? — спросила его женщина однажды.

— Почему?

— Потому что это я во всем виновата.

Он ничего не ответил и только вяло махнул рукой: кто был виноват во всем, что с ними произошло, да и была ли вообще чья-либо вина, его больше не интересовало. Он смотрел на маленькое желтое личико спящего мальчика и точно пытался его запомнить, изучить до мельчайших подробностей.

Светлана Вениаминовна уже не была такой холодной и неприступной с ними, она навевалась довольно часто просто так — они привыкли и ждали ее, ища утешения и поддержки, хотя ни того, ни другого дать она не могла.

— У вас очень странные анализы. Они все время дают пограничные результаты, а почему и с чем это связано, сказать никто не может. Надо смотреть дальше, наблюдать за динамикой, ждать — ничего другого не остается. Перелить мальчику кровь или эр-массу, что делают при низком гемоглобине, мы не можем, потому что в этом случае смажется вся картина и истинная причина заболевания вообще останется неясной.

Анализы делали неделями. Несколько раз мужчина возил пробирки с кровью в другие больницы и научно-

исследовательские институты, холодея при мысли, что где-нибудь в сутолоке его толкнут, пробирка опрокинется или разобьется и у мальчика снова возьмут кровь. Сколько же они ее уже взяли... И иногда ему казалось, что они делают все это не для младенца, а для удовлетворения собственного любопытства, чтобы продемонстрировать студентам случай редкого заболевания или собрать материал для научного исследования.

Постепенно он и сам начал вникать в сложные вещи: процессы кроветворения, биохимический анализ крови, прямой и непрямой билирубин, размеры эритроцитов, число нейтрофилов и тромбоцитов. Обо всем этом рассказывала ему Светлана Вениаминовна старательно и связанно, как на экзамене. Слушая ее увлеченные, толковые объяснения, он рассеянно думал, что, должно быть, из нее выйдет хороший врач, но все же видеть интересное в том, что было для него горем, казалось патологией и заключало в себе что-то отталкивающее.

Они мучились от неизвестности, от постоянного ожидания добрых или злых вестей, и это было так тягостно, что иногда хотелось одного: скорей бы им объявили диагноз и кончилась эта пытка.

А потом однажды в сумерках, когда врачи уже ушли, они не ждали никаких известий и поэтому спокойно сидели и пили чай — она на единственном стуле, а он на краешке ванной, — дверь в бокс распахнулась и влетела медсестра:

— Только что позвонили из лаборатории. У вас очень плохая биохимия. Я вызвала врача.

«Вот и все», — подумал он и со страхом посмотрел на спящего мальчика: даже взять его на руки он теперь не решился бы.

Сестра вышла, и они остались в темноте.

— Может быть, заберем его отсюда? — сказала вдруг женщина.

— Как? — не понял мужчина.

— Я им не верю. Они только мучают его. А если что случится, то пусть лучше дома.

Он не успел ничего ответить: вошла Светлана. Она была нарядно одета, с высокой прической на голове, которая совсем не шла к ее некрасивому узкому лицу и придавала ее облику что-то очень провинциальное, но он посмотрел на нее с мольбою, как на фею.

Она не торопясь вымыла руки, распеленала младенца, посмотрела его и недоуменно пожала плечами.

— Что с ним? — выдохнул он.

— Не знаю. На взгляд, никаких изменений не произошло. Когда у вас брали анализ?

— Позавчера.

— Этого не может быть, — сказала она спокойно. — Такой анализ может быть только у ребенка, умершего сутки тому назад.

По спине пробежали мурашки.

— Произошла ошибка. Кровь взяли позавчера, а анализ делали сегодня, за двое суток она просто прокисла.

— О, Господи!

— Ничего, привыкайте, бывает и не такое.

Она посмотрела на них совсем не строго, не как врач и с грустью сказала:

— А я от вас ухожу.

— Куда?

— Еще не знаю. Наверное, в районную поликлинику. Вызовы на дом, прививки, простуды, рецепты. Кончилась моя ординатура.

— Ну что же, — он замялся, не зная, что лучше сказать, — нам будет вас очень не хватать здесь.

— Вас теперь будет вести заведующая отделением. Она очень опытный врач, но я хочу сказать вам одну вещь. Я перерыла за эти дни гору литературы, и мне кажется, что все это время мы слишком глубоко копали. Это такой принцип: сначала ставить все возможные диагнозы, а потом их исключать. — Она посмотрела на женщину: — Поймите меня. Мы ведь тоже переживаем. Знаете, как врачи радуются, когда диагнозы не подтверждаются. Так вот, по-моему, у вашего ребенка просто незрелость костного мозга на фоне недоношенности и затянувшаяся желтушка новорожденных. Со временем это пройдет само собой.

— Вы так говорите, чтобы на прощание успокоить?

— Не только. Конечно, полностью исключать вероятность инфицирования, пока нет всех анализов, я не могу, но думаю, все будет у вас хорошо.

Но поверить словам этой молоденькой женщины он себе не позволил. Эти метания от отчаяния к надежде настолько его вымотали, что он снова почувствовал, как им овладевает какое-то отупение. Он вернулся в бокс, где жена перепеленывала сына, текла в ванной вода, в сумерках на столе и на полу появились тараканы. Лучшая больница страны, грязь, воровство, бестолковость, блат — все одно и то же, одно и то же, сколько бунтов, революций, реформ, перестроек и диктатур ни произойди. Хорошую, умную девочку засунут в районную поликлинику, вместо нее возьмут какую-нибудь бестолочь — в этой стране родился и прожил свою жизнь он, проживет, если только проживет, свою его сын — но кому нужна такая жизнь? Мы просто вымираем, подумал он, у нас рождаются недоношенные, больные уже в утробе матери дети, мы все подвержены анемии, гемолизу, рахиту, если не физическому, то душевному, — это есть наша судьба и наше предназначение среди других народов, где ни один уважающий себя человек не позволил бы, чтобы

его ребенок находился в таких условиях или чтобы беременная женщина три часа ждала «скорую помощь». И ни одна власть такого бы не позволила.

А мы все терпим, со всем смиряемся, мы все запуганы или запугиваем других, в нас нет не только любви, но элементарного уважения друг к другу. Для этих врачей я ноль, ничтожество, они входят в бокс к моему ребенку и в упор меня не видят и не воспринимают как страдающего человека. Даже эта Светлана стала относиться к нам по-человечески только время спустя, когда мы сумели тронуть ее сердце, и то лишь потому, что оно еще не очерствело. Наша повседневная жизнь ужасна, особенно если случается что-то очень затрагивающее нас, но мы этого не замечаем, мы устремлены в прошлое ли, в будущее, мы толкуем о великой России или идеалах свободы и демократии, мы забалтываем все, что можно заболтать, мы упиваемся своим красноречием, особой избранностью и духовностью, а за наше словоблудие расплачиваются дети этими нищими больницами, смрадом, тупостью и грубостью. Дети и их матери, которым просто больше не от кого рожать, кроме как от убогих российских мужчин, тем более интеллигентов. А новых русских или сентиментальных иностранцев на всех не хватит. Я должен отсюда уехать и увезти их, жену и сына. Куда угодно, в какую угодно страну, где я буду последним эмигрантом, где меня станут еще больше презирать и в грош не ставить, хотя можно ли больше, чем здесь и сейчас, но остаться после всего этого я не смогу. Я всегда с гордостью говорил, когда при мне ругали Россию, что это моя страна и, какая бы она ни была, она мне родина. А то, что мы живем в нищете и рабстве, — это наш удел и наша расплата за грехи соблазненного равенством и справедливостью поколения. И я был готов по этим долгам платить, но это только до тех пор, пока у меня не стало ребенка.

Ребенок чист и по моим грехам платить не обязан, и если я там не нужен, то пусть хоть он вырастет человеком.

Он не заметил, как начал говорить с самим собой, и задремавшая было жена проснулась и беспокойно спросила его:

— С кем это ты? Кто здесь?

— Спи, никого, — ответил он шепотом и присел на кровать.

Она снова задремала, и он с нежностью и виной посмотрел на ее усталое, измученное лицо. Она уже много дней не выходила из бокса, постаревшая, осунувшаяся, — кто она ему, родная, чужая? Но он вдруг почувствовал что-то вроде благодарности за то, что она выхаживает или сопровождает до конца его ребенка.

## 8

Итак, гепатит. Вероятно, в роддоме занесли вирус. Все оказалось гораздо проще и страшнее, чем она предполагала. Гепатит, который у недоношенных младенцев дает такую тяжелую клинику, что перерастает в цирроз печени, и дети умирают, в сущности, от той же болезни, что и закоренелые алкоголики.

Заведующая отделением держала в руках карту с только что с опозданием полученным анализом и думала о родителях. Нет, эти скорее всего судиться не станут и нервы никому мотать не будут. За два десятка лет работы она уже научилась объявлять подобные вещи не прямо, но достаточно жестко, так что умные люди ее понимали. Если ничего сделать нельзя, значит, нельзя. К слезам и мольбам ей было не привыкать, но

все же истерик она не любила и больше уважала тех, кто принимал ее приговоры молча и достойно.

— Пришел положительный ответ на австралийский антиген, — сказала она женщине на утреннем обходе.

Женщина не сразу поняла, что это значит, ее сбило с толку слово «положительный», и она только спросила:

— А мы долго здесь еще пробудем?

— Послушайте, — разозлилась заведующая, — вы же не будильник принесли в ремонт. У ребенка тяжелейшее заболевание — инфекционный гепатит.

— Это очень серьезно? — Женщина выпрямилась, и лицо ее побледнело.

— Это очень неприятно, — ответила заведующая, покусывая нижнюю губу. — Очень.

— Я хочу его окрестить.

— В церковь нести? Да вы что? Его из бокса выносить никуда нельзя!

— Я позову священника сюда.

Заведующая хотела резко возразить, но поглядела на спящего мальчика и едва заметным движением пожала плечами:

— Если вы так настаиваете, я могу сделать для вас исключение.

Это было ранним утром, мужчина еще не пришел, и до его прихода она носила спящего мальчика на руках, а потом велела мужу немедленно идти в храм и искать любого священника, который бы согласился прийти в больницу.

— Ты веришь в то, что это его спасет? — спросил он горько.

— Я хочу, чтобы он был крещеным.

Снова он шел по долгому коридору мимо врачей, сестер, практикантов, ординаторов и мамаш в халатах и спортивных костюмах, кто-то сделал ему замечание, что он не снял верхнюю одежду и не переобулся — в тот день ждали комиссию из министерства, — в боксах был



шмон, и женщинам велели убирать продукты с подоконников, выгоняли родственников и всех посторонних, и заведующая пожалела, что разрешила позвать попа, хотя потом рассудила, что по нынешним временам поп — это даже хорошо и его могут засчитать в ее пользу.

Мужчина же шел и думал о том, что его жене, наверное, не безразлично, умрет ребенок крещеным или нет, быть может, она верит, что если его не окрестить, то он не попадет на небо и не увидит Бога. Но он думал совсем о другом. Какой смысл был в жизни двухмесячного младенца, не видевшего ничего, кроме больницы, уколов, боли, перенесшего столько страданий, и все это должно закончиться смертью от гепатита, в сущности, обыкновенной желтухи, которой болеет каждый второй и вылечивается, но по чьей-то идиотской халатности ему занесли смертельный вирус, и ни одно лекарство не сможет этот вирус остановить.

Смерть торжествовала, как ни пытались они ускользнуть от нее, как долго им это ни удавалось, это была только игра жестокого мальчишки с уползающим жучком. Два месяца страдания, боли — и смерть. Жена велела ему торопиться, но торопиться не хотелось. Он точно стремился оттянуть тот момент, когда призовет к кровати умирающего ребенка чужого и равнодушного человека, для которого этот младенец будет одним из сотен крещенных им детей, а то, что он умрет, — кому какое дело. Так же равнодушно этот или другой священник совершит отпевание. Мы попадем в ту половину статистики, что отвечает за детскую смертность, и увеличим ее еще на одну единицу. И больше ничего — день рождения, день смерти и могилка, чтобы ездить туда два раза в году. И вся наша оставшаяся жизнь, независимо от того, доживем ли мы ее вместе или порознь, превратится в воспоминание об

этих двух месяцах, и нам останутся его имя, распашонки, бутылочки, кровать...

Потом он подумал, что, когда мальчик умрет — подумал спокойно, как об уже свершившемся факте, — врачи произведут вскрытие, чтобы подтвердить правильность диагноза и чтобы все эти студенты и практиканты, все будущие доктора знали цену ошибки и никогда бы не заносили австралийского вируса в детскую кровь. И кого-то, быть может, тронет история *этой* детской болезни и наше страдание, и из такого человека выйдет хороший врач или добросовестная медсестра, но если вся жизнь моего сына и все его муки нужны были только для того, чтобы отучить от халатности врачей в стране, где по халатности взрываются атомные станции, тонут пассажирские пароходы и морские паромы, сталкиваются поезда, разбиваются самолеты и горят газопроводы, — если эту задачу государственной важности надо решать такой ценой, то я ничего не понял. Пусть даже завтра за все страдания мой сын увидит Самого Бога и сядет у Его Престола, который никогда не увижу по своим грехам и маловерию я, то я все равно ничего не понимаю. Возможно, мою маленькую, любящую, праведную жену это утешит и она будет до конца своих дней молиться и, как Иов, благодарить Небо за дар страдания и когда-нибудь тоже попадет туда и там они встретятся и обнимутся на глазах у всего ангельского сонма, — мне это не грозит: ни будущей жизни, ни Царствия Небесного я не заслужил и не заслужу, равно как и не заслужу вечных мук. На мою долю выпадет только небытие, ибо в конечном итоге я убежден совсем в ином. Убийца моего сына — природа. Та самая природа, которую я боготворил и к которой убегал из этого мерзкого города. Это она не захотела рождения ребенка, но лукавые люди не дали ему, обреченному по ее законам на смерть, умереть. Они хотели ее обмануть

и перехитрить, но не знали, с кем имеют дело: она вершит свой отбор, невзирая на все наши представления о высшей целесообразности, чуде и милосердии, и если моему ребенку нет места на этой земле, то тем или иным способом она свершит свое дело. На это так же глупо жаловаться и искать виноватого, как обвинять в убийстве землетрясение, извержение вулкана или лавину. Любая болезнь, любой вирус есть не что иное, как способ, посредством которого регулируется численность людской популяции, а занимается ли этим старик с бородой, или дьявол с хвостом, или медоточивый Будда — в этом ли дело?

## 9

Церковь была закрыта. Мужчина постучался в дверь, за которой слышалось нестройное пение — верно, шла спевка церковного хора, но ему не открыли, и тогда он вошел через калитку за церковную ограду и направился к домику причта. Никто не остановил его, он вошел в прихожую и открыл дверь в просторную комнату. В этой комнате за большим столом под иконами, в окружении нескольких старух в белых платочках сидел аккуратненький, ясный старичок с пушистой бородой, в серой рясе и пил чай. Старухи рассказывали ему что-то жалобное, а он прихлебывал из блюдечка и как будто не слушал их. Он ласково посмотрел на мужчину и улыбнулся ему.

Старухи тотчас же обернулись и замахали руками, двое вскочили с места и попытались вытолкнуть его за дверь, раздались возгласы и возмущенные восклицания, но мужчина уперся руками в косяк и не двигался.

— Ну-ка тихо, расшумелись, — сказал старичок, — вы ко мне?

И тотчас же старухи опять загалдели, стали кричать, что батюшка давно на покое, требы не совершает, а о том, чтобы в больницу ехать, и речи быть не может, но чем больше они кричали, тем больше мужчина убеждался, что жене нужен именно такой человек.

По дороге он рассказал священнику всю историю сына, но старик слушал так же невнимательно, как и жалующихся старух. Придя в бокс, он велел остаться только матери. Через полчаса священник вышел. Женщина шла рядом с ним, поддерживая его под руку, и мужчина услышал обрывок их разговора:

— Я только хочу, чтобы он не мучился. За что ему это?

— Ты вот что, — сказал старик строго, — ты не дури и вопросов лишних не задавай. Все равно никто тебе не ответит. А врачей не шибко слушай — не их ума это дело, кто и когда пред Богом предстанет. Ну, Господь с тобой.

— По-моему, он такой старый, что так ничего и не понял, — заметил мужчина с грустью.

И началась еще одна, уже третья по счету неделя в больнице. Снова приходили профессора, врачи и студенты-практиканты, и все спрашивали одно и то же: какого цвета моча и кал младенца, рассматривали его язык, нёбо и склеры глаз, но никаких явных признаков гепатита не было.

Потом их снова оставили в покое, потеряли интерес и точно забыли. Никто не говорил, сколько осталось младенцу жить, инкубационный период мог и затянуться — надо было снова ждать. И снова каждый раз, когда мужчина шел в больницу и нес сумки с термосами, он не знал, что скажет жена и не случилось ли за ночь чего-то страшного.

Никогда он не думал, что человек способен страдать до такой степени и так долго — это страдание вбирало в себя все: и его горечь, и ненависть, и любовь. Он с ним засыпал и просыпался, оно присутствовало в каждом мгновении его жизни, что бы он ни делал, не притупляясь и не ослабевая. Но потом, в минуту какого-то просветления — это было ранним утром, перед тем как войти в отделение, самое ужасное, что было в его нынешней жизни, ибо именно утром он не знал, живого или мертвого увидит своего сына, — в эту минуту он остановился перед дверью и не ускорил шаг, как обычно, а достал сигарету, неторопливо выкурил ее, потом поднял голову к низкому, хмурому небу, опиравшемуся на верхушки голых и сырых деревьев, и вдруг почувствовал, что он не одинок. «Страдание есть знак нашей неоставленности Богом», — подумал он.

Мимо него смеясь прошли две молоденькие медсестры — они уже хорошо знали его в лицо и приветливо поздоровались, — проехала машина, и из нее вышла женщина с ребенком на руках, подошла к нему и спросила, как пройти в отделение. Он объяснил ей и подумал, что и сам сейчас возьмет сумки и пойдет по коридору, где на него давно уже никто не обращает внимания, кивнет молоденькой девочке в боксе напротив, дочка которой лежала уже несколько месяцев с тяжелейшим пороком сердца, войдет в бокс и отпустит жену на весь день домой, пусть она отдохнет, примет ванну, а он покормит сцеженным молоком. Странно, но молоко у жены не исчезло, она продолжала кормить семь раз в день каждые три часа с небольшим перерывом на ночь, она начала давать ребенку по капле яблочный сок и на кончике ложки творожок — первый прикорм. Она учила его следить глазами за игрушкой, улыбалась ему, гугукала, она относилась к нему так, как будто никакой болезни не было, и он подумал, что его жена оказалась гораздо мудрее и перестала

бояться. Совершенная любовь не знает страха. К этому очень долго и трудно идти, но, перенеся столько страданий, испытываешь только одно чувство — благодарности.

Он открыл дверь и вошел в вестибюль, где стояли коляски и висела новогодняя газета, снял куртку и переобулся. Был самый обыкновенный день — сколько будет таких дней еще, сколько им отпущено, он не знал и старался не думать, как они уйдут отсюда без мальчика. Есть вещи, которые непосильны даже для самой совершенной любви...

Жена сидела, как и в первый день, спиной к двери и кормила младенца. Он позвал ее, она обернулась, и он увидел, что она плачет. Мальчик спал у нее на руках, а она плакала обиженными детскими слезами, всхлипывала, как — вспомнилось почему-то ему — в их первую ночь. Он был тогда убежден, что не первый ее мужчина, и в душе с этим смирился, но она оказалась девственницей, и оттого ли, что он повел себя неумело или ей было очень жаль себя, но она проплакала до самого утра, и возникший между ними разлад они так и не смогли преодолеть.

Он подошел к ней, обнял и прижал к себе ее и ребенка и подумал, что это и есть, наверное, счастье, но у них его никогда не будет.

Она плакала, не могла остановиться, но все время пыталась что-то сказать, а слезы ей мешали, и он, прижимая ее к себе, качал головой и точно говорил: не надо, не надо ничего.

Но она отстранила его от себя и, глотая слезы, глядя на него с любовью и благодарностью, проговорила:

— Нет, совсем другое, не то, что ты думаешь. Утром приходила заведующая... Оказывается, они все это время... Они брали повторные анализы... Тот первый...

Он не подтвердился... Это была ошибка или я не знаю...  
В общем, у него ничего нету.

\* \* \*

Он уже привык к этой затененной и жаркой комнате, к своей железной, покрашенной белой масляной краской кровати, к разным женщинам и мужчинам, приходившим его смотреть, к ползавшим по прутьям тараканам и очень удивился, когда однажды его завернули не просто в пеленку, а в пуховый платок и два одеяла и вынесли в коридор. Это было в тот самый день, когда его полной жизни исполнилось ровно десять лунных месяцев, и в больших городах и деревнях, в измученной светлой стране, по всему пестрому, многоголосому и многоцветному миру рождались дети, зачатые одновременно с ним, кричали первым криком, хватали материнскую грудь и жадно вгрызались в жизнь, не зная ничего из того, что успел узнать он.

Женщина несла его по коридору и прощалась с больницей, с врачами и сестрами, на которых давно уже не держала зла. Была середина февраля, Сретение, зима встречалась с весной, старец Симеон с младенцем Иисусом, и значит, они перешли тот рубеж, которого она боялась, — смерть осталась за спиной, и умиротворенный ребенок засыпал у нее на руках. Он скользнул своим смышленным взглядом по зеленоватым стенам, остановился на мерцающих тусклых лампах, на морщинистом лице сестры-хозяйки и зажмурил глазки, когда на улице ему брызнуло в лицо светом весеннего солнца, прибывавших дней, капли и гомонящих птиц, и теплый поток сна понес его дальше, в жизнь, наполненную грохотом, свистом, ветром и светом, которого было так много, как не было еще никогда.

**Ева и Мясоедов**  
***Семейное предание***



У моей бабушки было очень красивое имя — Мария Анемподистовна. Правда, отчества своего она не любила и просила называть ее Марией Борисовной. Кем был ее родной отец, сибирский золотопромышленник с загадочным прозвищем Анемподист, бабушка никогда не рассказывала — но, судя по всему, человек этот отличался суровым нравом и дочь свою недолюбливал, либо любил такой скрытной любовью, что за строгостью нельзя было разглядеть истинного чувства. О матери своей бабушка тоже при нас не вспоминала, мы долго не знали ни ее имени, ни к какому сословию она принадлежала, когда и по какой причине умерла и где упокоено ее тело, никогда не видели ее фотографий, и оттого сутулая худощавая бабушка с ее морщинистым лицом, тонкими губами и глубоко посаженными глазами представлялась нам прародительницей Евой, до появления на свет которой на земле не было ни одного человека. История начиналась с нее, и вещей смысл имели лишь те события, которые случились на ее веку.

Когда мы подросли и стали соотносить вехи человеческой жизни с более длительным ходом времен, установилось, что Мария Анемподистовна Посельская родилась в первом году нескончаемого двадцатого века в Томске. Родители ее рано разошлись, и бабушкина мама Александра Алексеевна с двумя детьми вернулась в Тверь, откуда была родом и покинула отчий дом ради неудачного замужества. Причина, по которой не задалась семейная жизнь нашей прабабки, никому из ныне живущих доподлинно неизвестна и вряд ли когда-нибудь известна станет. Тот доисторический, добабушкин период времени так и остался в сознании ее потомков легендарным, мифическим; бабушка о

Сибири не помнила и почитала своею родиной Тверь, но мысль о том, что во мне есть частица сибирских корней, грела и греет мою душу, и фигура Анемподиста Георгиевича Посельского, чье имя в переводе с греческого означает «не встречающий препятствий», а отчество ему я дал сам на том единственном и, признаюсь, довольно шатком основании, что Георгием и возможно в честь своего отца он назвал первенца — личность этого человека странным образом волнует мою родовую память.

Впоследствии один из бабушкиных сыновей Николай Алексеевич на все мои расспросы отвечал, что Анемподист был пьяницей, а другой сын Борис Алексеевич сухо заметил, что тот был вовсе никаким не золотопромышленником, а банковским служащим, который заболел дурной болезнью. Однако романическому, замороженному таинственным именем воображению всегда казалось или же хотелось, чтобы дело обстояло как-то иначе. Стремясь угадать образ своего темного предка, я всякий раз приходил к убеждению, что то был человек, изо всех сил пытавшийся удержать в повиновении семейство в роковую пору, когда из повиновения выходила огромная страна. Дети отца боялись и втайне желали бы, чтобы он куда-нибудь делся. Он это видел и был бы рад исчезнуть, когда б его исчезновение могло что-то решить или кого-то уберечь; от сознания своего бессилия он становился еще раздраженнее: любовь породила страх за будущее семьи и, несовместимая со страхом, уходила как вода из треснувшего сосуда.

Я не могу утверждать этого наверняка, но много ключа к последующим событиям и судьбам у меня нет. Бабушкин отец не был сумасбродом, но его мучали предчувствия, как мучает головная боль людей чувствительных к перемене погоды. Жена его не понимала и не могла взять в толк, как она, отнюдь не

бесприданница, а дочь тверского купца первой гильдии, уступила, поддалась и вопреки воле собственного отца стала женой угрюмого, нелюдимого чалдона, как мог он ее провести, что за наваждение на нее нашло, ведь совсем другим он был, когда сватался к ней. Она жила с ощущением загубленной судьбы и желала лишь, чтоб дети ее избежали той же участи.

В конце концов совместное проживание супругов себя исчерпало, следы Анемподиста Посельского окончательно затерялись, а Александра Алексеевна с двумя детьми вернулась в родительский дом, совершив путешествие вспять потоку, что волею Столыпина переносил людей из европейской части России в Сибирь и на Дальний Восток.

В Твери жизнь была куда более устроенной и сносной. Бабушкин дед, почетный гражданин города, коммерции советник Алексей Коняев на паях с родным братом Николаем владел паровой каменной мельницей на берегу Волги, разрешение на строительство которой дал Государь-освободитель незадолго до мученической кончины. Братья были людьми строгих нравов, не выносили пьянства и оттого на мельнице у них работали татары (что после революции Николаю Коняеву припомнили, хотя с фабрики не прогнали, и бывший хозяин продолжал до 1928 года работать на ней директором), зерно они покупали самых лучших сортов на Алтае и были крупнейшими поставщиками хлеба в Санкт-Петербург и за границу. Алексей Андреевич занимался благотворительностью, много жертвовал на храм, заботился о дальних и о ближних: летом его семья отправлялась в Европу, на взморье или проводила благословенные месяцы середины года в тех местах, где Вазуза сливается с Волгой в местечке с чудным названием Подъелышево, и тем не менее свое верхневолжское отрочество бабушка вспоминать не

любила так же, как и сибирское детство. Ей было нехорошо в этом богатом, гостеприимном доме.

Хозяин его, человек во всех отношениях замечательный и по сю пору в Твери почитаемый, имевший от двух жен двадцать одного ребенка и невообразимое количество внуков, одну из своих внучек так и не полюбил. Она была почему-то не мила, чужда ему, то ли потому, что слишком походила на своего пьяницу отца, о которым он слышать не хотел, то ли наоборот старик не был доволен тем, что его дочь ушла от мужа, и тень ее позора легла на его репутацию и как следствие на его отношение к дочкиным детям, младшая из которых не умела ласкаться, не нашла лазейки к его сердцу или была недостаточно женственна, весела и хитра, хотя с единственной сохранившейся от тех лет фотографии на меня смотрит пышноволосая, спокойная дева с полными губами и очень красивыми, глубокими глазами. Но тогда умели делать фотографии...

Впрочем, все это отчасти лишь мои догадки. Один только достоверный случай рассказывала нам бабуля из той таинственной старинной жизни. Однажды в Тверь приехал Шаляпин. Бабушка давно копила деньги на билет, достать который обычным образом было невозможно, и купила пропуск в рай у барышников по безумной цене; но когда с замирающим сердцем отыскала и заняла заветное место в партере, устремив отуманенный взор на сцену, где вот-вот должен был раздвинуться занавес и появиться ее божество в одеждах царя Бориса, пришли служивые люди в позументах и велели ей убираться — оказалось, что бабушкин билет был выкраден у солидной дамы, стоявшей за спиной у капельдинеров и гневно смотревшей на юную воровку, которая не смела сказать ни слова в свое оправдание. Так, как она плакала тогда, бабушка не плакала больше в жизни никогда.

Несправедливое изгнание из театрального Эдема, должно быть, сильно запало ей в душу, и хотя у наследницы хлебозаводчика были все основания предъявить счет революции, поправшей благополучие ее дома в семнадцатом году (личный капитал, положенный на ее имя, составлял к той поре сорок три тысячи золотых рублей), молодая гимназистка падение династии приветствовала, ожидая, что вместе с венценосцем сгинет семейная деспотия и общественная несправедливость; она навсегда, бесповоротно и безвозвратно простилась с тем, что отравило ее детство и первую юность — насильственным почитанием царя, церкви, начальства и страхом перед родительским и Божиим наказанием.

Эта революция, совпавшая с ее семнадцатой весной, была ее революцией. В Твери она проходила еще более жестоко, чем в Петрограде; при известии об отречении императора толпа взяла штурмом дом губернатора, самого его растерзали; перед смертью несчастный правитель успел исповедаться по телефону правящему архиерею, который позднее писал в мемуарах о том, что это был единственный на его памяти случай подобной исповеди. Едва ли бабушка об этом эпизоде из истории родного города знала; никогда в своих рассказах революцию она не ругала, но радовалась ей, как радуется обновлению юное сердце и, что бы позднее ни думали про случившееся в роковом феврале семнадцатого ее внуки и правнуки, у меня никогда не поднималась рука за эту живую и неподдельную радость ее осудить.

К большевистскому перевороту и советской власти она отнеслась как к неизбежности и только боялась оказаться лишенкой. Избирательное право у нее, однако, не отняли и впоследствии всю жизнь, где бы она ни была, бабуля моя ходила голосовать, неодобрительно отзываясь о тех своих знакомых и

родне — а их было немало, — кто выражал тайное неудовольствие общественным строем. Купеческая дочь не была поклонницей нового режима, но точно знала, что все могло оказаться хуже, гораздо хуже, чем даже было на самом деле.

Она вообще многое видела, знала и понимала, но немного успела нам рассказать. Отчасти тому виной был ее единственный зять, наш отец, которого бабушка очень уважала и по молчаливой договоренности с ним не забивала голову детям рассказами о том, как было в истории их страны и семьи на самом деле и откуда происходил наш род по материнской линии — вот почему мне приходится теперь по крупицам, по рассказам и воспоминаниям восстанавливать фрагменты бабушкиной судьбы, неизбежно домысливая и угадывая недостающие части, невольно искажая подлинную картину событий и превращая ее в сад разбегающихся тропок — но что поделать, если многих свидетелей тех лет уж нет в живых, никаких писем, дневников и мемуаров они не оставили, а сюжет этот меня влечет и не отпускает много лет.

Отдельные периоды бабушкиной жизни так и остались совершенно неясными. Как долго жила она в родительском доме после революции, где работала, как переживала голод и гражданскую войну, на чьей стороне была, когда увидела своими глазами, куда привела страну любезная ее сердцу освободительная смута, как ощущала себя в новом мире — ничего этого мы не знали, если не считать глухого упоминания о возвратном тифе в двадцатом году, о прекрасных рыжих волосах девятнадцатилетней девушки, которые та пожалела остричь и после болезни волосы потеряли былую красоту, о разлуке с родным братом Юрием, о тяжелой болезни матери, которую надо было лечить стрихнином, но в минимальных дозах, и бабушка страшно боялась ошибиться. Представляя ту далекую

пору лишь умозрительно, я тем не менее могу почти наверняка утверждать, что как бы тяжело бабушке ни приходилось, одного она не желала — возвращения старых времен, и не только потому, что они были душевно тяжелы и унизительны для нее, но и потому, что в устремленности вперед таилась какая-то очень важная и спасительная черта ее характера.

Случалось, она как будто забывала о данном нашему отцу обещании и вдруг говорила о том, что февральская революция была правильная, а октябрьская нет, хвалила нэп, рассказывала, как сразу все появилось в магазинах. В начале 20-х она поступила в Твери в институт землеустройства, но гораздо больше ее влекла литература, и вместе с фольклористами братьями Соколовыми она ездила записывать старинные песни и предания, водила знакомство с почтенным крестьянским поэтом Спиридоном Дрожжиным, переводила на английский некрасовских «Русских женщин» и начала писать стихи сама. Она получила диплом землемера, но приобретенная профессия большой роли в ее жизни не сыграла — в том месте, где каждому отмеривают не землю, но судьбу, строптивой и страстной рабе Божьей Марии было уготовано поприще матери и жены, хотя замуж она вышла, когда ей было под тридцать, и позднее с пугающей откровенностью рассказывала не внукам — тех это не коснулось, но трем своим внучкам и не иначе как в поучение и назидание, что была немолода, не слишком красива — особенно большие руки у нее были нехороши и она из-за них сильно переживала и смущалась, — так вот своему мужу бабушка была благодарна за одно то, что он подарил ей счастье, которого она уже не ждала.

За все остальное благодарить его было много сложнее. Нашего деда, в моих координатах он должен был бы прозываться Адамом, но никогда им не был, — звали Алексеем Николаевичем Мясоедовым, и он-то своей родословной и происхождением гордился очень и никогда своих корней не скрывал. Однажды мы узнали о существовании целого генеалогического древа мясоедовского рода, в чьих боковых ответвлениях затерялись наши с сестрой имена, но поскольку фамилию мы носили другую, не столь знатную, то большой ценности для ватманского листа, хранившегося у кого-то из прямых потомков на окраине Ленинграда, не представляли.

Происходившие от легендарного литовца Якова Мясоеда, который жил в пятнадцатом веке и, по сказанию старых родословцев, вместе с братом Хрущем (родоначальником Хрущевых) поступил на службу к царю Ивану Третьему, внесенные во вторую и шестую родословные книги нескольких губерний, Мясоедовы были на редкость сильным и разветвленным кланом, давшим миру самых разнообразных исторических личностей от знаменитого художника-передвижника до казненного в пятнадцатом году по обвинению в шпионаже полковника Генерального штаба. Помимо них древнюю фамилию носили царскосельский лицеист пушкинского времени (юноша слабых дарований, но добрый и простодушный — именно он стал автором знаменитых строк «Грядет с заката царь природы», спародированных Олосенькой Илличевским, но он же позднее встречал всех лицейских товарищей, проезжавших через Тульскую губернию, шампанским, а в 1836 году организовал празднование 25-летия лицея,



на котором присутствовал Пушкин: «Была пора: наш праздник молодой...»), члены важных государственных комиссий, сенаторы, академики, генералы, музыканты — это был целый материк людей и судеб. Среди этих колен и их героев дедушка наш оказался не самым знаменитым, но несомненно, редчайшего везения и удачи человеком. Обреченный на гибель одним фактом своего происхождения, невоздержанностью и длинным языком, а кроме того опасными связями и труднообъяснимыми знакомствами — черт дернул его водить дружбу со знаменитым чекистом Артуром Фраучи, заманившим в Советскую Россию Бориса Савинкова, разгромившим монархическое подполье и наделавшим еще кучу славных и ужасных дел, а также с будущим генеральным прокурором Андреем Вышинским (с ними обоими в гимназии учился его старший брат, эсер Марк Мясоедов, известный тем, что 1910-м году он открыл толстовскую сходку у Казанского собора в Петербурге с требованием отменить смертную казнь, за что отсидел одиннадцать месяцев в одиночке в Крестах, а после был сослан на год в Вологодскую губернию под гласный надзор полиции) — дедушка счастливо миновал все угрозы, которые несли ему, белоподкладочнику, дворянскому сыну и сенаторскому внуку с врожденными задатками авантюриста, новые времена.

Он знал наизусть «Евгения Онегина» и «Луку Мудищева», обожал Алексея Константиновича Толстого, Апухтина и Сашу Черного, не ходил ни на одну из войн, хотя на второй год революции ухитрился побывать предРИКа на Украине; не провел ни одного дня в темнице, а в совпавшей с первыми годами советской власти молодости сумел выучиться на юриста благодаря тому обстоятельству, что его родной отец, присяжный поверенный Николай Николаевич Мясоедов по прозвищу Большак, защищал до революции социал-

демократов и по семейной легенде был дружески связан с братьями Ульяновыми: со старшим учился в петербургском университете, а младшему обеспечил отъезд в эмиграцию после сибирской ссылки. В 1905-м со словами «с таким Государем я работать не могу» Большак порвал с «преступным царским режимом» и удалился в добровольное изгнание в Саратов, а в 1917-м отказался от приглашения Керенского занять пост министра юстиции: «Хочу досмотреть комедию из Саратова».

Всего этого хватило на то, чтоб его сын смог учиться в Иркутске, но по причудливым законам большевистского ханства оказалось недостаточно, чтобы поступить в университет в Москве или Петербурге. Порывать с семейной традицией и ехать учиться в Сибирь молодому человеку, ох, как не хотелось, и он поделился невзгодой с другом юности Левушкой Кассилем.

— Леша, если бы в царское время я мог бы поступить хоть в Иркутске, хоть в Благовещенске или во Владивостоке в университет, я бы поехал, не задумываясь, — сказал не по годам мудрый Лев Абрамович, чья литературная звезда в ту пору еще только восходила.

Со стороны родившегося в 1905 году и никак не могущего до революции учиться в университете Кассиля это была гипербола, но перевертышный смысл ее казался столь очевиден, что дедушка совету младшего друга внял — ежели только весь этот дружеский сюжет не семейное мифотворчество — и отправился к Байкалу.

В иркутском университете студент Мясоедов был единственным, кто ходил на лекции в костюме и галстук. Однажды его вызвали на собрание и стали за галстук песочить. Один выступающий, другой, третий — Алексей Николаевич сидел с отрешенным видом, точно

речь шла не о нем, возмущение нарастало, но когда обвиняемому дали слово, он молча указал на портрет, висевший за его спиной. Со стены на возбужденную рабоче-крестьянскую молодежь смотрел прищурившийся Ильич, который был одет так же, как и мой находчивый близкий пращур, благодаря своему отцу связанный с вождем революции таинственными нитями судьбы.

В Иркутске дед проучился два или три года, а закончил учебу уже в Москве, куда ему помог перевестись ставший ректором МГУ Вышинский и где одним из его сокурсников был Варлам Шаламов. Однако по адвокатской линии выпускник юрфака не двинулся. Незадолго до окончания университета родитель призвал его к себе. «Алеша, — молвил он глухим голосом, — время правосудия кончилось. Законы, статьи не работают. Все идет по букве „е“ — ежели не эта статья, будет подобрана другая... Был бы человек, статья найдется». Как соотносил Большак эти перемены с собственным вкладом в падение кровавого царского режима, спросить теперь уж не у кого, но дедушка отцовскому предупреждению внял, да и вообще карьера, признание и служебные почести интересовали его в этой жизни немного, хотя с его способностями он мог бы многого достичь. Некоторое время Алексей Николаевич работал учетчиком в плановом отделе завода «Динамо», но после того как в конце 34-го года до его славной родословной стали докапываться с не самыми благими намерениями, ушел из профессии. Так рассуждал об этом один из моих дядьев, второй же, в биографии своего родителя более осведомленный, рассказывал, что работа экономиста довела деда, человека при всем своеобразии его характера очень честного, справедливого, неспособного воровать и с воровством мириться, до Канатчиковой дачи. Впрочем если учесть, что завод «Динамо» о ту пору являл собой

троцкистский центр, где открыто освистали Сталина, то дедово внезапное заболевание могло быть вызвано самыми разнообразными причинами, а его отношение к такому распространенному понятию, как вредительство, наполнено личным содержанием. Сам он сочинил по поводу последнего сюжета любительский стих, до которых был большой охотник:

Рабинович и Буклан  
Составляли вместе план  
Аппаратного завода.  
Аппаратный, чуть дыша,  
Ждал, какое антраша  
Выкинут на склоне лет,  
Не наделают ли бед.  
Рабинович и Буклан  
Смело выполнили план,  
По которому завод  
Пошел задом наперед.

Еврейский сюжет вообще оказался одним из ключевых в жизни русского дворянина, чей родной отец в 56 лет женился вторым браком на 19-летней красавице по имени Эсфирь и, по преданию, умученный страстной и ласковой женой вскоре скончался, на склоне лет сполна вкусив высшего земного блаженства. Сын его и здесь отцовский опыт учел и на молоденьких особах женского пола, а тем более еврейского роду-племени николи не женился, но к юной мачехе относился с неизменной и почтительной нежностью, а своим сыновьям любил повторять тургеневское: бойся женской любви, бойся этого счастья, этой отравы...

Уйдя с опасного предприятия, дед закончил учительские курсы при Моссовете и занялся преподаванием русской классической литературы

сначала в обычной, а потом и в высшей школе и на рабочих факультетах. Молодежь своего преподавателя обожала, ходила за ним гурьбой и не напрасно — в советское время эти уроки дорогого стоили и могли пробудить наиболее пытливые умы; дед любил принимать экзамены и заслуженные подношения от студентов, ни в чем себя не стеснял, не обижал и в удовольствиях не отказывал, был не единожды женат и всякий раз счастлив, прожив жизнь отменно длинную и вкусную. Бабушка была одной из составляющих этого бесконечного мужского праздника, даром что ли дедова древняя фамилия выражала идею противопоставления посту и вообще всяческому воздержанию и самоограничению, и никакая эпоха не могла ему в том помешать. Напротив, ироничный, веселый, обаятельный человек, он неизменно обращал ее черты в свою пользу, обживал, одомашивал ее, приспособливал под себя и одерживал самые блистательные победы над веком-волкодавом. Но без бабушки едва ли б ему удалось все это проделать.

Их первая встреча случилась на тверском почтамте, куда он зашел послать телеграмму, в 1928-м году вскоре после возвращения из Иркутска. Как именно представление другу другу и взаимное узнавание двух бывших состоялось; что заставило его, красавца, дворянина, находящегося проездом из старой столицы в древнюю, увлечься, снизойти, обратить взор и тотчас же сделать предложение засидевшейся в девках высокой, дородной тверитянке, как она была одета и причесана в тот душный летний день — все это теперь уже навсегда ушло в область романических догадок, но если искать каких-то литературных параллелей, то возможно это в какой-то мере походило бы на брак княжны Марии Болконской с Анатолом Курагиным, когда б тот состоялся и петербургскому смазливому хлыщу не подвернулась бы французская мамзель, а

некрасивая княжна с лучистыми глазами не зашла б в неурочный час в оранжерею.

Конечно, бабушка моя вовсе не была столь богата и знатна, а образованный, одаренный дед из другого душевного и духовного вещества, нежели бесталанный брат графини Элен Безуховой, слеплен, и все же трудно было представить более разных людей, чем двое обручившихся — он, умница, баловень, воспитанный в либеральнейшей семье, эгоистичный и сластолюбивый герой-любовник, женатый Бог знает каким по счету браком — дед позднее рассказывал своему старшему сыну, что его женитьба на бабушке была четвертой, благо в те времена это было несложно, — и она, живущая под спудом обстоятельств и терпеливо ждущая своего часа невольница, но во всем этом житейском сюжете присутствовал некий перст судьбы и роковая предназначенность друг другу — почти что обреченность, позднее запечатленная бабушкой в стихах, коими она мерила жизнь.

Однажды он зашел на телеграф,  
За поздним временем была закрыта почта.  
К окошечку за мною встав,  
Проговорил вполголоса он что-то...  
Я обернулась...

— и блестящий молодой человек заговорил с невзрачной девушкой провинциалкой, а потом стал ее мужем и отцом ее детей. Битая жизнью мать невесты была в ужасе от избранника своей дочери, фигура жениха со всеми его достоинствами просматривалась насквозь и оставляла далеко позади несчастного томича Анемподиста, но дочка стояла на своем, и никто не мог переубедить ее разумными доводами, что наплачется она еще с таким мужем. Александра

Алексеевна до скорого оправдания своих предчувствий не дожила, несколько времени спустя после замужества дочери она скончалась, и бабушка осталась один на один со своим суженным и с мачехой-судьбой.

Про то, как и где игралась ее свадьба, не вспоминалось никогда, и у меня есть сильное подозрение, что свадьбы никакой не было — они просто пошли в духе времени в первый попавшийся ЗАГС и расписались, не придав этой процедуре большого значения. Она — церемонии и форме, он — содержанию: как расписались, так и выписались. Не было мысли и о венчании, однако родившегося летом 1929-го мальчика, которого называли Николаем, ибо Николаями звали всех старших мужчин в мясоедовском роду, все же крестили по православному обряду в одной из немногих уцелевших в городе церквей. Случилось это по той единственной причине, что бабушкина тетка Еликонида Алексеевна согласилась обучить молодую мать ухаживать за младенцем лишь при условии, что он будет крещен. Так запомнилась мне эта история с детства, однако сам ее главный герой впоследствии излагал все несколько иначе. По дядюшкиному рассказу выходило, что крестили его не в церкви, да и не крестили вовсе, а только собирались крестить и для той цели нашли священника, согласившегося совершить таинство на дому. Однако когда все было уже приуготовлено и батюшка поднимался по крылечку, ему навстречу вышел молодой отец.

— Этот еще тут зачем? Уходи! — замахал он рукой на иерея, и дело было не в благоразумной осторожности сына присяжного поверенного в год великого перелома, а в том, что сам не крещенный своим прогрессивным и в самом глубоком смысле слова небогобоязненным родителем (когда в 1934 году Алексей Николаевич приехал к умирающему отцу в Саратов и наклонился к нему, Большак открыл глаза,

весело сказал: гав! — и с этими предсмертными звуками отошел), воспитанный в духе новейших житейских воззрений и любивший цитировать «комсомолец и комсомолица у святых мощей жарко молятся», приписывая эти строки отчего-то Есенину, дед с дореволюционных времен не выносил поповского сословия.

Ситуация зашла в тупик, бабушка плакала, не зная, с какого бока подступиться к орущему дитяти, у которого как на беду оказалась скошенная макушка и все кругом шептались, что это дурной знак, и тогда Еликонида Алексеевна сжалилась над непутевой матерью и ее отпрыском. Когда Николеньку понесли перед сном купать в корыте, своею уверенной рукой она перекрестила его, прочла молитву, три раза сплюнула в сторону лукавого и принялась за дитем ухаживать. Можно ли было считать это действие равносильным таинству крещения, ведает один всемилостивый Господь, однако дальнейшие события в судьбе моего доброго дядюшки косвенно свидетельствовали о том, что ангел Божий и очень серьезный ангел, которого к кому попадая не посылают, был с той поры к нему приставлен, охраняя от зла и помогая во многих испытаниях и начинаниях.

Что же касается его душеспасительницы, то тетя Коня, как звали в семье Еликониду Алексеевну, была воистину замечательная женщина. Еще в 16 лет она прославилась тем, что прожгла на своем первом балу у губернатора дыру на бальном платье пахитоской и пришила к испорченному месту горжетку, став основоположницей целого направления в тверской женской моде, а уже на склоне лет, когда Тверь была во время Отечественной войны оккупирована тевтонскими завоевателями, хорошо знавшая немецкий язык Еликонида изобразила на двери дома готическим шрифтом слово «холера», вследствие чего ни одна



фашистская собака к ней не сунулась. Сын ее, Всеволод Воскресенский, прозванный в семье Вавой, стал известным архитектором. Он иногда приезжал к нам в гости, но я его никак не запомнил, зато запомнил историю, которая про него ходила. В 30-е годы он учился в архитектурном институте вместе с дочерью Кагановича Майей и пару раз прошелся с ней после лекций. Результатом этих прогулок стал лаконичный разговор с двумя неприятными людьми, которые Майю обыкновенно сопровождали и которые велели бабушкиному кузену к дочери Лазаря Моисеевича ближе чем на тридцать шагов не приближаться. Если учесть, что по Москве ходили упорные слухи, будто бы на Майе собирался жениться овдовевший Сталин, то соперник у побледневшего Вавы был что надо. Хорошенькая Майя кинула на своего несостоявшегося любовника взгляд, полный сочувствия, немного упрека, сожаления и грустного понимания, а Вава с поникшей головой ушел в работу и много лет спустя прославился тем, что построил безобразное здание гостиницы «Интурист» в самом начале улицы Горького, впоследствии благополучно разрушенное товарищами потомками. Однако это случилось уже в ином календарном столетии...

А в прошлом веке родители Николеньки Мясоедова задержались в Твери ненадолго: весной одна тысяча девятьсот тридцатого года они перебрались в Москву, где к тому времени жила старшая бабушкина кузина Вера Николаевна, вышедшая замуж за известного экономиста, соратника опальных Кондратьева и Чайнова профессора Сергея Алексеевича Первушина. В Москве стояла как июльская жара чудовищная безработица, люди проводили сутки в очередях на биржу труда, и бабушка всегда с гордостью рассказывала, как ей удалось чудом устроиться на службу и не куда-нибудь, а в Моссовет. Она была снова беременна, причем на поздних сроках — обстоятельство, которое она сокрыла от своих работодателей, и очень скоро к ярости обманутого начальства сообщила о своем положении, получив вместе с порцией бессильных угроз и оскорблений причитавшиеся советской трудящейся матери преференции.

Бабушкина житейская удачливость замечательно сказалась на судьбе ребенка — ее среднего сына Бориса. Он был всего на год младше Николая, и будущая успешливая жизнь его выгодным образом отличалась от трудной участи первенца, но осталась позади везения третьего чада — по всем сказочным законам Иванушки-дурачка, чье место заняла появившаяся на свет в 1936-м девочка. Нарекли ее Ольгой в честь любимого дедом апухтинского стиха, который он, правда, переиначивал на свой лад и выходило у него так:

Все васильки, васильки,  
Сколько их выросло в поле,  
Помню, у самой реки  
Их собирали для Оли.  
Оля цветочек сорвет,  
Низко головку наклонит:  
«Папа, смотри, василек  
Мой поплывет, не утонет».

Несмотря на мрачный финал подлинного ромansa (в нем Оля собирала цветы не с папой, а с возлюбленным, который впоследствии зарезал ее кинжалом за неверность) своей дочке, по преданию, бабушка сказала: «Здравствуй, девочка, тебе у нас будет хорошо». И — не ошиблась. А между тем могло стать так, что никакой дочери на свете не было бы. Мария Анемодистовна забеременела в третий раз в ту пору, когда муж ее фактически оставил. «Тогда не в моде был парад, В любви и верности не клялись», — писала по сему поводу бабушка много лет спустя в очередном семейном мадригале, хотя как раз она-то любовь и преданность мужу хранила до последних дней, относясь к своему невенчанному замужеству как к святыне, в то время как супружеская верность ее суженного исчерпала себя еще быстрее, чем февральская свобода в России в семнадцатом году. Но если в первые годы совместной жизни с бабушкой дедушка пел и умирал, и умирал и возвращался, то теперь он решил оставить Джиму — так ласково звал он жену — навсегда, и никакая ее беременность помешать ему не могла.

Очутившись одна с малыми детьми, бабушка сделала две вещи: бросилась молиться перед старинной семейной иконой о возвращении блудливого супруга и по совету бездетной кузины записалась на

аборт. Муж не вернулся, а у бабушки в тот день, на который было назначено врачебное вмешательство, поднялась температура, потом подоспел указ о запрещении искусственного прерывания беременности, Мария Анемподистовна облегченно вздохнула, и так, благодаря стечению обстоятельств и государственной необходимости, родилась дочка, ставшая нашей матерью. В иных координатах можно было бы сказать, что это ангел Господень уберег неразумную женщину от греха, однако парадоксальным образом, как рассказывала сама бабушка, именно в ту зиму она окончательно отшатнулась от веры, отдав советнице сестре фамильный образ, и с той поры никогда не переступала порог ни одного храма, в доме у нас не отмечали никаких церковных праздников, не пекли на Пасху куличей и не красили яиц. Бабушка моя прощала все мужу и ничего Богу — свидетельство глубокой личной веры, если задуматься.

Тете Вере же икона помогла очень. Еще в начале тридцатых был арестован по делу Громана ее супруг, наказание он отбывал в Восточном Казахстане в рабочем поселке Риддере, где ему удалось устроиться бухгалтером, и более или менее благополучно прожить назначенные по приговору пять лет. В тридцать шестом профессор вышел на свободу, если только можно было советское пространство по другую сторону от колючей проволоки и вышек этим словом назвать; под новую волну арестов он не попал и, будучи человеком чрезвычайно разумным, временно сменил сомнительную политэкономия на относительно безопасную геологию. Он поселился с женою в трехкомнатной квартире на углу Малого Харитоньевского переулка и улицы Чаплыгина, недалеко от тех мест, куда зимой 1822 года доставил возок Татьяну Ларину на ярмарку невест и где нынче располагается театр «Табакерка».

Вера Николаевна жила там как при царе. Она нигде не работала, дома все дела делала прислуга, а сама она ходила через Чистопрудный бульвар в церковь Архангела Гавриила, глаголемую иначе Меньшиковой башней. Профессор после потрясений на его долю выпавших забросил стихи Бальмонта, Брюсова, Северянина и прочий серебряный век, коим он был до ареста увлечен и держал на полках номерные книги в матерчатых переплетах с автографами модных поэтов; он сделался набожен не менее жены, что, однако, не помешало ему стать заведующим кафедрой цветных металлов в МИСИСе и советником Косыгина. Детей им с Верой Николаевной Господь не даровал, и так рука об руку, заботясь друг о друге, они дошли до гробовой доски, сперва он, а потом десятилетие спустя она, нещадно обкрадываемая домработницей-приживалкой, но хранимая чудотворным образом — его завещала Вера отдать той церкви, прихожанкой которой была, и где икона, должно быть, до сих пор обретается.

Бабушка, сколько помню, хотя я был тогда совсем ребенком, относилась к умильной и избалованной сестре со смешанными чувствами: жалостливо, чуть насмешливо и не чуть — раздраженно. Если для нашего правильного отца Вера Николаевна была отсталой и темной барынькой из отживших времен, чье редкое, выпадавшее на советские праздники присутствие в своем доме он терпел из нелицемерной любви к теще и врожденной кротости характера, то обыкновенно спокойная, уверенная в себе Мария Анемподистовна приходила во время визитов богомольной кухни в небывалое возмущение духа, хотя сама была инициатором приглашений на восьмое марта и седьмое ноября. Не возьмусь утверждать наверняка, но мыслю, с ее языка были готовы сорваться примерно такие слова: «Испытай, что я испытала, и тогда посмотрим, как бы ты запела». Низенькая Вера Николаевна, которая

носила шапку пирожком на голове и плотные седенькие усики на верхней губе, не спорила, а только сокрушенно и смиренно качала своей цыплячьей головкой, чем раздражала бабушку еще больше. Позднее, когда в школе я прочитал «Преступление и наказание», мне показалось, что иные из бабушкиных черт были предвосхищены Достоевским в образе несчастной матери и жены Катерины Ивановны Мармеладовой. Бабушкин супруг, правда, не был горьким пьяницей, а сама она никогда не впадала в истерики, но мятежной и гордой Вериней кузине Господь послал иное, не менее тяжкое испытание. В жаркое лето своей жизни, когда еще не поздно было попытаться переменить судьбу, она продолжала любить человека, который жил, ни с кем и ни с чем не считаясь, причем, с годами страсть к наслаждениям не утихала, но лишь сильнее разгоралась в нем, как если бы женолюбивый Алексей Николаевич мой знал, что рано или поздно его пора пройдет и спешил сполна воспользоваться ею.

Он был поэт по образу жизни и складу души, один из немногих невыбитых людей в своем поколении и сословии, его переполняла жизненная энергия, которую, не востребованный новым временем, он не мог ни на что иное как на счастье и отраву любви истратить, и чуткие женщины разных возрастов, но той же породы и крови к нему тянулись. Поделаться с этим бабушка ничего не могла, а скорее всего и не пыталась. Единственное, чего она добилась, так это маленькой восьмиметровой комнаты, которую деду дали в той же коммунальной квартире и куда он приводил своих высокородных пассий. Отдельная жилплощадь, с одной стороны, развязывала счастливому любовнику руки, с другой, позволяла бабушке наблюдать за своим неверным.

Всех его возлюбленных было не перечесать, однако с частью из них бабушка была знакома и даже дружна.

Самую добрую из них звали пушкинским именем Наталья Николаевна, но бабушка называла ее Тузиком. Когда много лет спустя мы с сестрой впервые ее увидели, это была чудесная, прелестная старушка с легкими как пух волосами, крохотная точно девочка-дюймовочка — на губе у нее был небольшой шрам, появившийся после того, как в юности ее понесли кони и она упала с пролетки. Рядом с необъятным, похожим на Гагрантюа дедом Тузик казалась несуществующей, готовой рассыпаться от одного приближения и поступи его грузных ног. Представить их за каким-то иным занятием было и вовсе немыслимо, а поверить в то, что невероятной толщины совершенно седой беззубый старик был много лет тому назад худощавым неотразимым мужчиной с черными вьющимся волосами невозможно. Но есть такие господа средней руки, которым независимо от внешности и нрава суждено разбивать девичьи и женские сердца — наш рано поседевший дедушка принадлежал именно к этой когорте. Влюбившаяся в него Тузик оставила о себе весьма разноречивые воспоминания. Дядюшка Николай рассказывал, что она приехала в Москву с Урала, где ее отец до революции с большим успехом занимался драгоценными камнями, дядюшка Борис утверждал, что у родителей Тузика было тридцать два гектара виноградника на южном берегу Крыму, и хотя в середине тридцатых толку от такого прошлого в любом его варианте было как минимум мало, Алексей Николаевич увлекся Натальей Николаевной на более долгое время, чем длились его обычные любовные связи. Как знать, быть может сияние уральских самоцветов его прельстило или же сыграло свою роль то обстоятельство, что дед с Тузиком были знакомы еще с дореволюционных времен, но в пору последнего российского царствования их любовь отчего-то не удалась, а теперь представился шанс вернуть

утраченное время... Злые языки, впрочем, утверждали, что не только эрос и сентиментальность, но и желание переселиться в Москву двигали смуглой красавицей с влекущим шрамом на верхней губе.

Бабушка все это просчитала, и у нее сложились весьма прихотливые отношения с маленьким Тузиком. Убедившись, что дедова подружка обосновалась в ее квартире всерьез и надолго и никаким образом выселить ее оттуда невозможно, а еще невыносимее каждый день встречать в коридоре и на коммунальной кухне, бабушка опечалилась, всплакнула, пожаловалась на свою долю десятилетнему сыну, который очень рано сделался ее конфидентом — «а что я мог ей на это сказать?» — рассказывал мне впоследствии дядюшка — и решила уехать от чужого счастья сама. Но недалеко.

Она обменяла прекрасную 24-метровую квадратную комнату, где жила с тремя детьми, на 16-метровую в соседнем доме. В роли обменщика выступал еврей бельгийского происхождения по фамилии Хахам, который и в Советской России не растерялся и успешно занимался маклерством. Он доплатил за выгодную сделку денег, однако меньше, чем следовало, возбудив тем самым ненависть у искренне переживавшего за оставленную семью деда и утвердив его в не раз высказываемой вслух мысли, что все евреи делятся на хороших вроде Кассиля и Эсфирь и плохих типа Хахама. Для последних у Алексея Николаевича было припасено краткое энергичное слово, за которое из интеллигентного общества недавно изгоняли, а метры здесь важны даже не сами по себе, а потому, что кто бы из родни ни повествовал мне об этих сюжетах, сколь бы по-разному они ни оценивали роль всех действующих лиц, в том числе и предприимчивого Хахама, в метраже не ошибался никто и никогда.

После разъезда бабушка и Тузик на свой манер подружились. Наталья Николаевна была музыкантшей,



за это бабушка особенно к ней привязалась, иногда они вместе музицировали; помимо этого невольная разлучница и виновница ее семейной невзгоды занималась перепиской нот, зарабатывая тем самым себе на жизнь и исполняя эту работу исключительно нежно и чисто, так что страницами нотных тетрадей с аккуратными значками можно было любоваться даже человеку, в музыке не сведущему.

Бабушка и Тузик были как две сестры по общему несчастью, одна — уже оставленная, другая — к этому неумолимо приближавшаяся, иногда они наведывались друг к другу в гости, вместе с Тузиком приходил к бывшей жене и дед, которого эти встречи ничуть не смущали, а бабушка... Бог знает, с каким чувством она смотрела на своего единственного мужчину, свободно переступавшего порог ее дома, по-прежнему ли любила его, прощала или же хотела сохранить детям отца — она, без отца выросшая и знающая, каково это, но своему самолюбию, ревности и женской гордости никогда не давала воли. Ее жизнь была подчинена одному — поставить на ноги двух сыновей, исподлобья смотревших на своего родителя рядом с чужой нарядной тетей, и младшую дочь, которая в отличие от братьев не разбиралась в затейливых отношениях, связывавших взрослых людей, и любила всех подряд.

Но и бабушка с Тузиком друг друга если не любили, то терпели, жалели, помогали и вместе переживали за деда, который земную жизнь пройдя за половину, читал с охотой советские газеты и находил особенное удовольствие в том, чтоб вслух поразмышлять и погадать, отчего сажают и устраивают суд над тем или иным партийным деятелем и кто станет следующим в списке казненных. Он скучал по своим арестованным либо расстрелянным друзьям, среди которых был прокурор Пролетарского района и несколько знакомых юристов, одновременно с этим не забывая упомянуть

про умного Марка, еще в сентябре 1917-го уехавшего от всех бед подальше в Румынию и сменившего фамилию Мясоедов на Мядо или по другой версии Мяду. Затем немного выпив настойки из старинного лафетника, дед с удовольствием вспоминал, как ездил с папой и мамой по Европе в последний предвоенный год и особенно полюбил Швейцарию, в какой просторной и добротной квартире они обитали до революции и как вкусно готовила их кухарка; он хвастался каменными домами, которые были у его отца в Пензе и Саратове, и имениями своего деда в Бессарабии. Иногда в самых рискованных местах бабушка делала ему знак, и он непринужденно переходил на французский или немецкий, которым в совершенстве владел и он сам, и обе его собеседницы. Присутствовавшие при сем и не понимавшие ни слова советские дети злились, но удивительное дело — никого из них отец с матерью иностранным языкам не обучали — здесь прошел некий разлом дворянско-купеческой жизни, и Николай с Борисом росли как пацаны с рабочей окраины Москвы, а не отпрыски знатного рода, и воспитание получали коллективистское, как рассказывал впоследствии дядюшка, по принципу скамейка лучше табуретки, мы вместе, мы октябрята, мы комсомольцы, мы в классе, мы всегда коллектив. Родители вразрез с советской школой не шли и вступление сыновей в пионеры было обставлено дома со всею серьезностью, но одновременно мальчишкам тихо внушалось: есть еще и твое. Твое — это то, чему ты научишься и будешь уметь делать: чинить утюги, подшивать валенки... А младшая сестра была до войны так мала, что слова на всех языках звучали для нее одинаково мелодично, и из прежней жизни у них сохранилось только фамильное серебро с коняевскими вензелями, жестяные коробочки от шоколадных конфет «Сиу и Ко» и «Товарищество Эйнемъ», да большие коробки от шляп, которые носила

их покойная бабушка Александра Алексеевна. А еще самые первые запомнившиеся стихи:

Там котик усатый  
По садику бродит,  
А козлик рогатый  
За котиком ходит.

Они были не единственными из бывших в этом пятиэтажном доме в фабричной Тюфелевой роще, в краю, где за сто с лишним лет до описываемых событий утопилась в пруду карамзинская бедная Лиза и светские дамы по ее следам ездили собирать среди реликтовых сосен ландыши и где теперь был разрушен старый Симонов монастырь, а рядом с ним, так что порезанные надгробия с древнего кладбища шли на бордюры тротуаров, построено несколько заводов, которые знала вся страна — АМО, Динамо, Шарикоподшипниковый, и зимою снег был бурого цвета. По соседству жили бездетные муж и жена Дроневы. Его звали Иваном Финогеновичем, а ее — Анной Ильиничной. Анна Ильинична была женщиной крупной и любила повторять присказку: «Господи, Господи, до чего все люди толстые. Одна я сирота не пролезу в ворота». Она нигде не работала, отменно квасила капусту и собирала на продажу пустые бутылки, а также продавала на рынке за пять копеек бумажные пакеты. Супруг ее в молодости служил ординарцем у одесского городского главы Павла Зеленого, а в советскую пору устроился работать слесарем-лекальщиком на ЗИС, и предметом зависти всех подростков в коммунальной квартире в доме номер 6 по Тюфелевскому проезду был его чемоданчик, где хранились американские сверла, метчики, зубила, шила, отвертки и гаечные ключи. Помимо этого Иван

Финогенович прославился двумя военными историями: в 1914-м, ровно за неделю до начала Первой мировой, он отдал под проценты сорок золотых червонцев, которые безвозвратно сгинули в недрах Государственного банка, а в октябре сорок первого в виду неминуемого прихода немцев сжег — и я думаю, с большим удовольствием — сочинения Ленина, лично подаренные ему за ударную работу директором завода Лихачевым. После войны Дронеев сделался церковным старостой на Рогожском кладбище, на работу ходил с посохом, и таким образом половины, четверти его биографии хватило б на то, чтобы загреметь в те края, куда ссылали некогда старообрядцев, а может быть еще и дальше, но судьба Ивана Финогеновича хранила, как хранила она и деда. Это была какая-то особая порода бесстрашных, безумных и избранных сынов века, не обращающих внимания ни на что.

Я не исключаю того, что именно эта, ни на чем не основанная уверенность в том, что с ним ничего не случится, безоглядное доверие к собственной судьбе и равнодушие к чужим тревогам привлекали мою бабушку в ее неверном супруге особенно по контрасту с запуганным папашей Анемподистом, который, вполне возможно, был в те времена еще жив, но ничего о своей дочери не знал. Зять его, Алексей Николаевич, в самые страшные времена большого террора вел себя так, будто жил не в сталинском эс-эс-эс-эре, а в советском кинофильме, в некоем условном, волшебном царстве-государстве, по которому человек проходит как хозяин, вольно дыша и отмахиваясь от глупых мокрых куриц, которые тоже могли много что порассказать про утраченную недвижимую и капиталы, но вместо этого умоляли его держать все известные ему языки за зубами. Что помимо заботливой нянечки судьбы спасло благодушного болтуна от неминуемой расправы, одному Богу ведомо, но только не наивность. Когда в

1936 году Артур Фраучи решил вызволить из боярской Румынии в пролетарскую Россию своего друга и дедова старшего брата Марка Мяду, уверяя того, что такие люди нужны в советской стране, Марк передал на словах:

— Я вернусь, если мне посоветует Леша Мясоедов.

Леша не посоветовал, хотя родной брат в эмиграции и портил ему анкету. Марк навсегда остался в Румынии, умерев за неделю до прихода туда советских войск (сын его Николай Маркович Мяду после войны сделался главным тренером румынской женской сборной по волейболу и в этом качестве в 50-е приезжал в Советский Союз, где встречался с дядькой Николаем, тоже отменным волейболистом), а Артура Фраучи через несколько месяцев арестовали и расстреляли. Незадолго до ареста он успел побывать у Мясоедовых в Тюфелевой роще. О чем говорили — Бог весть.

От НКВД дед ускользнул, но энкаведешный сюжет неожиданно напрямую коснулся его оставленной жены. Бабушка в середине тридцатых, покуда дед лежал в Кащенке и ей приходилось одной кормить всю семью, работала сразу в нескольких местах. Одним из них был музей игрушки в Загорске, находившийся в закрытой Троице-Сергиевой лавре. Там ей поручили однажды просмотреть все вышедшие номера детского журнала «Игрушка» и отобрать страницы, что имели отношение к военной игрушке, а остальное выбросить в корзину. Бабушка так и сделала, сдала работу, а некоторое время спустя ее вызвали в местный отдел НКВД и показали... не ее работу, нет, ей показали — то, что она отбраковала. Среди отправленных в мусорную корзину страниц был перечеркнутый крест-накрест портрет И. В. Сталина.

— Я не могла этого сделать, — сказала бабушка энкаведешникам в тридцать седьмом.

— Я никак не могла этого сделать, — повторяла она много лет спустя, рассказывая эту историю своему сыну. — Физически не могла. Сталин... это было как стрихнин. Тут невозможно было не заметить, ошибиться, пропустить.

— Они сделали это сами! Нарочно! — вырвалось у меня.

— Ну, разумеется, — кивнул дядюшка. — Им нужно было заставить ее работать на себя.

От бабушки потребовали стать добровольной осведомительницей и не выпускали из кабинета до тех пор, пока не даст согласия. Приближалась ночь. В Москве ждали маленькие дети: восьми, семи и годовалая дочка. В сумке скисало в бидоне молоко,

которое она каждый раз покупала у загорской молочницы.

Она стала проситься домой.

— Вы подумайте, что будет с вашими детьми. Вы хорошо подумайте, — сказали ей и отпустили.

В Москве бабушка тотчас же бросилась к бывшему помощнику своего тестя по фамилии Бок, который после революции стал крупным военным чином и сам ходил по лезвию ножа.

— Муся, — сказал ей Бок. — Ты сделаешь то, что я тебе сейчас скажу. Я знаю, что у тебя три работы и трое детей, я знаю, что от тебя ушел муж, но каждую неделю ты должна будешь заполнять толстую тетрадь, в которой подробно, слово за словом, движение за движением описывать все, что происходит в твоём отделе. Кто куда пошел, когда пришел, что ел, в чем был одет, с кем говорил, все до мельчайших, до самых глупых и ненужных подробностей. В этом мусоре твоё спасение.

За первую тетрадку бабушку похвалили. За вторую не сказали ничего. После третьей...

— Дура! — сказал начальник с ненавистью, швыряя ей в лицо исписанные мелким летящим почерком тетрадки. — Пошла вон и чтоб я тебя больше не видел!

Я не могу утверждать этого наверняка, но полагаю, что ни этот начальник, ни тот добрый человек, который дал бабушке умный совет, как обмануть ведомство и остаться в живых, ни тем более дурак-энкаведешник, своей рукой перечеркнувший лик вождя — никто из них не уцелел, а вот Марию Анемподистовну Господь в разоренной Сергиевой обители сохранил.

...А еще у бабушки с дедушкой имелась летняя дачка в Болшеве — первая из нескольких дач, впоследствии приобретенных, либо построенных дедом, который не хуже Хахама сочетал искусство любви с торговлей недвижимостью в самые неподходящие для

этого предприятия времена. Даже после того как дед ушел из семьи, бабушка продолжала выезжать туда с детьми на лето, и он тому не только не препятствовал, но как мог о детях заботился — тверитянка с сибирскими корнями оказалась единственной из женщин, подарившей ему потомство. Остальные — либо не рискнули, либо была им не судьба от него зачать, и уже под конец своей долгой жизни старшему сыну на вопрос, неужели за всю его богатую мужскую карьеру у него не было детей от других жен и любовниц, дед отвечал, что только одной женщине он мог доверить продолжение рода, а все остальные были для него так...

Единственная женщина этот сюжет никак не комментировала и ни о ком из соперниц дурно не отзывалась. Всю жизнь, и с дедом и без деда, она спасалась детьми и спасала детей; однажды, когда в Купавне мы шли через поле к станции и срывали колоски, выковыривая оттуда сладкие молочные зерна, бабушка рассказала историю о том, как много лет назад она пошла точно так же в поле со своими ребятами и принялась объяснять им, как выращивают хлеб. Двое лобастых сыновей и маленькая дочка слушали внимательно, она увлеклась и для наглядности сорвала колосок, стала растирать его в руках, как вдруг появился вооруженный человек на лошади и потащил женщину за собой. Идти было далеко, уставшие дети едва передвигали ноги, дочка плакала, и всаднику эта комедь надоела. Он потребовал у преступницы документы.

— Дала ему паспорт, а он взял и не посмотрел, что паспорт старый, а так ведь посадить могли за колосок, — не слишком вразумительно объясняла свое избавление от опасности бабушка нам с сестрой, когда мы были еще настолько маленькими, что не задавали лишних вопросов, а когда заинтересовались этими обстоятельствами всерьез, то уточнить все подробности



было уже не у кого. Но в благословенную пору, когда бабуля была жива, рассказываемое ею представлялось нам страшными сказками со счастливым концом: сколько раз ни висела на волоске судьба этого человеческого побега, бабушка, пускаясь на хитрости, хранила тех, кто был рядом с нею, а по ночам писала неумелые благодарные стихи:

Жизнь завертелась колесом,  
Но шла она и вкривь и вкось;  
Мы все же создали свой дом,  
Хотя годами жили врозь.  
Наш дом достатком не блистал,  
В нем подрастали дети.  
И это был наш капитал,  
Ценнее нет на свете.

Дети же играли в свои игры. Покуда были совсем маленькие, в строительство метро или иных советских достопримечательностей.

— Коленька, ты что строишь?

— Мавзолей Ленина.

— А ты, Боренька?

— А я — мавзолей Сталина.

Позднее у старшего сына открылся талант играть в девятку, и для своих десяти лет он проделывал это отменно. Играли на деньги со старшими мальчиками и девочками, Коля часто выигрывал, но когда случались проигрыши, Боря залезал в родительский кошелек и тибрил оттуда мелочь.

Однажды бабушка его шалость раскрыла. Наказание у нее было на все случаи жизни одно: мокрое холщовое полотенце вступало в соприкосновение с тем местом, где, как говаривал дядюшка, спина теряет свое благородное наименование. Мальчики называли

замечательную часть тела положенным ему сущестительным на букву «ж», а не терпевшая тени сквернословия мать стыдила их:

— Я это слово первый раз услышала, когда мне исполнилось двадцать лет.

Дедушка в воспитание сыновей вмешивался смотря по обстоятельствам: он был любимым, но все ж приходящим папой. Правда, однажды, когда один из братьев поймал стрекозу и стал отрывать ей крылья, Алексей Николаевич схватил его за руки и стал их выкручивать, приговаривая: «И мухе бывает больно!» Но такие уроки давались не часто, и повседневная жизнь деда по преимуществу состояла из походов по гостям, по букинистическим и антикварным магазинам, где его хорошо знали, он был всегда аккуратно, хотя и небогато одет, весел, любезен и приезжал на дачу в сшитой бабушкой и бережно зашитой синей толстовке или в лапсердаке, в начищенных зубным порошком парусиновых туфлях, приезжал отдохнуть в гамаке под соснами, громко цитируя «а вы на земле проживете, как черви слепые живут, ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют» или же «спрятался месяц за тучку, не хочет он больше гулять. Дайте же, барышня, ручку к пылкому сердцу прижать», после чего возвращался к своему Тузику или к другой подружке, и снова текла размеренная жизнь сорокалетней женщины и ее троих детей. Если ночами кто-то из них просыпался, то мог увидеть, как мать, склонившись над чертежной доской, выполняет неурочную работу, копируя карты или чертежи. Но у них было все, что положено иметь детям: игрушки, конструктор, книжки, санки, лыжи, коньки, они хорошо питались, ходили аккуратно одетые, читали вместе с матерью книги и никогда не видели свою родительницу растерянной, плачущей, отчаявшейся. Да она и не была такой. Умела преодолевать все и учила тому же их.

Рядом с летним домиком в Болшеве располагалась дача партийного деятеля Томского, на которой тот застрелился в августе тридцать шестого года, а потом в освободившийся дом въехал Папанин, улицу к его дому вымостили белым камнем и, по воспоминаниям моей матушки, каждый день летчик выходил на улицу здороваться с ребятней, грозно спрашивая, все ли вымыли руки. Папанин хорошо запомнился, запомнились птицы, от их пения просыпались по утрам, обливание холодной водой, грибы, майские жуки, среди которых особенно ценились самцы с черной гривкой, Черное озеро и речка Клязьма, куда они босиком ходили купаться и ловить рыбу, только что построенный водоканал, матрасы из конского волоса, который каждый год перебирали, и огромные пуховые подушки, оставшиеся с дореволюционных времен, походы за молоком в деревню Куракино, поля, васильки, костры, которые обожала и бабушка и дети, но позднее я подумал о том, что в тех же краях жила как раз в ту пору, правда, короткое время одна, себе на беду вернувшаяся из эмиграции, немолодая женщина, которая после ужасной смерти своей прославилась совсем другими, чем у бабушки стихами — великая, недосыгаемая, а тогда никому не нужная, брошенная и преданная. Ее бабушка помнить не могла, хотя кто знает? — может быть и встречала летом тридцать девятого года на поселковых улицах или по дороге на станцию сутулую, дурно одетую с отрешенным выражением близоруких светлых глаз. Если б они двое остановились поговорить, то наверняка нашли бы о чем. Не о поэзии, так хотя бы — мой милый, что тебе я сделала?

А затем наступила война. Сорокачетырехлетнего деда с его диагнозом на нее не взяли, и когда началась эвакуация, то на расширенном семейном совете, состоявшем из двух женщин и одного мужчины, было решено деду с бабушкой и детьми отправляться на Алтай, а Тузику сторожить две московские жилплощади, внося за них своевременную квартплату. Чья это была идея, с каким сердцем уступала Тузик мужа и отпускала его к бывшей жене — не знаю. С каким принимала его бабушка — тем более... Но так, благодаря общему несчастью семья на время соединилась.

Эвакуация запомнилась моей матери постоянным и нестерпимым чувством голода, когда даже злополучный колосок с подмосковного поля мог пригодиться не в качестве наглядного пособия по ботанике, а вызвать воспоминание о предвоенном недостатке. В далеком, расположенном на границе с Казахстаном алтайском селении с чудным названием Савушка, где в незапамятные времена покупал купец Алексей Коняев зерно и думать не думал о том, что на Алтай занесет судьба его потомство и оно будет сводить там концы с концами; в предгорьях снежных вершин, где двести пятьдесят дней в году над древними скалами и дивным Колыванским озером светило солнце и прозрачными ночами зажигались на ясном небе сумасшедшие звезды, где летом стояли, как там говорили, жары, а зимой падали страшные морозы и задували дикие неслыханные ветра-ураганы, и было непонятно, как не уносят они с собой избы, если всего за несколько столетий им удается обтесывать каменные глыбы в степи так, что те превращаются в фигуры

животных и людей; в деревне, где еще были живы народные обычаи и на Рождество друг к другу в гости ходили с колядками ряженые, врываясь с клубами морозного дыма в натопленное помещение и обсыпая комнаты зерном, а в красном углу в каждой избе висели иконы и даже коммунисты их не выбрасывали; в старинном селенье, жители которого делились на старожилов-чалдонов и переселенцев столыпинской реформы и происхождения своего никогда не забывали, хотя и те и другие были люди молчаливые, добротные, крепкие — в этом реликтовом краю приезжие из Москвы устроились работать в школу. Дед преподавал гуманитарные науки, а бабушка обучала автохтонов французскому языку, объясняя им, что папа по-французски будет *папа*, мама — *маман*, а бабушка — *гранд-мер*, что буквально означает старшая или великая мать — сочетание слов, которое точнее всего характеризовало ее саму и могло бы служить еще одним названием для моего пестрого повествования.

В эвакуации жили тяжело, но как позднее в один голос утверждали оба моих дядюшки, исключительно по собственной нерасторопности. Сначала их поселили в доме при школе, но для зимы он не годился, и в ноябре учительская семья въехала в Демкин дом. Демкиным его нарекли по имени кулака Ильи Демкина, отправленного несколькими годами раньше на север. Никто из жителей Саввушки в просторную с тесовой крышей избу, богатым двором и обширным приусадебным участком селиться не пожелал: боялись, что Демкин вернется, а эвакуированным или, как говорили «выковырянным», из Москвы, терять было нечего. Квартира, особенно после московской коммуналки, была просторна, хороша — да только где им, горожанам, неумехам, с ней было управиться и как это пространство зимой обогреть? Деньги в школе платили мизерные, зимой почти не давали дров,

русскую печь топили отсыревшими кизяками и, случалось, торопясь пораньше ее закрыть и сберечь тепло, угорали. Электричества в селе не было, и из жести, намотанной на гвоздик или квадратик с дыркой, куда вставляли жестяную трубку с фитилем, делали коптилку, а драгоценный керосин наливали в пузырек из-под лекарств. Светильник был хорош не только для чтения, но и для того, чтобы прожигать швы на одежде, где скапливались вши и гниды. «Мама. Ночь. Темно. Дети спят. Просыпаюсь до ветра. Она сидит у светильника и давит вшей ногтями двух больших пальцев на старенькой детской одежде, — вспоминал средний дядюшка и нравоучительно перечислял: — Блоха, клоп, таракан — все были. Без них эпохи не понять». Старший же извлек из тех военных лет любовь к земле. Когда у нас появилась дача в подмосковной Купавне с участком в восемь соток болотистой земли, Николай Алексеевич не раз говорил лентящимся пропалывать грядки с морковью и капустой чадам и племянникам:

— В Саввушке было втрое больше земли и какой земли! Чернозема! Если бы мать с отцом умели ее обрабатывать, мы не знали бы голодухи.

Увы! Этого-то как раз не умели ни дворянский дед, ни купеческая бабка, которая на даче в Болшеве в мирные годы занималась исключительно разведением цветов, а подсказывать потомственным горожанам, в какие сроки, как и что сажать, когда пропалывать, окучивать, поливать, никто из местных земледельцев не собирался. Да что там говорить! Когда городские дед и баба в первую весну посадили картошку, той же ночью семена выкопала соседка.

На следующий год картошку посадили снова, но не ухоженная и вовремя не окученная, она заросла сорняками, так что единственный в семье окрестьянившийся старший бабушкин сын, вернувшись

в августе домой с дальнего пастбища, лишь изругался, глядя на чахлые ростки великого американского растения, затерявшегося среди сочных побегов отечественного чертополоха. В другой раз решили посеять просо. Дед и двое сыновей впряглись в борону, бабушка эту тройку, как умела, направляла, и все многовековое мясоедовское древо зашаталось и сотряслось в тот грандиозный исторический миг, когда они проложили первую борозду, и ему ответило, зашумев многочисленными ветвями, древо коняевское, однако просо почему-то так и не взошло, и спеть оду русскому огороду моим ближним не удалось.

Они выкручивались иначе. В расположенном в двадцати верстах от Саввушки городке Змеиногорске находился магазин, где торговали на бонны, которые можно было получить, сдав золото. Бабушка подружилась с продавщицей магазина, также эвакуировавшейся из Москвы, и в первую зиму покупала у нее за обыкновенные деньги нитки и иголки, которые обменивала в деревне на продукты.

Однажды по дороге из Змеиногорска в Саввушку бабушка с Борисом попали в буран. Все было, как в «Капитанской дочке». Они вышли из города в солнечную погоду, но ближе к дому небо внезапно заволкло и повалил крупными хлопьями снег. Все завертелось и исчезло из виду. «Не отставай. Бишка, не отставай. Нас ждут Сакет и Котофей» — так звали их собаку и кошку — «Бишка, не теряй меня из виду. Смотри за вешками, чувствуй дорогу, не отставай! Осталось немного. Давай быстрее, а то стемнеет», — говорила бабушка двенадцатилетнему сыну. Так и дошли. А на вопросы деревенских женщин, откуда у нее золото, Мария Анемподистовна отвечала, что они сдают золотые зубы мужа. — Сколько ж должно было быть у меня золотых зубов! — бормотал дед. В безмужней деревне на чету интеллигентных москвичей смотрели

по-разному, к учительнице приходили неграмотные женщины и просили помочь прочесть или написать письмо воюющим мужчинам; заходил соседский мальчишка, и не спрашивая ни о чем, сидел тихо, неподвижно, даже не мигая глазами: ему было интересно, как живут городские, как управляют хозяйством, и он молча впитывал в себя чужую жизнь — люди читают, едят, скоблят острым ножом обеденный стол, заваривают чай из сухой моркови и листьев черной смородины, варят кашу из лука-слизуна. Однако к деду в селе, хотя ученики, а особенно ученицы его любили, относились недобро. В Саввушке получали похоронки, дед не выглядел инвалидом, и по этой причине он предпочитал сидеть дома, слагая не слишком складные, зато искренние вирши в честь великого вождя и полководца, под чьим руководством громила Красная Армия врага:

Передо мной его портрет,  
Обычна поза — он в шинели,  
В его глазах сомненья нет,  
Он знает, что достигнет цели.

Что был ему, интеллигенту, дворянину, почти что Юрию Живаго кремлевский затворник — Бог весть... Впрочем, в 1946-м, когда состоялся Нюрнбергский процесс, дед, по уверению дядюшки Бориса, прочел ему стих, где была строка: «виселицу для равновесия поставить надо в Кремле».

Но это было позднее, а зимой 1942-го деда все же признали годным к нестроевой службе, мобилизовали и отправили в Монголию за дикими лошадьми. Во всей прихотливой истории его жизни, пожалуй, не было более темного и невразумительного периода чем пребывание на трудовом фронте. Какое дед имел



отношение к лошадям, что он в этих монгольских степях делал и чем помогал великой победе, обыкновенно словоохотливый Алексей Николаевич не рассказывал никому и никогда, бабушка тоже обходила это время молчанием, но известно, что два месяца спустя после дедовой мобилизации возле Демкиного дома остановился конный и велел хозяйке ехать в райцентр забирать своего мужика, если только посчастливится его выходить. Отощавший, изможденный, навсегда отпущенный из армии, он лежал в сорокадвухградусном жару и бредил что-то про милосердных волков и змеиногорского предРИКа. Бабушка его отпаивала и отхаживала несколько недель, и к лету на свежем воздухе он окреп, снова сделался шептунным и неунывающим, как если б не было никакой его войны, завел роман со школьной директрисой, ходил в домашний шинок к некой Марфе Ивановне, которая варила пиво и гнала самогон, и оттуда однажды привели его под руки сыновья, но в победной легкости, с какой мой тезка преодолевал все личные невзгоды и исторические несчастья, было нечто истинно родовое, победное, мясоедовское, заражавшее всех, кто его окружал.

Сибирь так ужасна,  
Сибирь далека,  
Но люди живут и в Сибири,

— декларировала бабушка некрасовских «Русских женщин», а дед каждый новый зимний день начинал словами: «До конца суровой алтайской зимы осталось 58 дней». И дети хором повторяли за ним: «До конца суровой алтайской зимы...»

Еще у них был пес Сакет и кот Котофей. Когда еды хватало, бабушка звала: «Сакетка, поди поешь». В

остальное время пес и кот жили на подножном корму, но хозяев своих не бросали.

Весной 42-го, когда было продано все, что можно было продать из московских вещей и обналичены все дедовы золотые зубы, бабушка поняла, что без коровы в деревне не прожить. Решено было отправиться за сто с лишним километров за Тигирек, где в дальних горных деревнях скотина стоила дешевле, чем в Саввушке. Дед на сей раз от небарского дела уклонился, и вдвоем со старшим сыном бабушка шла по крутым обсыпающимся дорогам четверо суток в одну сторону и столько же в обратную, останавливались на ночлег в попутных селах и привели домой годовалую телку, которую назвали Милкой. Впридачу к ней давали еще и теленочка, но тот не мог выдержать дороги, и бабушка с Николаем вернулись за ним два месяца спустя на телеге.

Река, которую переходили в прошлый раз вброд, вздулась после дождей, и на переправе лошади встали. Тринадцатилетний отрок хлестал их изо всех сил; попросив свою целомудренную матушку заткнуть уши, он изругал колхозную животину всеми доступными ему матерными словами, единственными, которые понимали кони, но и послушный Серко, и непослушный Рыжик вперед не шли.

С той стороны реки появился всадник в лисьей шапке. Киргиз пустился через быструю реку, конь его поплыл в том месте, где обыкновенно был брод, и дядюшка понял, от какой беды уберегли его умные лошади.

— Все погибли бы: и мать, и я, и коней погубили б. А ниже был перекат: там по камням кое-как перешли, — рассказывал он эту историю много лет спустя. — Телку с теленком обменяли в колхозе на корову. Две головы на одну. Только с коровой не повезло. Молока давала всего семь литров. А потом померла, потому что как ухаживать за ней мы не знали. Выделили нам дальний

покос, очень неудобный, и мы его поменяли на ближний. А там осока росла. Мы ж не знали, что нельзя корове осоку, и никто не подсказал... В Саввушке было два стада: колхозное и частное. У каждого свои пастухи. Их по очереди кормили и своим детям дома не давали столько еды, сколько пастухам.

Собственно он, Николай, и заменил в доме мужика, не дав семье умереть с голоду. В школе он всю войну не учился, однако не по лености. Дядька рос так быстро, а питался так плохо, особенно зимою, что организм его не поспевал, и две военные зимы подросток проболел, тело его покрылось чирьями с головы до ног, особенно много их было в подмышках и в паху — по-народному это заболевание называлось «сучье вымя» и лечилось горячим пестиком, который зажимали под мышкой. Бабушкин первенец подолгу лежал на печи, набираясь сил, как былинный богатырь из села Карачарова, а летом все проходило, он вставал на ноги и шел работать подпаском у глухого пастуха Тихона, про которого все хозяйки на селе знали: если громко спросить его: «Тихон, где моя корова?», то старик ничего не услышит. А если прошептать: «Тиша, Тиша, поди, я тебе картошечки испекла», тотчас поворотится. Тихон рассказывал своему помощнику о том, что в молодости его в большой строгости воспитывал отец, наказывая за малейшую провинность, а в двадцать пять парню это надоело и он обломал об отцовские бока оглоблю.

— Вот теперь вижу, что у меня есть сын, — молвил старик.

Под Тихоновым руководством дядюшка научился пасти коров, косить, метать, делать копны. Он замечательно умел управляться с лошадьми, и сам председатель колхоза хвалил его за работу. Высокий, плечистый красавец с широким открытым лбом, ясными глазами — Николай Алексеевич точно вобрал в себя

лучшее, что было в славянской породе; худощавый погодок брат его был не так хорош собой, но проворнее, хитрее и смышленее, он меньше смотрел в землю, а побольше по сторонам, навсегда полюбив бродяжничать; вдвоем они отбивались от деревенских, если те приставали или дразнили «мясоедами», а потом и сдружились с ними. Интеллигентные дети научились драться, материться, курить и выпивать, жевать лиственничную смолу и подтираться снегом, они умели тонко-тонко срезать кожуру с картошки, чтоб не пропало ни грамма питательного вещества, заботились о матери, которая все больше чувствовала в них опору, а дед тянулся к дочери, единственной, по-прежнему безоглядно его любившей и не задумывавшейся над тем, что рано или поздно папа покинет маму и вернется либо к Тузику, либо пойдет бродить по свету и искать еще кого-нибудь, кто не устоит перед обволакивающим взглядом его слегка безумных колючих синих глаз.

Приходили письма от музыкантши, она исправно платила за обе московские комнаты, но предупреждала, что удерживать жилплощадь становится все труднее: по мере того, как облако войны уходило на запад, Москва наполнялась беженцами, селившимися безо всяких ордеров и мандатов в незанятых комнатах, и бабушка поняла, что надо как можно скорее возвращаться. Но сделать это оказалось еще труднее, чем в эвакуацию уехать.

Осенью сорок четвертого дед получил вызов от Тузика и стал собираться домой: за три года народного учительства он был сыт по горло сельской жизнью и хотел одного — вернуться в Москву. Взять с собой семью он не мог, да и вряд ли хотел: Алексей Николаевич посчитал свои обязанности перед бывшей женой и детьми исполненными сполна, забрал эмалированное ведро меда, которое намеревался выгодно продать, и, пообещав отослать половину

вырученных денег семье, уехал. Но всю последнюю военную зиму не было от него ни слуху, ни духу — ни переводов, ни писем.

Эта зима оказалась самой тяжелой. Бабушка хорошо понимала, что одна с тремя детьми она из Саввушки не выберется. В Москве ее никто не ждал, комната была занята, и Мария Анемподистовна принялась вынашивать и разрабатывать планы возвращения с той степенью тщательности и предусмотрительности, которая отличала ее во все трудные минуты жизни. В ноябре они перебрались из деревни в город Рубцовск, где находилась большая железнодорожная станция и эвакуированный из Харькова тракторный завод. На него бабушка имела особые виды: там можно было в подходящий момент устроиться работать проводником на грузовых платформах, которые перевозили по всей стране трактора.

С жильем в Рубцовске было худо, и они поселились на квартире, хозяева которой согласились принять семью эвакуированных при условии, что те будут обеспечивать дом теплом, и каждый день мой дядюшка Борис Алексеевич приносил из школы в единственных на всю семью подшитых валенках ворованный уголь — им топили, и каждую ночь он просил бабушку будить его в четыре утра, а затем, положив за пояс топорик, уходил за штакетником для растопки, и каждую ночь бабушка не спала и не знала, вернется он живой или нет.

Штакетник он отдирали от ограды закрытой рубцовской церкви, и самое ужасное случилось, когда звук выходящего из поперечины забора гвоздя попадал в резонанс с деревянным куполом и разносился в морозную ночь по всей округе. Несколько раз его чуть не поймали, но на следующую ночь Борис снова шел к редущей ограде. Старший брат его работал в столовой ФЗУ, откуда иногда приносил судки с супом и кашей,

младшая дочка ходила в школу, где детей каждую неделю проверяли на вши и где вместо тетрадок писали на газетной бумаге чернильным карандашом, а у самой бабушки постоянной работы в Рубцовске не было, только время от времени удавалось получать заказы на шитье, но была надежда, что они смогут вернуться в Москву.

Зима была бесконечно долгая, холодная, тревожная и страшно голодная, организм подросших детей требовал все больше еды, а из соседней комнаты, где жили местные спекулянты, доносились визгливые вскрики, навсегда врезавшиеся в память всех Мясоедовых:

— Юра, ешь с хлебом, кому сказала!

Сами же они пили морковный чай, но не из кружек, а из консервных банок, к которым были приделаны ручки и которые отличались тем дурным свойством, что края банки оставались горячими даже тогда, когда вода в них почти остывала.

Домой тронулись в конце апреля 1945 года. Ехали на большой открытой платформе, сопровождая трактор. Машину отправляли в подмосковный колхоз, и именно благодаря этому обстоятельству женщине и трем детям удалось договориться о пропуске в Москву. Ехали от Рубцовска до Москвы пять недель. Часами, а то и сутками платформа стояла на запасных путях, на сортировочных горках, пока шли с запада на восток военные эшелоны; сыновья спали на платформе, а бабушка с девятилетней дочерью сидя в маленькой кабине. Однажды поезд тронулся очень резко, и трактор сорвался с креплений, гусеницей придавив ладонь старшему сыну. Побелевший, без единой кровиночки на лице, он лежал, пытаясь освободиться, и слышал сквозь туман крики людей, бессильно пытавшихся сдвинуть железную махину с места; с каждой минутой он слабел от боли, помощи ждать было

неоткуда, как вдруг трактор снова дернулся и вернулся на прежнее место.

В другой раз в Петропавловске-казахстанском, после того как продали последнюю свою ценность — швейную машинку, дядюшка отправился на рынок купить картошки. Он насыпал в рюкзак три ведра, но когда уже подходил к станции, состав на его глазах тронулся. Николай вскочил на подножку предпоследнего вагона и три часа ехал до следующей станции с рюкзаком за спиной. Его мотало во все стороны, стремительной полосой неслась перед глазами железнодорожная насыпь, шпалы, столбы, придорожная сухая трава, одеревенели пальцы, но он не отпускал поручня и не сбрасывал с плеч мешка. А что успела передумать за это время его мать, Бог весть.

В детстве я очень любил книжку «Летающие к северу» о жизни уток-гаг; в ней рассказывалось о том, как утка-мать изо всех сил пытается защитить своих птенцов и поставить их на крыло, но большая часть все равно погибает — кто от рук браконьеров, кто от хищников, кто от болезней, ибо таковы законы равнодушной природы. Подобный импульс сберечь, спасти свой выводок был определяющим и у моей бабки. Ее жизнь была непрекращающимся поединком со смертью за каждого из своих детей, поединком, из которого она вышла победительницей, хотя по статистике и по законам природы, истории, волчьего человеческого сообщества сберечь всех не могла и кого-то должна была принести в жертву. Она жила под этой угрозой на протяжении многих лет, но в месяц возвращения с Алтая в Россию мать и трое ее детей двигались по самому краю бездны.

... Дождь лил несколько дней подряд, было холодно, ветрено, промозгло. Еду готовили во время остановок на костре, но на большой узловой станции, где остановился поезд, развести огонь никак не удавалось, и тогда Николай взял тряпку и сунул ее в буксу, чтобы пропитать маслом. Как из-под земли появилось двое обходчиков и потащили его в сторону каменного строения рядом со зданием станции. Бабушка этого не видала, она отвлеклась в тот момент, и маленькая дочка прибежала к ней с плачем. Бросились искать Николая; бабушку послали в комендатуру, к дежурному по станции, в милицию, никто ничего не знал и не хотел ей подсказывать. Накануне объявили о победе над Германией, в сквере перед зданием вокзала играла гармошка, танцевали под дождем счастливые, нарядные бабы, доставшие из сундуков праздничные наряды, и среди них единственный мужичок, пьяный инвалид привалился к скамейке и рыгал. Гремела станция, проходили поезда, переключались огни семафоров, и не прекращался тяжелый дождь. Где-то там возле платформы оставались голодные дети, но о них она в тот момент не думала. Наконец оказалась она у начальника станции. Изможденная после двух недель тяжелого переезда, дурно одетая, со спекшимися губами, предстала перед невыспавшимся человеком, который рассеянно слушал сбивчивые объяснения, что сын ее никакой не вредитель и не диверсант, что он вовсе не хотел подсыпать в буксу песка и устраивать аварию. Начальник равнодушно отвечал ей, что никто не имеет права приближаться к буксе, масло — это стратегическое сырье и что теперь с ее сыном будут разбираться в НКВД.



— Если он не при чем — отпустят, и он вас догонит.  
Человек в железнодорожной форме лгал безо всяких усилий, но она эту ложь распознала:

— Отпустите его!

— Да что вы в самом деле? — обозлился он не столько на нее, сколько на самого себя за то, что теряет с ней время. — Я-то как могу его отпустить? Идите вон сами и просите.

Она стояла и никуда не уходила.

— Ну что, тебя силой выталкивать?

Бабушка молчала.

— Вот что, возьми листок бумаги и напиши, как все произошло. Только живо. Штраф заплатишь, и дело с концом.

Она писала, немного наклонив голову и отбрасывая прядь волос, очень быстро, легко, как будто это и было всю жизнь занятием ее огрубевших, но все еще тонких пальцев. Наконец исписав листок с обеих сторон стремительным убористым почерком, протянула его с таким видом, точно написанное ею могло действительно что-то значить и не будет выброшено в корзину, посмотрела на человека в железнодорожной форме молящими глазами и за безразличием и холодом, в который были эти глаза точно асфальтом укатаны, проступило что-то живое и очень близкое.

— Вы дворянка? — спросил он по-французски.

Странное выражение промелькнуло в ее глазах, удивление, недоверчивость, страх и, верно поняв, что терять ей уже нечего, она молча кивнула, не став уточнять, что дворянином был ее бывший муж.

— Как вас зовут? Пойдемте со мною.

Еще пьянее, отчаяннее и надрывнее играла на улице гармонь и уже совсем разошлись под дождем женщины и те, к кому должны были вернуться мужья и сыновья, и те, кому предстояло до скончания века вдовствовать, как и ей — только при живом муже.

Николай был, к счастью, не в изоляторе НКВД, а в каком-то чулане, куда его заперли обходчики, ушедшие праздновать победу. Он лежал на полу, свернувшись калачиком, и спал, сжимая изо всех сил тряпку как доказательство своей невиновности.

— Сколько мы вам должны? — спросила она со старомодной щепетильностью.

— Нисколько, — отмахнулся он, закуривая.

— Нет, — возразила она, — прошу вас. Мне так будет спокойнее. Чтоб по закону.

Она заметно нервничала, возможно, боясь, что он назовет сейчас слишком большую сумму, но старалась держаться с достоинством, и начальника станции, бывшего петербургского инженера-путейца, сосланного в эту местность в конце двадцатых годов и назначенного на должность в связи с войной и только потому, что некого было больше брать, за годы войны измученного не меньше ее, живущего в постоянном напряжении и под страхом расстрела, охватило раздражение против беспомощности и никчемности их всех, позволивших загнать себя в подпол.

— По закону? — зло отозвался он. — По закону ему дали бы десятку и вы б его больше никогда не увидели. Вы как живете-то, милая? По закону. А муж ваш где, на фронте? — спросил он уже совсем бесцеремонно, но давая себе право на эту бесцеремонность.

— Он ушел от нас, — ответила она, смешавшись, и ему показалось, что женщина сейчас разрыдается, но слез на ее лице он не увидал. Все свои слезы она уже давно выплакала...

Точно ли так оно все было в действительности или нет, произносились или нет именно эти слова, действительно ли заговоривший по-французски среди барабинских степей начальник станции был из дворян или, может быть, просто оказался образованным милосердным человеком, пощадил ли он несчастную

внучку купца первой гильдии за то, что она умела говорить на галльском наречии и могла легко выдать себя за дворянку — я не знаю. Чудом спасенный дядюшка впоследствии рассказывал эту передававшуюся в нашем роду как священное предание историю несколько иначе. По его словам все вышло еще более обыденно и одновременно с этим невероятно.

Он хорошо знал, что приближаться к буксе и уж тем более совать в нее тряпку нельзя, но чтоб поскорее развести костер, не однажды так делал, и всякий раз это сходило ему с рук, а тут попался на глаза обходчикам. Его привели в кабинет к пожилому начальнику станции, где был еще какой-то старый человек, и до того как появилась мать, оба спрашивали у Николая, сколько ему лет и весьма огорчились тому обстоятельству, что выглядевший старше своих неполных шестнадцати, вредитель-диверсант в рваных штанах из мешковины был еще несовершеннолетним и, следовательно, дать ему по полной катушке не получалось. Никакого намерения спасти его у них не было, напротив старики были настроены кровожадно, когда же в дверях возникла истерзанная, худо одетая женщина с безумными глазами и бросилась к сыну, двое мужчин принялись объясняться с нею примерно в том же духе, с какими судебный следователь разговаривал с безграмотным мужиком в чеховском «Злоумышленнике».

— Сына твоего будут судить. А ты, тетка, иди к своей платформе, состав сейчас будет отправлен. Да поторопись, не то всех детей потеряешь, а еще и за трактор ответишь — ты какое имела право от него отходить?

Вынеся сей приговор, начальники перешли на французский, и в их речи мелькнуло слово «нищенка».

— Je ne sui pas mendiant<sup>[1]</sup>, — машинально отвечала им женщина на том же языке.

У обоих выкатились глаза, и дочь томского золотопромышленника Мария Анемподистовна Мясоедова, урожденная Посельская, благодаря культурному шоку, а отнюдь не сентиментальности обомлевших должностных лиц получила назад свое чадо с промасленной тряпкой в руках.

Поверить в то, что в Богом забытом городке оказался не один, а сразу два галломана, мечтавших на склоне своих лет взять грех на душу и засадить на 10 лет невинного мальчишку и перешедших с этой целью на язык Франсуа Рабле, мне, признаться, еще труднее, чем принять оставшуюся в моей памяти романтическую версию о классовой солидарности побежденного класса, хотя чего только не бывает на свете?

Как бы то ни было, дядюшку моего уберег тот самый ангел, что был приставлен к нему вопреки воле его неразумной, но тайно благословенной матери и благодаря благоразумной тетке. Однако и выкуп за трижды спасенную в течение одного месяца жизнь судьба потребовала немалый.

Они добрались наконец до Москвы, где несмотря на все старания Тузика, некогда выменянная у Хахама бабушкина комната оказалась занята, и стали жить в коридоре — больше было нигде. Бабушка обивала пороги учреждений и доказывала, что она все эти годы платила жировку и имеет право на свою жилплощадь, никто не желал ее слушать, отовсюду гнали, но она упрямо держалась своего. В конце концов ей не осталось ничего другого, как обратиться в суд и ждать его решения. Пока было лето, жили в Болшеве, а потом дочку взяли к себе Тузик с дедом в свою восьмиметровую келью, где девочка спала на стульях и делала на подоконнике уроки, Николая отдали в

военное училище, откуда он присылал письма треугольником со штампом «Проверено военной цензурой», а бабушка с Борисом из квартиры никуда не уходила: они жили на кухне назло своим обидчикам, морально поддерживаемые остальными соседями, среди которых были супруги Дроневы — в них квартирный вопрос не умертвил чувство милосердия, справедливости и все той же классовой солидарности. «Суместно обместях» — называлось это в их коммунальной квартире с довоенных пор. И так продолжалось месяц, другой, третий, осень, зиму... Их хотели взять измором, но не на тех напали.

Суд состоялся в феврале. Ответчиками выступала семья офицера, фронтовика, который потерял в сорок четвертом левую руку и был демобилизован. Он поселился в бабушкиной комнате с женой и маленькой дочерью, после того как его собственное жилье оказалось разбомблено. Деваться ему было некуда, правда времени и места была полностью на его стороне, и по логике вещей ничего хорошего Марии Анемподистовне и ее детям в этом сюжете не светило. Однако все изменила грамотно выстроенная речь добровольного и формально не принадлежащего к адвокатскому сообществу защитника истицы. Сей мудрый человек не стал отрицать того, что противозаконно занявшие комнату люди были и героями и жертвами войны, он с глубочайшим уважением отозвался о заслугах храброго воина, отдавшего Родине свое здоровье, он выразил сочувствие его жене и дочери...

... но, — говорил адвокат-любитель, — со стороны истицы мы тоже видим детей, и один из них уже носит военную форму и, следовательно, готовится стать будущим защитником Отечества. И потом не будем забывать, что работающая ни ниве народного просвещения истица все эти годы добросовестно

платила за квартиру. Что мешало делать то же самое ответчику?

В действительности это звучало куда как более изысканно, чем мне впоследствии рассказывали, и моему перу не под силу высокий пафос и риторику заключительной речи бабушкиного заступника воспроизвести, наверняка адвокат сумел воздействовать и на чувства, и на разум членов советского суда, но самое главное, что этим, не взявшим ни копейки ходатаем — а где было бы бабушке деньги на адвоката найти? — оказался сын присяжного поверенного Алексей Николаевич Мясоедов, в котором умерли советский Плевако, Кони и Николай Николаевич Мясоедов-младший (был еще старший, дед моего деда — первоприсутствующий сенатор, составитель законов и уложений, член муравьевской комиссии по пересмотру уставов, сторонник женского юридического образования, композитор и пианист «выше Рубинштейна», филолог, знаменитость, награжденный всеми гражданскими орденами до Александра Невского включительно — о нем писали Брокгауз и Эфрон) вместе взятые и который пришел на помощь оставленной семье в тяжкий момент.

— Тяжелая болезнь помешала мне выполнить свой долг перед Родиной и воевать с врагом, но я отдал в рабоче-крестьянскую красную армию своего первенца, — завершил свой монолог в библейском духе дед.

Лейтенант благодаря его красноречию обижен не был; он получил жилье в другом доме, а бабушка въехала в свою довоенную шестнадцатиметровую комнату, выходящую единственным окном на старый двор возле окружной железной дороги, забрала у Тузика дочь, которая, разрывая сердце отца, горько заплакала, вдруг сообразив, что папа вместе с мамой никогда не будут, и зажили они снова вместе, как жили

до войны. Ходили в Тюфелевские бани, где надо было отстоять очередь часа три, но зато в бане давали кусочек мыла, которое больше нигде было купить, по вечерам читали книги и музицировали, питались чем Бог послал, носили вещи, перелицованные бабушкой из костюмов профессора Первушина и нарядов его благодетельной жены, главное — у них было свое жилье. Но если бы все упиралось только в квартиру!

Привыкшие на Алтае к пастушьей вольнице сыновья никак не желали возвращаться к обыденной жизни, ходить в школу, учиться и помнить свой возраст. В особенности это относилось к среднему Борису. Дни и ночи напролет он пропадал в подворотнях, связывался Бог знает с кем, со шпаной, с такими же оставшимися без отцов только по другой причине сверстниками, которых было так много в послевоенные годы, пробовал китайские опиумные сигареты, пил водку и пропадал на рынках, где спекулировал чем придется, и не только папиросами Норд на «рупь» пара, но и товарами интеллигентными: книгами (биография Сталина, с трудом купленная в магазине за пять рублей, уходила на рынке за 50, — уверял меня дядюшка, во что поверить мне было трудно, но не сочинял же он), билетами в Большой театр, занимая очередь по нескольку раз — и мать с ужасом понимала, что теряет его. Сумевшая сохранить семью в эвакуации, уберегшая троих детей от голода и болезней, от всех опасностей, куда они были маленькими, она оказалась бессильна защитить их, слишком рано и горько повзрослевших, научившихся ради выживания преступать закон. Ее сын обеими ногами стоял на пути, который вел в гибельную сторону, и подобно тому, как в тридцать седьмом бабушка переживала за болтливого деда и боялась ночного стука в дверь от НКВД, так теперь она боялась милиции.

Ко всему этому прибавилась страшная нужда. Они продали за бесценок дачу в Болшеве, но все равно так бедно, как в сорок шестом и сорок седьмом, не жили никогда. Часть зарплаты, и без того крохотной, съедал заем; от деда помощи было мало, военная пора сотворила странную перемену с его характером, потомственный дворянин сделался жаден и скуп на деньги, коих у него в конце концов набралось порядочно: дед удачно покупал и продавал антикварные вещи, одежду, мебель, ювелирные изделия, старинная фамилия придавала ему шарма и служила пропуском в хорошие дома, где мало-помалу стали входить в моду атрибуты прежней жизни, в ней дедушка знал толк; счет его в сберегательной кассе рос, набегали проценты, но родным от него почти ничего не перепадало.

Тузик жаловалась бабушке, что он заставляет ее брать много работы и отдавать ему все с трудом заработанные деньги, у переписчицы нот болели глаза и прежнее женское счастье в них не светилось. Дед хотел копить еще и еще, но какой же удар ожидал его в декабре 1947-го! Это был тот самый год, когда государство без объявления войны провело готовившуюся в страшной тайне вероломную денежную реформу, отняв у своих граждан все имевшиеся у них сверх минимума накопления. Наличные деньги, хранившиеся в сундуках, просто превратились в ничто, а денежные вклады в сберегательных кассах обменивались в соотношении десять рублей к одному. В результате сталинского блиц-крига дед в одночасье потерял почти все, что имел, и пережить этого потрясения не сумел. Единственный, кто мог его понять, был переживший отъем денег еще при царском режиме Иван Финогенович Дронеев, но деду от сочувствия старообрядческого церковного старосты, пытавшегося утешить его евангельской притчей о



тленных земных сокровищах и вечных небесных, проку было мало. Алексей Николаевич развелся с Тузиком, бросив ее в убогой комнатухе на Автозаводской, где, впрочем, оставался предусмотрительно прописан и впоследствии получил при разъезде отдельную комнату в соседнем доме, а сам пошел искать по свету другого счастья. Отныне в его романе с женским сословием прибавилась новая составляющая: он обращал свой взор не просто на хорошеньких женщин, но лишь на тех, кто мог приумножить его богатство.

Бабушка жалела брошенную подругу, которой было одновременно неизмеримо легче и труднее: у нее не было детей, а у моей Марии Анемподистовны главной заботой и сердечной болью оставались сыновья.

Николаю еще осенью сразу после того, как они вернулись в Москву, она написала собственной рукой справку о том, что он, якобы, закончил семь классов в Саввушке, и дядю с его начальным образованием приняли в артиллерийскую спецшколу, где его отставания никто и не заметил; откуда он пошел в училище, а потом, отслужив пять лет в Германии, в Артиллерийскую академию имени Дзержинского, и так сделался профессиональным военным, чего в мясоедовском, адвокатском, роду прежде не бывало, и может быть по этой причине гений фамильного древа ему не помог.

Во всяком случае позднее дядюшка Борис Алексеевич говорил мне о том, что Красная Армия его старшего брата подкосила. Необыкновенный Николаев ум, память, умение быстро считать и находить моментально правильное решение, трудолюбие, честность — все это было порушено, либо не востребовано однообразной гарнизонной рутинной, выпивками и обидой на судьбу, на свое горькое положение, когда зеленый свет, погоны, звания, должности давали фронтовикам, а не попавший по

возрасту на войну, не имевший нужных связей и умения делать карьеру дядька, которому генералом бы стать, командующим, так и не сумел подняться выше подполковника и военпреда ракетного завода. Еще до академии, пока он служил как строевой офицер, дядюшка мой никого не унижал и защищал слабых; если надо было идти разгружать вагоны, становился вместе со своими подчиненными, он был слуга царю, отец солдатам, и все же был явно способен на большее. Правда, был у него шанс переменить судьбу, когда ему предложили поехать на Байконур, где тогда все только начиналось и можно было пробиться к хорошей должности и званию. Николай Алексеевич может быть и решился бы на этот шаг, но воспротивилась его молодая жена, блондинка с польскими корнями и шляхетской гордостью, которая — опять же по рассказам спешно устроившей сватовство бабушки — вышла замуж за дядю через день после их знакомства и укатила в Восточную Германию, где он в ту пору служил и, томимый мужским одиночеством, пригрозил перепуганной матери привезти домой чистокровную немку, буде мать не сыщет жену на Родине во время положенного служивому отпуска.

История эта, хотя и относящаяся к более поздним временам, достойна отдельного упоминания, ибо в ней проявился бабушкин талант совершать подвиги не только на войне, но и в мире. Рассказы на эту тему начинались обыкновенно с того, что немцев бабушка боялась как огня и чтобы уберечь и себя и сына от беды, подыскала ему сразу несколько невест. Однако несмотря на дядюшкину благородную внешность, служебные перспективы и, наконец, главный козырь — скудное на женихов и богатое на невест послевоенное время, с женитьбой молодому офицеру не везло. Он ездил делать предложение в Серебряный бор, переписывался с какой-то девушкой из Томска, по поводу чего шепотливой и куда более удачливый в матримониальных делах дед распевал песенку собственного сочинения

Зашумели высокие ели,  
Получил я письмо от Нинели —

а отпуск меж тем подходил к концу, во вторник холостой лейтенант должен был отбывать к басурманкам, и тогда накануне, в пятницу, опечаленная бабушка поделилась горем со своей лучшей подругой Верой Исааковной Броверман, которая Марию Анемподистовну искренне любила, жалела и всегда желала ей добра. — Есть у меня на примете одна девушка, — не вполне определенно сказала Вера Исааковна. — Только не знаю, подойдет ли она твоему Коле. Но бабушке терять было уже нечего. В тот же день она получила адресок, по которому послала

неведомой, ни разу не виданной воспитательнице детского дома под Икшей телеграмму, о содержании которой можно только гадать, а на завтра в Тюфелевой роще объявилась дядюшкина «избранница», которая, как выяснилось или же рассказывалось впоследствии, в Икше чудовищно тосковала и с трудом отбивалась от своего непосредственного начальника, пытавшегося воспользоваться служебным положением по отношению к подчиненной. Телеграмма из Москвы в этих обстоятельствах оказалась чудесным избавлением из плена, а все подробности написанного бабушкой скоропалительного житейского романа, чем-то похожего на похищение Зевсом Европы, встреча двух блестящих молодых людей в густонаселенной комнате, смотрины, сговор, любовь с первого взгляда, посещение в понедельник загса, бабушкин вздох облегчения, и отъезд за границу вчера еще не подозревавшей о перемене судьбы молодой красавицы, которая прожила с дядюшкой всю жизнь и родила ему двоих детей — все это составило один из самых важных родовых мифов и свидетельствовало в пользу проверенного предками решения о выборе суженой.

Вера Исааковна нимало не ошиблась: Галина Ивановна оказалась женщиной эффектной не только внешне, но и по характеру. Польская кровь играла в ней честолюбием и ревностью ко всему, что ее окружало; она умела хорошенько поджимать губы, преподавала математику и дослужилась до завуча, держа и вверенную ей школу, и порученную семью в кулаке. Мужа своего частенько поругивала, свекра не переносила на дух, и он ей платил теми же облигациями, однако бабушку боготворила, и не только за оказанное благодеяние, а за душевную щедрость и силу и за, если так можно выразиться, равновеличие себе. Когда они поселились после долгих дядюшкиных мытарств и скитаний по Советскому Союзу в

Подмосковье, она не раз звала свекровь переехать к себе, бабушка благодарила, выказывала невестке уважение, однако от настойчивого приглашения уклонялась и предпочитала издали наблюдать за семейным счастьем своего первенца.

Что касается его младшего брата Бориса, то и того спасла любовь. В старших классах двоечник и бездельник, он влюбился до беспамятства в молодую учительницу истории, а с нею и в ее предмет. Учительница на его страсть не ответила, зато дядюшка взялся за ум и по окончании школы решил поступать на исторический факультет университета. Экзамены он завалил, получил повестку в военкомат и уже собрался было идти под ружье, как вдруг стало известно, что на не пользовавшемся никакой популярностью экономическом факультете случился недобор, и наголо бритый Борис сделался студентом МГУ. Так случайно-предопределенно решилась его судьба, в дальнейшем вознаградившая его карьерными успехами, научными степенями, написанными им книгами и пройденными по самым диким местам страны горными маршрутами, первые из которых он одолел еще на Алтае босиком в рубище подпaska и со странным чувством вернулся в эти края десятилетия спустя взрослым человеком со сложившейся судьбой. Но более всех была утешена его матушка, которая после долгих лет непрерывных трудов и бессонных ночей могла хотя бы чуть-чуть успокоиться. И как бы далеко дядька ни собирался, перед каждым восхождением он приезжал к бабушке, и было что-то бесконечно трогательное в том, как она целовала его и полушутя-полусерьезно твердила: «Бобик, Бобик, береги свой лобик».

Еще благополучнее сложилась судьба бабушкиной дочери. В положенный срок она закончила с серебряной медалью школу, поступила в педагогический институт, на третьем курсе отправилась поднимать целину почти

в ту же самую местность, где находилась во время эвакуации, и по той самой дороге, по которой так трагически ехали они все вместе десятью годами раньше. На целине двадцатилетняя студентка познакомилась с командиром студенческого отряда, вышла за него замуж и родила двоих детей, воспитывать которых досталось бабушке, ибо у ее дочери на первом месте всегда была работа в школе, да и бабушке она, пожалуй, доверяла даже больше чем себе.

Из 16-метровой комнаты, где одно время вместе жили сразу три молодых семьи: в одном углу Николай с женой и ребенком, в другом — моя матушка с отцом и маленькой дочкой, в третьем сама бабушка, а на балконе в палатке — походник Борис со своей суженной Татьяной, дети постепенно разъехались, обзавелись своими квартирами, и отныне бабушка за них не отвечала. Она дала им все что могла — жизнь, здоровье, образование, профессию, судьбу — дала им себя, а уж как они сумели этим богатством распорядиться, было не в ее власти. Отец же их меж тем жил своей жизнью, которая с бабушкиной продолжала пересекаться и возмущать ее и без того беспокойный дух.

Среди многочисленных стихов Марии Анемподистовны, посвященных мужу, самое знаменитое было вот это.

Сед дед Мясоед  
Натворил он много бед.  
Вдруг затеял он жениться,  
У внучат пришел спроситься:  
Посоветуйте, друзья,  
С кем счастливей буду я.  
Много у меня домов,  
Как у зайца теремов,  
Где всегда зовут и любят,  
Приласкают, приголубят.  
Здесь покормят повкусней,  
Там целуют горячей.  
Не могу я сам решить,  
Где мне голову склонить.

Она зачитывала эти стихи на устраиваемых ею застольях с пирожками, домашними наливками, салатами, студнем и заливным — всем тем, что она научилась готовить к своим пятидесяти годам, и, глядя на это изобилие, трудно было поверить, что сильная, уверенная в себе женщина, хозяйка, мастерица когда-то не знала иных из женских ремесел. Теперь она умела, кажется, все на свете, швейная машинка сделалась ее главным инструментом, она обшивала всю родню, нянчила внуков — самое первое воспоминание всей моей жизни, как бабушка носит меня на руках, и единственное искусство, которому она не обучилась,

было вязание на спицах, да и то потому, что оно плохо вязалось с ее деятельным характером. Но главное достоинство и предназначение моей бабы Маши, моей Марии гранд-мер было не в том, чтобы готовить, шить, стирать, гладить и печатать, главное — она умела разбираться в людях как никто. Она давала житейские советы, устраивала чужие дела, устраняла конфликты и умиряла чужие страсти, к ней шли, тянулись, ей доверяли, ее слушались, ей подчинялись — она выстрадала это, даже не право свое, а скорее поручение, своего рода послушание. Бабушка никогда не заносилась, не относилась ни к кому свысока, но принимала свою долю с осознанием собственного достоинства, в ней, лишенной, а точнее отрекшейся от дара веры, присутствовал — я не умею этого объяснить — дар взыскующей, терпеливой любви, и в характере ее было что-то от властной игуменьи в миру. По желанию сыновей в последние перед пенсией годы она работала уже не так много и на пенсию вышла рано, отчего пенсия была невелика, но Борис с Николаем каждый месяц ей доплачивали по десятке новыми деньгами, однако никогда ее нельзя было увидеть среди старушек на лавочке во дворе. Ей было не до сплетен и пересудов. Письма из других городов приходили к ней, к телефону чаще всего звали ее, гости в нашем доме не переводились. Среди них бывал и дед, к которому теперь она относилась скорее иронически, и все же... все же, что ни говори, но именно он оставался главным событием ее жизни и был причиной того положения, которое она в глазах окружающих занимала.

Впрочем советов как жить спрашивали и у деда. Молодая родственница обратилась к нему с вопросом, как проверить чувства своего избранника.

— Попроси у него займы пять тысяч. Если даст — значит, любит, — отвечивал Алексей Николаевич нимало не шутя.



Женщина так и сделала. Больше своего ухажера она не видала.

Бабушка же, не считая денег от сыновей, получала пенсию в двадцать семь, а потом в сорок рублей, с которой всегда покупала шестерым внукам подарки и деньги у нее катастрофически не задерживались.

— Муся не умеет жить, никогда не умела и ничему научилась, — поставил ей окончательный диагноз богатеющий год от года ее вечный муж, который помимо всего прочего не мог простить бывшей жене того, что в сорок седьмом после продажи большевской дачи она причитавшуюся ей половину денег не стала прятать по углам, а купила пишущую машинку «Торпедо» и пианино — Господи, кому оно тогда было нужно! — но таким образом денежная реформа ее обошла. Только вот никто из детей и внуков способности к музыке не проявил, хотя машинка и сгодилась.

Итак, бабушка писала стихи, которые читала детям, брату, сестре, невесткам, зятю, племяннице, внукам, Тузику, и, наконец, самому их герою, когда он приходил с новой подругой и, низко наклонив квадратную седую голову с седыми волнистыми волосами, красиво обрамлявшими его немалую лысину, жадно набрасывался на еду, сметая все подряд, так что чувствовалось, какое удовольствие доставляет ему вкусная пища и как не хватает домашней стряпни и ухода. Жалел ли он когда-нибудь, что дважды ушел от этой женщины, кто знает? Но если в бабушкином присутствии его пытались осуждать или им возмущаться, то все разговоры пресекались одной ее любимой, упрямой цитатой: «Не будь его, сидела б я в Твери...» Она была справедлива и не умела быть неблагодарной.

А тот, к кому эта благодарность была обращена, жил весьма своеобразно в эту пору — у деда начался

затянувшийся на долгие годы кризис жанра. После Тузика его гражданской женой стала родная сестра писательницы Валентины Осеевой Анжелика (для тех, кто помнит книги Осеевой, это Мышка из романа «Динка»), с ней он жил на улице Горького прямо напротив Моссовета в большой однокомнатной квартире, где в ванной стояла кухонная плита, а на кухне обитали мать и брат дедовой возлюбленной. От коммунального ли кошмара или по иной причине, но только вскоре дед снова лег в Кащенко и познакомился там с дочерью известного архитектора М. Алексей Николаевич переехал к ней чуть выше по Тверской в просторную квартиру в доме на углу бульвара, где находится магазин «Армения». Однако если сам он лежал в психиатрической клинике с диагнозом довольно туманным, то дочка зодчего была больна всерьез. Однажды она выбросилась из окна дома, попав на троллейбусные провода. Потрясенный дед вернулся к Анжелике, и та его приняла, но некоторое время спустя и она умерла. Было у него еще несколько возлюбленных и среди них одна немка, которая тоже приходила к нам в гости, и дед сидел вместе с нею возле кроватки рыжебрового внука, названного в его честь, что старику невероятно польстило и сподвигло подарить Алексеевым родителям большой платяной шкаф. А уже в самом конце мужской карьеры семидесятилетний ветеран Гименя познакомился на кладбище с богатой вдовой советского посланника в Китае Ниной Ивановной С. Могилы ее супруга и дедовой последней жены располагались рядом. Расписываться с новой подругой дед не жаждал, но у Нины Ивановны имелась квартира на Новозаводской улице и зимняя дача в Снегирях, что и стало решающим аргументом.

Все эти годы он продолжал работать в инженерно-строительном институте, а когда открылось всесоюзное общество по распространению политических и научных

знаний, стал мотаться по стране, выступая в клубах, школах милиции, на предприятиях, в парках культуры и красных уголках с лекциями о Горьком и Маяковском... Иногда его приглашали в закрытые города, куда летали на военных или транспортных самолетах, а из аэропорта везли в машинах с зашторенными окошками, но где очень хорошо принимали и неплохо за все неудобства платили. В конце 40-х — начале 50-х, по не слишком афишировавшимся семейным преданиям — но из песни слов не выкинуть — дед отменно проявил себя во время кампании по борьбе с космополитизмом. Он был членом приемной комиссии в МИСИ и, всякий раз отправляясь на вступительный экзамен, зловеще острил:

— Иду резать жидов.

Горькая правда этого сюжета состояла в том, что председателем комиссии был некто Изаксон, и вот уж чье положение было воистину трагическим. Что же касается дедушки, то его образ жизни и черты характера в эту пору стали таковыми, каковые веками молва и он сам были склонны приписывать иудейскому племени. Жадность и скупость в зрелые годы сделалась в нем столь же сильной страстью, сколь и сластолюбие в молодые. Дед с еще большей охотой, чем после войны, занимался мелкими спекуляциями, покупал и продавал золото, серебро и драгоценности, он копил деньги и чах над своими сокровищами, но теперь Алексей Николаевич стал мудрым и предусмотрительным и ни за что на свете не позволил бы облапошить себя так, как это произошло с ним в одна тысяча девятьсот сорок седьмом году от Рождества Христова. Он держал деньги не в одной, а в девяти сберкассах, которые периодически обходил и пополнял свой счет, а кроме того страшно полюбил азартные игры с государством. Сын присяжного поверенного покупал в больших количествах облигации

трехпроцентного займа, и самыми важными, самыми торжественными днями в его году были те, когда в газетах печаталась таблица выигрыша очередного тиража. Одной газете он не доверял, сверял по другой, а то и по третьей, иногда и в самом деле что-то выигрывал, но немного, однако не унывал и жил с надеждой на то, что судьба вернет ему отнятое после войны. Он был богат, но с детьми и их матерью своим богатством не делился, напротив, ко дню своего рождения или именин — по некой иронии судьбы небесным покровителем своим мой пращур почитал Алексея человека Божьего, и до мозга костей атеистический, не крещеный и, следовательно, по определению не имеющий своего святого дед день его памяти воспринимал как очередной повод для подношений — итак, 30 марта в как бы именины и 25 сентября в свое рождение он ожидал подарков, о чем бабушка опять же насмешливо отзывалась.

Жил на свете старый дед,  
Было деду много лет,  
Но на каждый день рожденья  
Требовал он поздравленья  
Дети, внуки, зять и снохи,  
подавив глубоко вздохи,  
дружно выстроились в ряд,  
«С днем рожденья», — говорят.  
Но поклона деду мало.  
Попадешь к нему в опалу,  
Если к своему привету  
не приложишь ты монету.

Он действительно обижался на сыновей, которые казались ему недостаточно почтительными, а еще больше на их жен, своего свекра от всей души не

любивших; он ворчал, сердился, злился, и единственный или точнее единственная, для кого дед делал исключение, была его дочь — Гогусь, как он ее звал. Ее он любил безумно, фантастически, болезненно, ей помогал и деньгами и подарками, а когда в середине пятидесятых получил от института за ударную работу в приемной комиссии участок земли в восемь соток в подмосковной Купавне недалеко от Бисерова озера, то подарил его дочери, ибо не слишком верил в прочность ее брака с подозрительно замкнутым, подчеркнuto вежливым по отношению к нему зятем, уверенный, что тот ее рано или поздно бросит, и желал, чтоб у Гогуськи была своя собственность.

— Не мерь всех по себе, — сказала по сему поводу бабушка, которая моего отца поняла сразу и полюбила как раз за то, что он был полной противоположностью ее гульливому супругу и привязался к ее дочери и детям настолько, насколько только может прилепиться к чему-то человеческая душа и без остатка себя отдать.

Дедушкина неприязнь к зятю не помешала бабушке щедрый подарок мужа оценить, и Купавна стала ее отдохновением и прижизненной наградой, хотя сомнительная дедова заслуга, лежащая в основании этого приобретения, по беспристрастному закону действия высших сил дала о себе мистическим образом знать много лет спустя. Но случилось это уже после смерти и бабушки, и деда, и к моему рассказу напрямую не относится.

А тогда, в 50-е, когда матушка моя была еще очень молода, легкомысленна и к земле равнодушна, она охотно предоставила бабушке возможность участком распоряжаться, и вместе со своим старшим сыном Мария Анемподистовна построила дощатый домик с террасой и стала выезжать туда на все лето с внуками, мало-помалу превращая болотистую землю в уголок большого коллективного сада, как то было записано в

уставе садоводческого товарищества «Труд и отдых». Бабушка выращивала цветы, кустарники и плодовые деревья, а дядюшка — огурцы, картошку, помидоры, кабачки, чтобы никогда больше его семья не знала голода... Там, в Купавне, в волшебной местности среди озер, лесов, пшеничных полей и чистейших песчаных карьеров, прошло наше с сестрой и с двоюродными братьями и сестрами детство, там я узнал и запомнил свою бабушку, хотя жили мы вместе круглый год, и она возила меня маленького на санках в ясли, потом водила в детский сад и провожала сначала в школу, а потом в университет, но Купавна была для нас обоим дорогим и сокровенным местом, которое мы любили куда больше, чем шумную и грязную Автозаводскую улицу, и ждали каждое новое лето как счастье — так ждали когда-то лета в Болшеве Николай, Борис, Ольга, и так в бабушкиной судьбе смыкались, связывались начала и концы.

Иногда купавинская идиллия нарушалась потрясениями, как теплые летние дни перебивались непогодой, а потом все возвращалась к обыденному состоянию. Так было в середине 60-х, когда на исходе своего безумного правления ненавистник частного сектора, перерезавший все стадо на крестьянской Руси, отчего в соседней деревне стало невозможно найти молока, Никита Хрущев решил добраться и до дачников, повелев сократить площадь садовых домиков до восемнадцати квадратных метров. Как только правительственный циркуляр дошел до нашего послушного отца, он тотчас же схватился за топор и принялся рубить не уместившуюся в метраж террасу, и то был наверное первый и последний раз, когда бабушка встала на пути у своего возлюбленного зятя и властно сказала:

— Не ты строил, не тебе и рубить!

— Слышал ли ты об этих словах? — победно спрашивал у меня много позднее дядюшка Николай Алексеевич, указывая на сохранившиеся на косяках отцовские зарубки, когда Купавна оказалась предметом судебного разбирательства между ее наследниками, но бабушка до печальных времен, когда фамильное древо рухнуло, не дожила.

Я запомнил ее уже старой, худощавой женщиной со сгорбленной спиной, перекошенными плечами и с большим ожогом на шее — то был результат химиотерапии, после того как 59-м году у нее нашли саркому горла и подвергли облучению, а год спустя произошел рецидив, ее облучили снова еще более жестко и дважды полностью переливали кровь. До этого бабушка не болела вовсе, только температура тела у нее всегда была не 36 и 6, как у всех, а 37 градусов. Когда же жизнь детей уже не так сильно стала от нее зависеть, она надорвалась, но — уцелела, перемогла. Она была жизнелюбива до такой степени, что поражала лечивших ее и не слишком веривших в успех лечения врачей, и хотя после тяжелых радиоактивных сеансов сильно изменилась, усохла, согнулась и резко состарилась, тем не менее прожила еще два с лишним десятка лет. То были не самые трудные по сравнению с предыдущими десятилетиями годы ее осени, покойной и ясной, вознаградившей сполна и принесшей свои плоды. Есть чудная фотография: она стоит в проеме двери на крылечке купавинского дома с четырьмя внуками, и задумчивое лицо ее светится нежностью. По-прежнему она за всех переживала — и за детей, и за детей детей, и за двоюродных сестер, и за своих сватьев, ибо у всех жизнь складывалась по-разному и не везде был мир, но каждую житейскую беду и неустройство она воспринимала как собственное горе, а каждую радость

как свой праздник, и эти словесные обороты не были в ее случае ничего не значащими формулами речи.

В моей семье шестнадцать человек,  
Она росла как снежный ком,  
А, я вступив в двадцатый век,  
Им управляла, как челном,

писала она в своем «*exegi monumentum*», и недостаток поэтического мастерства с избытком покрывался в ней мастерством жизни и любви. Сердце ее вмещало всех и за всех болело. Она была по-своему очень счастлива — счастлива тем счастьем, которого так и не узнал ее единственный, ветреный, промотавший годы в погоне за удовольствиями и оказавшийся в конце страшно одиноким, замкнутым и сосредоточенным на своих переживаниях супруг. Недаром на меня, ребенка, дед наводил тоску, я интуитивно сторонился его и характер его приоткрылся мне лишь после смерти в рассказах его сыновей, да и тогда я, наверное, не смог свое детское ощущение преодолеть, деда понять и верно изобразить, вызвав суровую критику у прочитавшего мое сочинение дядюшки Бориса: «Тебе не удалось осмыслить, уразуметь, осознать, главное показать судьбу дворянского сына, изломанного революцией в пору великого перелома эпох... Он ярче, бодрее и оптимистичнее шел по жизни».

Может быть, и так, но оттого ли, что я увидел деда в его поздние закатные годы и знал очень поверхностно, мало, по-детски боялся и сторонился большого косматого человека, или же сказывалась во мне своя родовая честь и фамильные предрассудки, а только в моем восприятии это бабушка была открыта, щедра, свободна и житейски богата, и я знаю, что ей, в первую



очередь, обязан тем, чего добился в жизни. Да и не я один — все мы в ее челне. У нее был властный и очень прямой характер, она была не слишком политична и говорила всегда то, что думала, в ней удивительным образом уживались две ревнивые и вечно ссорящиеся сестрицы — справедливость и милосердие. Но все, кто ее знал, любили ее, и, кажется, не было ни одного человека, кто мог бы сказать о ней худое, да и сама она никого не осуждала. Единственный случай на моей памяти, когда бабушка позволила себе уронить слово горькое, произошел у нее с родным братом Георгием.

О, это был удивительный человек, и тем больнее, ужаснее была их размолвка! С дядей Юрой, как и с бабушкой, были связаны самые первые, самые трогательные мои воспоминания о том, как маленького ребенка он брал меня гулять за купавинскую околицу и через него мне открывался огромный мир. Он приезжал на дачу надолго, вечерами они играли с бабушкой в девятку, обучив к неудовольствию отца, этой фамильной карточной игре и меня. Брат и сестра говорили о прошлом, о жизни дяди Юры в Туле, где он работал инженером городского транспорта (и именно благодаря Георгию Анемподистовичу Посельскому в Туле пошел трамвай), о его первой жене актрисе Вахтанговского театра Вере Сергеевне Макаровой, которой в тридцать пятом году не дали роль Ларисы в «Бесприданнице» и она тяжело после этого заболела, о несчастной судьбе их дочери Музы. Иногда они уходили в еще более отдаленные воспоминания, где воскресали из глубины времен их родители, купец Коняев, сестры, тетки, Тверь, Кашин, Томск... Увы, ничего из этих разговоров я не запомнил, а ведь дядя Юра мог рассказывать то, чего не знала даже бывшая на два года его моложе бабушка — но я слишком поздно родился, для того, чтоб то драгоценное прошлое сохранить, и как дорого дал бы теперь за то, чтоб вновь

оказаться на уцелевшей от папиного топора щелястой террасе, где сидели под тусклым абажуром долгими летними вечерами два очень похожих друг на друга человека — родные брат и сестра Анемподистовичи, часами перебирали прошлое и всматривались в настоящее.

Мне теперь кажется, что именно из уст дяди Юры я впервые услышал о каком-то одном Иване Денисовиче Солженицыне, чью книгу мой отец велел выбросить, и бабушка его послушалась, хотя самой ей та книга очень понравилась. Дядя Юра с ее поступком не согласился. Он любил слушать Би-Би-Си, был в курсе хроники текущих событий и вообще в отличие от бабушки, довольно снисходительно относившейся к коммунистам и даже по-своему гордившейся тем, что и трое ее детей и зять были членами партии, ибо это свидетельствовало об их житейском успехе, искренне переживавшей из-за того, что американцы бойкотировали московскую олимпиаду и развязали гонку вооружений, что вдохновило ее на создание целого поэтического цикла, так вот в отличие от нее дядя Юра большевиков не воспринимал, и его внутренняя, сокровенная неприязнь к ним не имела ничего общего с ненавистью ограбленного деда.

Дяде Юре, как впрочем и моему отцу, коммунисты поломали, или вернее, доломали судьбу, но в отличие от моего папы он это хорошо осознавал. Узнай мой правильный батюшка о его настроениях, он возмутился бы присутствием своего сына в этом обществе куда сильнее, чем из-за девятки или террасы, но я благоразумно помалкивал, дядю Юру не выдавал и не только потому, что был очень мал. Я и сам тогда не понимал, что именно, но что-то влекло меня к этому на вид строгому, но очень доброму человеку, похоже, никем кроме бабушки не любимому и ненужному, выглядевшему совершенно посторонним в советском

общежитии и страдавшему от его грубости и упрощенности. Высокий, худощавый, темноволосый старик всегда тщательно одевался, аккуратно с ножом и вилкой кушал, был церемонно вежлив и не выказывал предпочтения никому из обитавших на даче людей, но однажды когда жарким воскресным днем моя старшая кузина уселась за обеденный стол в купальнике, ни слова не говоря, поднялся и вышел.

Всем сделалось неловко, кузина оправдывалась духотой, а мне было ужасно жалко несчастного, одинокого, нелепого в глазах окружающих человека, женатого вторым браком на цыганке, с которой он познакомился в Туле на колхозном рынке, где та торговала папиросами и заморозила его на всю оставшуюся жизнь, некогда красивого и сильного, прошедшего всю войну офицера, а теперь болезненного и мнительного, воспитанного, как и его сестра, совсем для другой жизни, но в отличие от нее себя не нашедшего в новом мире — и верней всего в моем остром чувстве к нему был голос крови, родства, общей участи и судьбы.

А потом дядя Юра и бабушка поссорились. Это случилось после того, как в небольшой коммунальной квартире на улице Обуха возле Курского вокзала, где старик поселился со своей чернявой, золотозубой цыганкой, молодая соседка купила своей дочери собаку. Цыганка потребовала, чтобы пса удалили, угрожала довести дело до милиции и суда, и как ни умоляла их мама девочки согласиться, как ни убеждала, что пес будет все время в комнате и ничуть их не беспокоит, настояла на своем. Собаку пришлось умертвить, и простить этого брату бабушка не смогла. Она написала и отослала своей снохе гневное стихотворение:

История Герасима с Муму  
Нам с детства хорошо знакома.  
Однако в толк я не возьму,  
Ужель жива та барыня в хоромах?

— и дядя Юра перестал в Купавну приезжать, а я теперь думаю: как оскорбительно, оказывается, для моей бабушки звучало слово «барыня».

Предпоследняя дедова жена Нина Ивановна умерла в половине семидесятых, когда самому ему пошел девятый десяток. К той поре дед сделался очень грузным, страдал одышкой, но ни жизненная сила, ни кураж не оставляли его — эти часы были сделаны с мощным заводом и рассчитаны еще на много лет. Старик по-прежнему совершал обход девяти сберегательных касс, по-прежнему жил от тиража до тиража облигаций трехпроцентного займа, а когда уставал, садился на лавочку отдышаться и, по мере того как дыхание его успокаивалось, засыпал. Случалось, к живописному, похожему на глыбу филевскому антику в древнем кожаном пальто на меху подходили на улице ассистенты режиссеров и предлагали сняться в массовке исторического фильма, обещая заплатить за день съемки пять рублей. Он не соглашался почему-то, но всегда с гордостью об этом рассказывал. Однажды возле «Метрополя» подошли двое иностранных журналистов с микрофоном и спросили о самом памятном событии в его жизни. «Девятнадцатый год. Нежин. Я предрика, даю команду взорвать спиртовой завод, где началась повальная пьянка. Я предотвратил еврейский погром», — не задумываясь, отвечал Алексей Николаевич, и вечером дедушкины слова услышал по Би-Би-Си и передал сестре дядя Юра.

Овдовев, дед стал чаще обычного приезжать к нам в гости сначала на Автозаводскую, а потом в Беляево, куда мы переехали. Он побывал в Купавне и дал денег на то, чтоб построить в доме печку и расширить террасу, на которой не помещалось его массивное тело. К старости он сделался болтлив и занудлив и любил

изводить бабушку разговорами о двух вещах: о превосходстве своего дворянского происхождения над ее купеческим, а также о непочтительности детей и внуков. Аристократически равнодушная к первой теме, но не терпевшая нападок на ближних бабушка приходила в необыкновенное раздражение и взвивалась, дед только этого и ждал — провокационность была его второй натурой и чужая энергия была нужна ему как воздух, он подзуживал бывшую жену, нажимая на самые болезненные точки; эти визиты утомляли бабушку, но гнать его от себя она не гнала, а кормила, поила, стирала ему. Он поселился у нас в квартире в большой проходной комнате за шкафом, который поставили поперек стены, а бабушка жила на другой половине, на проходе, на перекрестке, как прожила она свою жизнь, всем открытая и доступная. Иногда они ссорились, и дед надолго исчезал, тогда раз в неделю к нему на Фили ездили дети: старший сын вел с ними беседы, средний купал, а дочь готовила еду.

К той предзимней своей поре бабушка начала внутренне меняться. Но это было не просветление и умиротворение, которое дается перед смертью людям смиренным и кротким — это было последнее возмущение ее своевольной души и страстной, непокорной влюбленности в жизнь. Она чувствовала, что не может управлять домом как прежде, силы, никогда ей не изменявшие, оставляли ее, и от этого она приходила порой в уныние и в дурное расположение духа. Умевшая жить и любить — она не умела болеть и умирать. В ту пору она как-то рассказала мне, что до революции всей семьей они ходили вечером в четверг перед Пасхой в храм, где читали двенадцать Евангелий, а после с зажженными свечками возвращались домой, и надо было постараться сделать так, чтоб свеча в твоей руке не погасла. Я не очень хорошо понимал, что значит

двенадцать евангелий, тем более, что и одного-то Евангелия в нашем доме не было. Но разговор этот, в котором странным образом мне почудилось неясное сожаление, врезался в мою память, и долго мне еще представлялась высокая рыжеволосая девочка, которая идет по улице со свечой в руках, закрывая узкой ладонью от ветра ее колеблющееся пламя. Да будь она благословенна!

А между тем жизнь текла положенным чередом, росло, волновалось, кипело и теснило к гробу прадедов племя ветреных потомков, подрастали мы с сестрой, жили тесно, а дед оставался один на Филях в двухкомнатной квартире с изолированными комнатами, не кооперативной, но принадлежавшей московскому Западному порту, и было понятно, что его жилую площадь надо как-то удержать, но как? Прописать к нему внучку не позволяли законы, и единственное, что оставалось — совершить родственный обмен: прописать на Филях бабушку с моей сестрой, а в Беляеве — деда. Однако старик заупрямился: он не хотел съезжать из своей квартиры даже условно, не хотел быть прописанным на одной площади с коммунистом-зятем, и единственный способ сделать так, чтобы он оставался у себя по документам — лежал через загс. Деду нужно было жениться — и на этот раз действительно в последний раз — на бабушке. Он согласился легко — да и что ему было поставить очередной штамп в своем многострадальном паспорте? — а вот бабушка пришла в ужас. Идти снова с дедом под венец, пусть и гражданский, ничего не значащий, в свои семьдесят семь, снова становиться его женой, хотя бы и на бумаге — то было выше ее сил.

Однако иного выхода из этого какого-то юрийтрифоновского сюжета не было, и так закольцевалась бабушкина судьба. Под самый конец жизни она принесла свою последнюю жертву и ради

детей своей дочери вторично вышла замуж за человека, который подарил ей счастье, муку, боль, отчаяние, который терзал ее, изводил и кроме которого как женщина она никого не знала. Что испытала она, когда ровно полвека спустя после ее первого похода в ЗАГС, ее вновь объявили новобрачной и она стояла рядом с тем же самым мужчиной, с кем при ином стечении обстоятельств могла бы отметить золотую свадьбу, Бог весть.

После этого бабушка прожила еще четыре года. Умирала она тяжело, в полном сознании, от неоперабельного рака, мучаясь невыносимыми болями в желудке. Незадолго до смерти ей исполнился восемьдесят один год. На прощальный день рожденья собрались те самые шестнадцать человек, кого она считала своей семьей и кем, мыслила, управляла всю жизнь словно челном. Однако теперь весло выпало из ее рук, и празднество вышло невеселое.

— Вот и на поминках своих побывала, — молвила хозяйка, когда гости разошлись, оглядывая опустевший стол с неприбранной посудой, и добавила: — Мне б до лета дожить. Еще до одного лета.

Но этого ей суждено не было. Через две недели она легла в Первую градскую больницу, а месяц спустя в Страстной Четверг умерла в больничной палате на руках у старшей невестки, которая до последнего дня за ней ухаживала. В Светлый Понедельник бабушку похоронили, и так получилось, что это был действительно последний раз, когда собралась вся большая семья — сразу после бабушкиной смерти она дала трещину, и годами хранимые и только ради нее удерживаемые обиды друг на друга выплеснулись наружу. Бабушкин идеал жить «суместно обместях», который она наперекор всему воплощала в жизнь, с нею же навсегда и ушел.



Дед пережил последнюю жену на два с половиной года. Он умер в восемьдесят семь у себя дома во сне, видимо, даже не поняв, что с ним случилось, и я верю в то, что бабушка своими страданиями облегчила его земную участь. Похоронили их рядом в родовой могиле Коняевых на Введенском кладбище.

Удивительная это могила! Окруженный со всех сторон красивыми мраморными и гранитными надгробьями и памятниками — армянскими, еврейскими, немецкими и даже испанскими — стоит по соседству со знаменитыми учеными, актерами, писателями и генералами простой четырехконечный грубый деревянный крест с выцветшей краской и табличкой, на которой с трудом можно разобрать стершиеся имена бабушкиных теток — Надежды и Еликониды. Чуть ниже, на том же кресте, прибита металлическая табличка «Мясоедова Мария Анемподистовна». Жестяная дощечка с именем деда вкопана в землю справа от креста. Могила обнесена решетчатой оградой, но калитки в ней нет и подхода к могиле нет тоже, точно этот последний приют навсегда заперт, и ничто не напоминает о том, что здесь лежит прямой потомок славного дворянского рода, внесенного в родословные книги нескольких губерний. Дядюшка мой, называющий могилу на советский манер «коммунальной», уверяет, что дедушка и бабушка ведут нескончаемые разговоры о том, как не повезло им с одним из внуков. Что ж, ему видней...

С той поры, как двое Мясоедовых на этом погосте упокоились, прошло много лет и каких лет! За эти годы мне довелось повстречать самых разных людей — очень известных и нет, необыкновенно умных, одаренных, талантливых, с поразительными биографиями и судьбами, на фоне которых жизнь моей бабушки может показаться не такой уж необычной. Мало ли кто и что испытал в русском двадцатом веке. Но чем дальше по

времени уходит от меня эта женщина, тем более величественным предстает ее образ, тем сильнее я склоняюсь перед ним и ясней понимаю, как счастлив был оттого, что знал ее в самую прекрасную пору своей жизни и как ничтожно мало сумел от нее перенять.

**Дом в деревне**  
***Повесть сердца***

О доме в деревне я мечтал много лет. Читал объявления в газетах, расспрашивал знакомых, ездил по Тверской, Владимирской и Рязанской областям, забирался в отдаленные уголки — но нигде мне не везло. Все хорошие избы, особенно в красивых местах, по берегам озер и рек, были раскуплены горожанами. Самые оборотистые приобретали не по одной, а сразу по нескольку и потом втридорога продавали их под дачи. Мне же хотелось жить в деревне, а не в дачном поселке. Да и денег у меня столько не было. Тогда, отчаявшись найти что-либо недалеко от Москвы, я отправился на север, за Вологду.

Те края были мне немного знакомы. В ранней молодости с будущей женой мы сплавились на резиновой лодке по извилистой каменистой речке Вожеге. В непогоду едва не потонув, пересекли громадное озеро Воже, а потом попали и вовсе в глухие безлюдные места, толком не обозначенные на туристической схеме. По неведомой полноводной реке Еломе плыли несколько дней наугад мимо подтопленных лесистых берегов, где негде было поставить палатку, и ночевали в охотничьих зимовьях. В этих маленьких крепких избушках никогда не закрывались на замки двери и всегда имелся запас спичек, соли и чая. У нас кончилась еда, и мы обходились грибами, рыбой и самодельными лепешками из муки, пили горький чай, мерзли и мокли, пока наконец, не веря в собственное спасение, не добрались до населенных мест. Никто не верил нам, что мы одни проплыли такое большое расстояние, старухи качали головами и говорили:

— Бесстрашники.

Будущая жена всхлипывала от жалости к самой себе и горьких мыслей, с кем ей придется связать судьбу. А я был беспечен и беспечален: долгие полунощные закаты, пронзительные и сочные северные цвета, открытые люди, одаривавшие нас хлебом и молоком, большие рубленые дома, заросшие ягодой поляны и мшины — все это запало мне в душу. Теперь я снова сюда вернулся, уже не как турист, а желая прочно обосноваться на этой земле и, если не навсегда переселиться, то по крайней мере жить здесь подолгу.

Я был уверен в том, что в полупустых деревушках подыскать задешево избу будет несложно. Однако когда стал снова на той же самой резиновой лодке сплавляться по Вожеге и заходить во встречавшиеся по пути селения, спрашивая: не продает ли кто избу? — на меня повсюду смотрели настороженно и отвечали, что продажных домов нет. Несколько удивленный неблагозвучным сочетанием и тем, что и здесь изб нету, я сел в лодку и плыл дальше, гадая, где и в какой деревне дожидается меня мой дом.

Была середина июня, но здесь еще не отцвела и остро пахла черемуха. Я плыл белыми ночами допоздна, в понравившемся месте на берегу реки ставил палатку, рыбачил, подолгу сидел у костра, ворошил угли, пил чай, слушал соловьев, потом спал до полудня и снова плыл. Неширокая, но бурливая в позднем весеннем половодье речка весело и скоро несла меня вместе с бревнами и ветками над каменистыми перекатами мимо сумрачных сырых лесов, маленьких зеленых островов, прибрежных покосов, полей, песчаных отмелей, обрывистых берегов, глубоких оврагов, заброшенных хуторов и полуразрушенных мостов и плотин. Деревень то не было вообще, то встречались очень густо — кустами. Они стояли у самой реки, так что избы отражались в прозрачной воде, либо на высоких берегах, откуда открывались темные лесные дали, и

были каждая по-своему необыкновенно живописны. Но всюду, куда я ни приплывал, повторялась та же история: на меня подозрительно косились, кое-где спускали собак и хорошо что не били.

Пустовавших домов в здешних деревнях было конечно достаточно, и только позднее я понял, в чем дело. Молодой, бородатый, я казался местному населению кем-то вроде беглого заключенного. Побег из колоний, располагавшихся к северу от Вожеги, убийства и грабежи в этих краях иногда случались, обрастали жуткими слухами и наводили на людей ужас. Наверное, поэтому каждый незнакомец воспринимался как возможный злодей. Надо было делать иначе. Найти знакомых и пожить в деревне, чтобы к тебе присмотрелись. Но я был со всех сторон москвичом Бог знает в каком поколении, и, видимо, все мои попытки поселиться здесь были обречены. И все-таки больно мне хотелось иметь свой дом.

Мне было тогда двадцать шесть лет. Я окончил университет, пробовал себя в литературе и издал небольшую книжку рассказов. Но и жизнь моя, и будущее казались такими неопределенными и неясными. Мне нужен был дом в деревне как точка отсчета, чтобы создать самого себя и вырваться за те границы, которые ставило передо мною благополучное городское существование.

После целого дня сплава, когда по пути не попалось ни одного селения, кроме двух заброшенных хуторов в устье правого притока Вожеги речки Чужги, река расширилась и потекла ровнее. Высокие деревья отражались в покойной темной воде, из которой местами торчали громадные серые валуны. Вскоре с правой стороны я увидел изгородь — верный признак приближающегося жилья. Она тянулась довольно долго, но вот показались и темные скаты деревенских крыш. Оставив лодку у плота, с которого полощут

белье, по заливному лугу я стал подниматься в пологую горушку к незнакомой прибрежной деревне. В этот полуденный час она выглядела совершенно пустой. Только возле маленького магазина, такого же старого и темного, как и деревенская изба, сидел под навесом на низком крыльце скуластый старик с блеклыми голубыми глазами и жидкой бородкой.

Я поздоровался. Дед посмотрел на меня спокойно и отрешенно.

— Не работает сегодня ларек.

Накануне я простыл, меня одолевала усталость и озверевшие июньские комары. Я уже не думал ни о какой избе, а хотел вернуться домой и выкинуть вон бредовую идею сделаться сельским жителем.

Я тупо уселся рядом с дедом, закурил и угостил его сигаретой. Старик вздохнул и, и даже не жалуясь, а угрюмо констатируя факт, молвил:

— А нам уже месяц товаришки курево не возят.

— Берите всю пачку, у меня еще есть.

Мы посидели, покурили, и без всякой надежды я спросил его про дом.

— Есть одна изба на отставе, — сказал он, задумчиво глядя на меня холодными выцветшими глазами.

Дом стоял в поле. Он был сложен из растрескавшихся от времени толстых бревен, на высоком подклете, с крытым двором и пятью окнами, выходившими на коровий прогон. Со всех сторон его окружала ничем не закрытая линия горизонта, уходившая за дальние холмы и леса, и казалось, что дом как будто нарочно поставлен в самом центре идеальной окружности и все вращается вокруг него.

Внизу текла река, а у порога начиналось и, сколько было видно глазу, тянулось июньское разнотравье и разноцветье. Крапива и репейник росли возле самых стен. Окна были забиты досками, на воротах в нижней части двора висела цепь с ржавым замком. Ветки рябины и черемухи упирались в высокие бревенчатые своды и лежали на покрытой тесом крыше. Покосившийся забор перед домом не падал только потому, что держался на кустах черной смородины и малины. Дом действительно, казалось, стоял и дожидался меня много лет. От страха, что он может мне не достаться, уйти, как уходит уже схватившая приманку или блесну большая и сильная рыба, у меня заныло сердце.

— А хозяева где живут? — спросил я у деда торопливо.

— В «Сорок втором».

— Где это такое?

— Да так-то близко, а только тебе, парень, далеко будет туда добираться, — туманно ответил дед.

«Сорок вторым» оказался местный леспромхоз, который, недолго думая, назвали по номеру лесного квартала. Путь туда и в самом деле занял у меня почти целый день. По прямой через лес до поселка было



километров десять. Но поскольку лесной дороги я не знал, мне пришлось на попутной машине вернуться за пятьдесят километров в райцентр и проехать на пассажирском поезде до следующей совсем крошечной станции. Оттуда по узкоколейке в полупустом трясущемся вагончике я еще долго ехал через лес с остановкой на обед в леспромхозовской столовой, пока не добрался до этого странного места, возникшего лет сорок тому назад прямо на лесной вырубке.

На первый взгляд селение напоминало партизанский лагерь времен Отечественной войны. Или просто лагерь. Большая плоская поляна, окруженная со всех сторон молодым лесом, бараки, лесопильня, одинаковые дома. Ничего похожего на деревню, которая всегда стоит на приволье, где каждая вторая изба — произведение искусства и каждая первая на свое лицо, здесь не было.

После реки с ее красивой долиной, холмами, дорогами, оврагами и полями, после всей этой обжитой, ухоженной и веками приспособленной для жизни человека местности, где все ласкало глаз и радовало сердце — здесь среди леса, сырости, болотных кочек и проложенных повсюду дощатых дорожек, без которых ноги провалились бы в трясины, ощущалась затхлость и спертость. Что-то ужасное должно было заставить людей побросать родовые гнезда. Других дорог кроме узкоколейки к «Сорок второму» не вело, и его обитатели жили в постоянном ожидании, что теперь, когда весь лес в округе вырубил и леспромхоз стал нерентабельным, поселок закроют. Лишенные возможности ездить на машинах или мотоциклах, они приспособили под свои нужды узкоколейку, соорудив самодельные дрезины, именуемые пионерками. На этих пионерках по многочисленным и ветвистым усам объезжали окрестные леса, успевая раньше всех собрать грибы и ягоды.

Тут-то и жила хозяйка приглянувшейся мне избы Анастасия Анастасьевна. Когда нежданно-нежданно я появился у нее на пороге и обмолвился насчет дома, руки у нее опустились, будто я принес горестную весть.

«Неужели откажет?» — подумал я тоскливо, представляя мнительный деревенский характер, избегающий всяких перемен. Однако я ошибался.

Крепкая пятидесятилетняя Тася Мазалева мало походила на хрестоматийный образ темной безграмотной старухи, которую обманывает заезжий столичный жулик и покупает за бесценок вековой деревянный дворец. В деревенском доме она не жила лет двадцать, с тех пор как переехала в «Сорок второй», не знала, кому его продать и что с ним делать. С годами изба разрушалась и падала в цене. Огорода не было, земля вокруг не была обнесена никаким забором и использовалась для покоса. Я был первым покупателем, но почувствовав, что дом мне понравился, сметливая женщина назвала какую-то сумасшедшую цену плюс я должен был заплатить госпошлину.

Торговаться я не стал. Как раз в ту пору в моей жизни случилось горе: умер отец. Все деньги, что он оставил мне в наследство, я был готов истратить на дом. На пионерке с хозяйкой и ее молчаливым сдержанным сыном мы поехали километров за двадцать в сельсовет. Дрезина везла нас через лес, наступавшие на узкоколейку ветки деревьев и кустов хлестали по лицу. Кое-где рельсы были разобраны и приходилось слезать и перетаскивать машину на руках. Мы проносились над речками и ручьями, и я жадно смотрел по сторонам, привыкая к новой местности.

В сельсовете, однако, выяснилось, что для покупки необходимо согласие председателя колхоза. Жуликоватого вида мужичок, спущенный из района в это отсталое хозяйство под названием колхоз «Вперед»

и мало походивший на должностное лицо, сперва заупрявился.

— А на кой ляд ты мне тут нужен? Ты ж не станешь в колхозе работать. Ко мне сейчас беженцы с Узбекистана едут. Вот они и купят избу.

Я был в отчаянии, а Анастасия Анастасьевна с сыном в досаде — где б еще они нашли такого щедрого покупателя? Однако красного председателя переубедили трезво мыслящие трактористы.

— Да не... Никто эту избу не купит. Она на отшибе стоит. Туда если кого и поселишь, зимой дорогу чистить трактором придется.

— Ну смотрите, мужики, вам с ним жить, — обронил председатель и, не глядя на меня, вышел.

В чистеньком здании сельсовета я вручил гражданке Мазалевой три тысячи рублей и, заплатив еще пятьсот за налог, получил бумагу, свидетельствующую о том, что отныне я являюсь владельцем дома в деревне Осиевской Бекетовского сельсовета Вожегодского района Вологодской области, после чего довольные друг другом мы расстались. Сумма, конечно, была немалая. Но случилось это незадолго до гайдаровской реформы и деньги все равно бы у меня пропали. Я только очень надеюсь, что добрая и разумная Анастасия Анастасьевна, к которой я не испытываю ничего кроме благодарности, сумела вовремя и толково их использовать.

Тем не менее когда позднее в деревне меня спрашивали, сколько я заплатил за Тасину избу, расчетливые колхозники укоризненно качали головами, осуждая расторопную землячку, а ко мне с самого начала отнеслись как к человеку, которого всерьез воспринимать нельзя.

Я был для них чем-то экзотическим и не поддающимся объяснению, чего деревенская душа пугается и не любит. В эти края не забрался еще ни

один москвич или ленинградец, и никакие беженцы из Узбекистана селиться на холодном севере тоже не желали. Дома покупали обычно те, кто тут родился, потом уехал и на старости лет вернулся. Они засаживали землю картошкой, капустой и луком, разводили в теплицах огурцы и помидоры, держали скотину, летом к ним приезжали внуки из Оленегорска, Северодвинска, Никеля и других красиво поименованных, но малоприспособленных для жизни промышленных северных городов. Что делал здесь я и для чего истратил столько денег, они не понимали. А скажи я им о своем народолюбии, только пожали бы плечами.

Однако огорчить меня не могло ничто — у меня был свой дом. Это был так называемый передок — просторная и светлая летняя изба-пятистенок, к которой когда-то примыкала маленькая зимовка. Полгода семья жила в передке, полгода в зимовке, где было теплее и не надо было тратить столько дров. Но зимовку Тася давно уже продала на вывоз, и от нее остался только заросший крапивой фундамент. Под одной крышей с летней избой стоял большой двор — хозяйственная половина дома. Нижняя часть двора отводилась для скотины, а наверху лежало сено и находился сенник — тесная комнатка, запиравшаяся на амбарный замок, где хранились инструменты и где впоследствии я держал самые ценные вещи, вроде электрической плитки, самовара и рыболовных снастей.

Таких домов, побольше, поменьше, одноэтажных и двухэтажных, покрытых шифером, рубероидом, дранкой или просто тесом, с террасками или без, в округе было много. Они все чем-то друг на друга походили и чем-то отличались, как походят и отличаются деревья одной породы. Но главная достопримечательность моей избы состояла в том, что ее не успели переделать внутри на городской манер, как почти все здешние квартиры. В ней не было ни обоев, ни побеленных потолков, ни полированной мебели, ни покрытых линолеумом полов. В просторной чистой горнице стояли вдоль стен широкие лавки, посредине стол и русская печь. Гладко обтесанные еловые бревна источали янтарно-розовый свет. Меж теплых бревен темнел мох. Окна, которые не мыли лет двадцать, сияли чистотой, как перед Пасхой. Сам дом был полон странных гулких звуков, так что его, как раковину, слушать можно было часами.

Но слушать было жутковато. Первый раз я приехал сюда с другом, который рассчитывал прожить со мною недели две. Но уже на следующий день товарищ вспомнил о неотложных делах, засобирался и оставил меня одного, толком не объяснив причины.

Стояли белые ночи, я не мог уснуть, лежал и думал о том, что здесь делаю, зачем истратил столько денег и купил чужую избу, зачем привязал себя на долгие годы к одному месту, отдал рюкзак и легкую палатку за это становище, сменив милое моему сердце кочевье и ночной костер на оседлость и русскую печь.

В юности я много ездил: бывал в фольклорных и этнографических экспедициях в Средней полосе, в Прикарпатье и Закарпатье, строил дома в Казахстане, несколько недель жил в деревне на берегу Белого моря и восстанавливал деревянную церковь, ходил пешком по безлюдным северным деревням вдоль реки Онеги, поднимался в горы и спускался под землю, плавал по громадным карельским озерам, сплавлялся по Ветлуге и Пре, по Оке и по Волге, по Западной Двине и Березайке, бывал на Кавказе, в Закавказье, на Урале, в Сибири и даже на Дальнем Востоке. Ночевал в лесу под открытым небом, в стогах сена, в ледяных пещерах и заброшенных штольнях, в охотничьих зимовьях на Байкале, в палатках, больших и маленьких избах, гостиницах, сельских общежитиях, сараях, деревенских школах, речных судах, монастырях и даже на колокольне. Но все эти места были временными. Я навсегда уезжал и уже по дороге домой придумывал новые маршруты, сравнивая достоинства речек и озер, их прелести и красоты.

Изда в Падчеварах ставила точку в моих исканиях, как запоздалая женитьба. Отныне, куда бы я ни собрался поехать, моя отлучка была бы сродни супружеской измене. От этого было мне чуть грустно — точно, приобретя дом, я потерял в свободу и

независимую, никому не подвластную молодость. Но еще больше печалила тайная мысль, которую я гнал прочь, но она все равно прорывалась, ясная и единственно верная мысль, что как бы я ни рассуждал и чего бы ни выдумывал, как бы ни рассказывал всем с восторгом о громадном северном доме, хозяином которого я стал — *домом*, эта, не мной, не моим отцом, не дедом и не прадедом срубленная изба все равно никогда не станет.

Я вспоминал снова Тасю — ее радость от того, что она получит деньги, и печаль от расставания с отчим домом. Потом вставал и шел на двор, отворял верхние ворота и подолгу курил сигарету за сигаретой, отгоняя комаров и бездумно глядя в сизую даль.

Река, изгибаясь, уходила в ту сторону, где светилось на севере небо. На ее берегах стояло несколько деревень. На высоком правом — Наволок, напротив него — село Сурковское, чуть дальше на большой дороге — Барановская и Назаровская. Дом находился на границе еще двух селений — Осиевской и Кубинской, а на другом берегу была деревня Куклинская и заброшенное сельцо Тимошкино. Весь этот куст из восьми деревень, так или иначе выходивших на реку в ее среднем течении, назывался странным и таинственным словом Падчевары. Ни происхождения, ни значения этого какого-то молдавского на слух речения никто не знал (как, впрочем, не знал никто, почему одна из соседних с Падчеварами деревень называлась Бухарой).

Был в Падчеварах свой колхоз, были ферма и молокозавод, телятник, ремонтные мастерские, пилорама — обыкновенное хозяйство, по показателям в районной газете «Борьба» болтающееся всегда в нижней части сводок. С моей горюшки Падчевары были видны как на ладони, и дом с возвышавшимися рядом с ним деревьями — тремя высоченными осинами и

березой, растущими словно из одного корня — тоже можно было отовсюду разглядеть. Изба стояла одиноко, после того как в середине тридцатых годов в Осиевской случился пожар — на Пасху ребяташки баловались с огнем и выгорело треть деревни. С тех пор никто строиться заново на этом конце не стал. Огороды отдали под покос, а колодцы завалили камнями, чтобы случайно не провалилась скотина. И вот теперь на чудом уцелевшем хуторке поселился никому не ведомый человек. Не родня, не знакомый, а Бог знает кто и, что было от этого человека ожидать, тоже никто не знал.

Ночью я как-то особенно чувствовал на себе настороженные взгляды округи. Это была наверное моя мнительность — в Падчеварах все спали, лишь иногда проезжал мотоцикл или трактор. В сыром воздухе звук распространялся сочный и пронзительный, и снова наступала тишина. Ближе к утру наплывал туман. Деревни, дороги, поля, перелески и река исчезали, и чудилось, что под ногами начинается озеро, из которого торчат верхушки деревьев и телеграфные столбы. В эти минуты мне становилось так тревожно, что я уже жалел о своем приобретении и казался самому себе самозванцем, временщиком, не по праву вторгшимся в чужую землю и занявшим чужое владение.

В избе я нашел Тасины тетради и фотографии, письма, выкройки и старый молитвослов, где поминался несчастный император Александр Николаевич. Все эти следы недавней живой жизни смущали меня. Позднее в деревне мне сказали, что Тасин муж Сергей после их переезда в «Сорок второй» повесился. Его везли через зимний лес и замерзшую речку на трелевочном тракторе мимо этого дома на кладбище. Никто не знал, что толкнуло его наложить на себя руки, но когда я вспоминал номерной поселок, мне казалось, что один



только казенный пейзаж его мог довести, выросшего на воле человека, до чего угодно.

Будь Сергей жив, не стала бы Тася продавать избу. Может быть даже перебралась бы на старости со своей тесной лесной поляны жить сюда на привычный ей с детства простор, и мне было не по себе от невольного прикосновения к чужой трагедии.

Все изгоняло меня отсюда. Изба была совершенно не приспособлена для жизни. Уезжая в «Сорок второй», хозяева вывезли весь кухонный скарб. Не было даже ложки и стакана. Электричество к дому не подвели, когда перекрывали крышу над передком, разобрали вывод для печи, так что я не мог ее истопить и потому оказался в полной кулинарной блокаде. Мне не на чем было сварить картошку и вскипятить чай, и я ел тушенку с хлебом, запивая ее колодезной водой.

Первые дни ничего не делал, а только ходил по избе. Спускался вниз и поднимался на чердак, где остались старые ткацкие станки, громадные деревянные мучные лари, оборудование для варки пива, колодки для изготовления обуви, сани, плуг, хомуты, деревянные вилы и грабли, прясла, коромысла, коробка, корзины, лукошки и десятки других вещей, о которых я понятия не имел, как они называются и для чего служат. Я стоял среди этого богатства, как археолог на обломках обнаруженной древней цивилизации, и неловким движением боялся что-то нарушить. Рядом протекала незнакомая таинственная жизнь. Прогоняли стадо коров, и они заунывно дребезжали колокольчиками, косили сено женщины в цветастых платьях и надвинутых на лоб платках, тарахтели трактора. Где-то на краю играла вечерами гармошка и слышны были поющие голоса. Сбылось то, к чему я стремился, пускаясь в эту авантюру — я жил в деревне. Но как в ней жить — я не знал.

Подобно простодушному провинциалу, который, приехав в Москву, с энтузиазмом бросается ходить по театрам и музеям, я мечтал окунуться в крестьянскую жизнь. Но как испытывает и выталкивает всех недостойных надменная столица, так и деревня меня чуждалась. Скорее всего мой безрассудный и наивный замысел прижиться здесь не удался бы, когда бы вскоре у меня не появился вожатый. Это был тот самый высокий негнувшийся старик, который и сказал мне про избу. Он приходился Тасе двоюродным братом, и звали его Василием Федоровичем Малаховым.

В здешних деревнях, как наверное и везде по крестьянской России, стариков осталось мало. Все больше доживают век старухи, чьих мужей повыбила то война, то пьянка, то тюрьма, то просто тяжкая жизнь и болезни. Но те немногие деда, что уцелели, поражают несуетностью и удивительной внутренней красотой.

Василию Федоровичу было под семьдесят, но был он еще крепок и зол на работу. Делать дед умел кажется все: плотничать, столярничать, шить, катать валенки, варить пиво, ходить за скотиной, охотиться, чинить любой инструмент от сенокосилки до трактора. Дружба с ним была самым большим чудом во всей моей деревенской эпопее. Дедушку трогала моя беспомощность и одновременно с этим упрямое желание до всего докопаться.

Днем я ремонтировал дом, чинил загороду, косил сено, делал лестницу, лазил на крышу и сооружал вывод для печи, мастерил стол на кухне и полки. А вечером шел к Василию Федоровичу и отчитывался о проделанной за день работе. Дедова жена баба Надя наливала нам чаю и в качестве угощения ставила на стол вареный сахар, который сама готовила из песка за неимением рафинада. Напившись из блюдец «жареной воды» вприкуску, мы выходили со стариком на терраску, покуривали и беседовали о жизни.

Диалоги наши напоминали разговор деда с внучком, изводящим взрослого человека бесконечными «почему?» и «а это что такое?». Старик часами рассказывал про доколхозное жите-бытье, которое помнил пацаном, про отличные дороги, соединявшие Падчевары с Кирилловым и Каргополем, а ныне заросшие и непроходимые, про мельницы, обозы,

набитые рыбой и зайцами, про столыпинскую реформу и хутора, порушенные в коллективизацию, про удивительных людей, которые некогда населяли эту землю и казались мне мифическими.

— Избу твою один человек строил. Божат мой Анастасий Анастасьевич.

Имена, надо сказать, и в самом деле здесь встречались удивительные: Флавион, Филофей, Галактион, Текуза, Руфина, Манефа, Адольф, Виссарион, Ян, Ареф, Африкан (до той поры я был уверен, что отчество Ивана Африкановича Белов сочинил — ничего подобного, в Бекетове автобусника звали Борисом Африкановичем).

— А как можно одному такую махину построить? — усомнился я.

— Да как? Заводил веревкой бревна наверх и рубил потихоньку.

Одинова раза свалился с двенадцатого венца, только изматюкался и опять залез. Потом оказалось — два ребра сломал. Солдатом дедка звали. Все войны от русско-японской до отечественной прошел. Жена у него рано померла — дак четыре года две девки малолетки одни тут жили. А в колхоз так и не пошел. Два раза избу описывали за неуплату налогов.

— Куда ж тогда деваться?

— А куда хочешь, — отвечал дед зло. — Товаришшам до того дела не было.

Порой к великому неудовольствию бабы Нади мы с ним выпивали и сидели до самого утра. Захмелев, Василий Федорович становился разговорчивым. Однако водка его не оглупляла, а как-то молодила. Он вспоминал детство, сыпал стишками и прибаутками, частушками, загадками и быличками. Но из всего, что он рассказывал, моя память в точности сохранила только одну загадку.

— Батяка меня, знаешь, как наставлял: утром выйдешь в поле — первый ни с кем не здоровайся.

— Почему?

— Вставать надо раньше всех, — усмехнулся дед. — Вот и не с кем здороваться будет.

Чем больше я узнавал этого человека, тем больше недоумения и горечи вызывала у меня его судьба. Он без сомнения принадлежал к той породе невероятно одаренных русских людей из простонародья, что и Михайло Ломоносов, но только с искореженной судьбой. Если бы в молодости, как многие из его сверстников, он уехал в город и стал учиться, то наверняка добился бы в жизни многого. Не зря говорил шукшинский чудик, киномеханик Василий Егорович Князев:

«— Да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в черной рамке, так, смотришь, выходец из деревни.»

Но до сорока лет дедушка Вася имел лишь начальное образование, полученное в первых четырех классах сельской школы. Когда я спросил его однажды, почему он не стал учиться дальше, обычно словоохотливый старик коротко бросил:

— Не захотел.

И больше не сказал ни слова.

Потом я понял, что дело тут было в глубокой личной обиде. Редко я встречал человека, который бы так искренне и страстно, а самое главное не вставая в позу, за дело ненавидел коммунистов и Советскую власть. Подобно Анастасию Анастасьевичу всю свою жизнь, как его ни звали и ни принуждали, дед не вступал в колхоз, а зарабатывал тем, что ходил с артелью плотников по району. Потом, когда на речке Вожеге построили маленькую ГЭС, стал работать на ней механиком. Для этого надо было получить специальное образование, и, взрослый мужик, он уехал в Великий Устюг и уселся с пятнадцатилетними пацанами за парту.

В деревне моя дружба с Малаховым казалась странной. Дед был человеком довольно высокомерным и всех держал на отдалении. Я думаю, причина его заносчивости заключалась в том, они были колхозниками, а он остался свободным и презирал их за рабство. Он никогда не высказывал этой мысли прямо и возможно даже не додумывал ее сам до конца — но несомненно чувствовал, что он всех, включая колхозное начальство и уполномоченных, на голову выше и заслуживает иной жизни и иного к себе отношения.

Его презрение к общественному строю доходило до такой степени, что заядлый охотник, он даже перестал охотиться после того, как в области ввели охотничьи билеты и лицензии. Старик не мог смириться с тем, что на земле, где испокон века охотились его предки и никому не давали в том отчета, он должен идти к кому-то на поклон за путевкой. Новая власть была для него властью оккупантов, и он не хотел уступать ей ни в чем. Хотя когда его звали в особо трудных случаях поработать на пилораме или посмотреть сломавшийся механизм, он шел и помогал, довольный, что обойтись без него не могут.

После этого дед начинал поносить колхозное начальство за бесхозяйственность.

— Тракторов да комбайнов в колхозе, почитай, полсотни. А хлеб все равно из района возят. Как отняли у мужиков лошадей, так и не стало ничего. Ни дорог, ни хлебов. А мельницы зачем порушили? Нерентабельны стали? Чтоб мужика привязать! Мужик с лошадьё и мельницей плевать на всех хотел. Он сам проживет и сам решать будет, какая ему нужна власть. А теперь живем у товаришшей на их милости. Захоцут — привезут хлеб, а не захоцут — не привезут.

Сам он, когда весной сажал под картошку и лук, никогда не шел на поклон к трактористу. Брал колхозную лошадь, запрягал ее и перепахивал всю

загороду. Пока были силы, старики держали корову, теленочка или поросенка. В избе имелся стратегический запас спичек и соли, и мой одиночник был готов в любой момент оторваться от сельповского снабжения и пуститься в автономное плавание. Последние лет тридцать он никуда из деревни не выезжал и никакая сила не заставила б его тронуться с места. Он врос в эту землю, где родился и где, точно знал, что умрет. Однако при этом дедушка вовсе не был чужд достижениям науки и техники, обожал всяческие механизмы и сено косил не косою, а чешской сенокосилкой, которая постоянно ломалась и которую он с завидным упорством чинил.

Он казался мне осколком той рухнувшей цивилизации, следы которой, начитавшись беловского «Лада», я надеялся здесь найти. В своем прекраснодушии я воображал, что в русской деревне встречу живой христианский дух, но с грустью обнаружил обратное. Обитатели Падчевар к религии были равнодушны. Конечно же они по-своему молились Богу и просили о заступничестве. Но это был скорее родительский страх за детей и внуков, хозяйский — за огороды и скотину, вера, перемешанная с суеверием. Все церкви и часовни в округе порушили в коллективизацию, и до последнего времени ближайший храм находился в Вологде, до которой был день пути. Праздники для большинства селян давно превратились просто в лишний повод, чтобы выпить. Дед был вероятно единственным человеком на всю Осиевскую, кто читал старую Библию, на свой лад ее толковал и прочно держался старины. Со своей гордыней он вряд ли был большим христианином по отношению к миру — в его характере скорее было что-то старозаветное. Подобно тому как для староверов их неизменяемость обычаев есть знак приверженности дониконовской

эпохе, для Василия Федоровича она была знаком непоколебимой верности доколхозным временам.

Он более жил в прошлом, чем в настоящем и без устали рассказывал мне про былые деревенские торжества, которые помимо общих для всех крестьян Пасхи, Вознесения, Троицы, Петра и Павла, Ильи-пророка, Преображения, Успенья, Покрова, Николы и Рождества в каждом селе были своими и отмечались по престольному храмовому празднику. В Падчеварах таким был Михайлов день — двадцать первое ноября. На этот праздник, очень удобный по времени, оттого что приходился он много позднее окончания полевых работ, всей деревней под присмотром опытных стариков варили солодовое пиво. Тут же рядом крутились ребятишки, которым доставались вкусный солод и пряники, приходили гости из соседних деревень, и кумовья угощали пивом друг друга. Плясали до утра по избам и бродили по улицам с гармонью парни и девки. И хотя в тридцатые годы церковь Михаила Архангела разрушили, гулять и пить пиво продолжали еще долго, пока на хрущевской богоборческой волне не запретила поминать таким образом престол местная власть. Колхозники довольно легко смирились с запретом, променяв Михайлов день на праздновавшуюся двумя неделями раньше годовщину социалистической революции, или, как тут говорили, Октябрьскую, и ни понять, ни простить землякам этого отступничества дед в душе не мог. Правда, на Октябрьскую он тоже выпивал, поглядывая на всех колючими глазами, поносил последними словами Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина и, напившись, угрюмо декламировал:

Сидит Сталин на суку,  
Ест говяжью ногу,  
До чего же гадина



## Советская говядина.

или про Хрущева:

Безо всякого конфуза  
Прет и лезет кукуруза

Ему вежливо кивали, соглашались, посмеивались — но слушать не хотели. Он был невероятно одинок. Его единственный сын тоже нимало не походил на него. Кроме вина Васю маленького в жизни ничего не интересовало. Вася жил в соседней деревне и иногда заходил к отцу, но они казались совершенно посторонними людьми. Только худые лица и глубоко посаженные глаза указывали на их родство. Почему дед не смог передать ему хоть крохи своей богатой натуры, а сын хоть часть перенять, я не понимал. Но, видно, между ними что-то пролегло и попыток сближения они не делали. Старик помогал сыну по хозяйству — вместе косили, копали картошку, когда у Малахова-младшего никак не могла отелиться корова, дед принимал роды, но дальше этой взаимопомощи их отношения не шли.

Старуха своего мужа тоже не понимала. Разговоры и рассуждения о земле, о свободе, о власти, о коллективизации были ей чужды и вызывали страх. Она была, на первый взгляд, обычной деревенской женщиной — немного завистливая, суетливая, любопытная. Позднее стороной я с удивлением узнал, что одно время баба Надя была алкоголичкой. Поделаться с этим даже кремень Василий Федорович ничего не мог. Хотя злые языки утверждали, что он сам ее к вину приучил, ибо при его денежной шабашной работе водки у него бывало хоть залейся.

Потом пить баба Надя бросила и к вину больше не притрагивалась. Перенесенное пристрастие к алкоголю выдавали ее назойливые, испытывающие глаза. В ней тоже чувствовалось недовольство прожитой жизнью, но недовольство иного рода — обида не за общую крестьянскую судьбу, как у него, а только на свою личную долю. Она всерьез подумывала о переезде в город и даже участвовала в какой-то областной лотерее, где разыгрывались городские квартиры. Она очень привязалась и ко мне, и к моей жене, жаловалась на соседей и пыталась поведать в премудрости деревенской кухни, главное устремление которой состояло, на мой взгляд, в том, чтобы сделать дешево и невкусно. Впрочем, я был наверное слишком избалован, для того чтобы есть суп из одного только зеленого лука.

Я жил тогда в деревне довольно подолгу и в разное время года. Потихоньку наносил в избу добро — керосиновую плитку и лампу, кастрюли, сковородки, ведра, тазы, купил в местном магазине кровать, раскладушку и несколько стульев, благо товаров в глубинке в ту пору было больше, чем в столице. Из Москвы привез велосипед и постельное белье, утеплял двери и окна и готовился к тому, чтобы если здесь не зимовать, то в любой момент приехать и поселиться. Это были те годы, когда все говорили о близившемся голоде, читали «Новых робинзонов» Петрушевской, и я не исключал того, что в деревне придется пережить неопределенное время.

Дед всячески приветствовал мою деятельность. Он уговаривал меня взять в колхозе побольше земли, распахать ее и огородить — так как очень боялся, что эту землю снова отнимут и, пока не отняли, надо застолбить и не дать свершиться новой коллективизации. Он заводил иногда разговоры, которые ставили меня в тупик — о Сахарове, о Солженицыне, об опальном Ельцине и весь горел отмщением. Старик невероятно оживлялся, когда читал центральные газеты, смотрел съезды депутатов и был счастлив тем, что дожил до крушения коммунистической системы. В то время как вся деревня очень настороженно и даже враждебно относилась к переменам и грядущему развалу колхоза, без которого себя уже не мыслила — дед опять оказался один против всех.

Он не понимал мужиков, которые не хотели брать землю, не становились фермерами, а продолжали потихоньку разворовывать колхоз.

— Был бы я моложе. Эх, не стало меня, Олеша, не стало, — бормотал он и в который раз вспоминал, как ему пришлось отказаться от ветряной мельницы, из-за того что налоги на нее были непомерны велики.

Иногда этой одержимостью он напоминал мне покойного отца. В тишине деревенского дома, в одиночестве, когда на рассвете меня будили бегавшие по крыше вороны и я не мог уже после уснуть, я часто думал о своем родителе и о том, что этот дом, купленный на его деньги и по его благословлению, должен был бы принадлежать ему.

Дедушка Вася и мой отец были людьми совершенно разных судеб. Один — непримиримый оппозиционер, отказывавшийся пятерку к празднику от правления колхоза принять, другой — убежденный коммунист с тридцатилетним партийным стажем. Но как одного, так и другого жизнь не смогла сломать и скурвить, заставить предать то, во что они верили, и точно так же обоих эта жизнь обокрала в чем-то очень важном.

Мой отец был человеком без сомнения незаурядным и обещал многого достичь. Он закончил с красным дипломом институт, учился в аспирантуре. Но потом у него родилась дочь — и нужно было думать о зарботке.

Папа бросил учебу, поступил на работу в Главлит и проработал там всю жизнь. Когда началась эпоха гласности, я помню, стыдился того, что мой отец — цензор, теперь еще больше стыжусь этого стыда. Он не цензурировал книги писателей — а работал в газете «Правда», и судя по тому, что проработал на одном месте двадцать с лишним лет, никто от него сильно не страдал и не пытался никуда спровадить. Он не сделал никакой карьеры. Партийная среда ему была чужда, он не переносил ее цинизма и верно, я бы даже сказал, рыцарски служил раз и навсегда выбранной идее. По этой причине он был тоже, как и дед Вася, очень

одинок. Я не помню, чтобы у него были друзья или приятели. Он поддерживал ровные отношения со своими коллегами, но весь смысл его жизни был в семье.

Нельзя сказать, что этого мало. Он был добрым мужем и хорошим отцом, что по-настоящему понял я только много позднее, когда стал отцом сам. И все же когда я думаю о том, чего бы он мог достичь, если бы выбрал иное поприще, меня охватывает горечь.

У меня были с ним довольно странные отношения. Я, как и положено в молодые годы, чего-то искал, шарахался из одной в крайности в другую, увлекаясь самыми разными вещами от Че Гевары до Рамакришны. Отцу должно быть было неприятно, что я мало на него похожу. Вряд ли он хотел, чтобы я продолжал его дело. Он видимо и сам все понимал. Но диким показалось бы ему в шестьдесят лет менять убеждения, и во мне ему не нравилось именно слишком долго затянувшиеся метания и отсутствие внутреннего стержня. Однако искренне об этом поговорить нам не удавалось. Что-то мешало, и это так и ушло.

Умер он за год до того, как Главлит разогнали, от острого лейкоза.

Врачи пытались остановить болезнь и оттянуть смерть, но он, как говорят в народе, убрался за два месяца, и мне кажется, причина его смерти была в другом. Он устал и не хотел жить там и тогда, когда ни он, ни его идея не были нужны. Ни одно лекарство не помогало, и он ушел, оставив свою семью жить в другой стране.

— Николай Николаевич был настоящим коммунистом, — сказал о нем кто-то из главлитовских начальников на похоронах, и я потом не раз думал, что если бы мой отец и дед Вася могли встретиться и на старости лет потолковать, то отец, может, и не

поспешил бы так стремительно от нас уйти и по-другому посмотрел бы на жизнь...

Хотя есть одно обстоятельство, которое в моем понимании перевешивает все прочие. Отца хоронили взрослые дети — они шли за гробом, а в сущности, — это и есть достойный итог любой свершившейся судьбы.

Я не был с ним внутренне близок в его последние годы, но потерю отца ощутил как сиротство. Станным образом дед Вася мне помог. Я относился к доселе незнакомому деревенскому старику как к родному, с которым меня связывало не несколько месяцев знакомства, а прожитые вместе годы, и с его стороны тоже чувствовал не просто интерес, возможность поговорить с понимающим человеком или постариковски поучить уму-разуму, но нечто кровное. Однако эти отношения он ото всех скрывал, точно стеснялся. Когда мы сталкивались с ним на улице или в ларьке в очереди за хлебом — дед смотрел на меня так же рассеянно и равнодушно, как и на всех. Только у себя дома он преображался, и в его глазах светилась нежность.

Он много помогал мне с ремонтом избы, выцеплял ее своими домкратами, переступив через гордость, договорился с электриками, чтобы к дому провели столбы и провода, рубил баню и ездил на лошади в лес за мхом.

И я был очень удивлен, когда позднее другой мой деревенский друг лесник Саша Тюков довольно скептически выслушал мои похвалы в адрес бессеребренника Василия Федоровича и сказал, что дядя Вася был конечно человеком мастеровитым и из кошки черта мог сделать, но до денег всегда жадничал и требовал за труд двойной оплаты — за себя и за механизм. С меня же дед не взял ни копейки.

— Даром, Олеша, даром, — говорил он, когда я предлагал деньги.

Я не сразу понял, что здесь это слово означает не бесплатную работу, а всего навсего — пустяки, не стоит.

Уезжая в Москву, я часто посылал в Осиевскую письма, и получал ответы от бабы Нади. Сам Василий Федорович никогда не писал — но бабушка подробно рассказывала о деде и обо всех деревенских делах. Ее письма были очень трогательны, не по моим годам и чинам церемонны, хотя и немного однообразны. Она писала о здоровье, о ценах, жаловалась на жизнь и на соседей, поздравляла с праздниками от Рождества до Великого Октября.

«Здравствуйте уважаемый Алексей Николаевич! С приветом к вам Малаховы. Письмо ваше получили спасибо за беспокойство. Наше здоровье все так же но только у деда стало хуже но я не верю потому что попадет водка хорошо употребляет а по его болезни это можно самому себе отказать. Алексей здесь у нас колхоз живет в нищете наверное ликвидируется на краю распада. Новостей вроде бы никаких нет все об магазине одни только разговоры как жить надо. Цены очень завышены все равно в магазине полки пустые. Хлеб ржаной буханка 1р.56к. белый в/с 3р.12. вообще все дорогое а это что пром-товары очень-очень дорого. Но мы что капля в море уже старенькие дак этим не нуждаемся только слышим что все дорого. Мы все об вас говорим как вы переживаете это время но мы вам помочь никак не можем и здоровье не важное. Желаем вам только пережить это трудное время. Приезжайте поскорее тогда и наговоримся.

Счастья вам уважаемые добрые. У нас одни злые старухи к соседу выйти нежелательно одни сплетни дак я мало когда кому хожу. Еще про водку. 50 рублей в магазине».

Я не обратил тогда внимания на это: деду стало хуже. После смерти отца я не мог представить, что

потеряю и деда.

Незадолго до того как Василию Федоровичу исполнилось семьдесят лет, я послал в деревню письмо, а некоторое время спустя получил от бабы Нади ответ.

«Вы поздравляете дедушка с рождением а его были похороны. Он помер 8 апреля. А болел только 15-20 минут. Кровоизлияние получилось. Так всех удивил. Колот дрова а я складывала в дровенник. Потом пошла чай готовить попили чаю и я ему сказала: Дедушко ляг отдохни. Ну он прилег на диване и сразу: У меня что-то груди больно. И сразу пошла судорога и захрипел. Только было и болезни».

Я переживал от того, что она не дала мне телеграмму и я не смог с ним проститься. Но может быть это и правильно: кем я ему был? Наверное странным выглядел бы мой срочный приезд и присутствие на похоронах, тем более что о теплоте наших отношений не знал никто. Я только выпил в следующий свой приезд на Николу вешнего водки у деда на могиле, где не было не то чтобы памятника, а даже таблички. Лишь над свежим зазеленевшим холмиком грубый крест и выцарапанная шариковой ручкой едва заметная кривоватая надпись:

Василий Федорович Малахов. 1922-1992.

Васька собирался поставить памятник, да сколько уже прошло лет — а так и не поставил.

После смерти деда баба Надя сильно сдала. Она боялась даже включать свет — все казалось ей, что в дом кто-то залезет, и упрашивала посидеть у нее подольше. При жизни она сильно на деда ругалась, жаловалась, что не помогает ей по хозяйству. А у него были свои принципы: есть его работа, и он ее делал — дрова, пахота, сенокос, а есть ее, и больна она или нет, должна делать. Она очень о нем тосковала — и я подумал тогда, что мои прежние суждения о ней и об их взаимоотношениях были поверхностными, как, впрочем,



и вообще наблюдения над здешней жизнью. И мои восторги, и сожаления оборачивались чем-то новым, стоило пройти времени.

Так после смерти деда Васи, которого я почитал едва ли не за святого, мне открылось в его судьбе нечто, заставившее меня по-другому взглянуть на него.

В деревне жила одна старуха. Звали ее Першихой. Она была моей ближайшей соседкой — добрая, приветливая неграмотная женщина, в которой в отличие от многих других деревенских старух совершенно не чувствовалось второго дна. Избенка ее, едва ли на самая бедная во всех Падчеварах, стояла на краю деревни. Все дни Першиха занималась тем, что ходила по улице и подбирала где хворостинку, где палку на дрова. За рекой в соседней деревне жила ее старшая дочка-доярка с пьяницей мужем. Они получали першихину пенсию, служившую в нищем колхозе основным источником дохода. Зимой старуха уходила жить к ним, а весной всякий раз возвращалась в свою избу, сажала картошку и продолжала собирать хворостины.

С этой простодушной Першихой у молодого Васи Малахова в голодные послевоенные годы была любовь. Першиху с дочкой тогда бросил муж — вернулся с войны целый и невредимый и, убедившись в том, что в голодном колхозе делать нечего, подался на заработки в теплые края, да так там и остался. С горя или от отчаяния Першиха сошлась с Васей. Он прижил с ней дочку и то ли обещал жениться, то ли просто помогать с ребенком. Но вскоре тоже уехал на заработки. А вернулся полгода спустя с молодой женой Надей. Першиха не простила ему этого до самой смерти. Не сразу, но она приняла Надю и даже по-своему подружилась с ней, видимо, любовь к одному человеку их объединяла, но на похороны к деду и на могилу так и не пришла.

— Омманул он меня, — сказала Першиха твердо и в ее бесхитростных глазах сверкнула обида.

В это же время и мать рассказала мне, что в студенческие годы отец был женат на другой женщине и, судя по всему, очень ее любил. Но потом она забеременела и сделала без его ведома аборт. Отец простить этого не смог. Он развелся, бросил институт и ушел служить в армию. И когда несколько лет спустя познакомился с моей матерью, то женились они только после того, как она забеременела (и только потому что забеременела, признавала сама мама: жить-то негде было, объясняла она простодушно, — но я думаю, он просто не доверял женщинам). Впоследствии моя сестра, которую растили в строгих правилах, была весьма поражена, открыв, что родилась всего полгода спустя после родительской свадьбы.

А у дедовой непризнанной дочери судьба сложилась несчастливо. Она вышла замуж в Вологду, муж ее вскоре оставил, она воспитывала одна двоих детей, но оба выросли непутевыми и один из них покончил с собой.

Не стало Василия Федоровича, и деревня опустела. Он был мне защитой, чего бы ни случилось, я знал, что могу к нему придти и он сделает, что в его силах. Теперь же все переменялось, и я должен был существовать сам. Когда я приезжал сюда, когда вылезал из автобуса и шел по разбитой дороге с рюкзаком к дому, меня всегда охватывал легкий страх — как-то здесь меня встретят. Иногда, проходя через Сурковскую на том берегу реки, я ловил на себе враждебные взгляды парней и молодых мужиков. Меня останавливали и спрашивали, к кому я еду. А потом ночью, случалось, раздавался стук в дверь и трясущиеся с похмелья трактористы просили продать водки. Хотя водка у меня обычно была, я этого не делал, боясь, как бы моя одинокая изба не превратилась в ночной магазин или шинок. Иногда они привозили водку сами и хотели посидеть со мной и выпить, и стоило большого труда их выпроводить.

Но насколько мне не о чем было говорить с деревенскими парнями, настолько я тянулся к старикам и старухам и продолжал ходить в аккуратный зеленый дом, где жила одинокая теперь Надежда Николаевна Малахова.

Баба Надя, как и дед, любила вспоминать былую жизнь — но это были истории совсем другие. Она рассказывала, как в войну ее хотели забрать на рытье окопов, а она сбежала, как скрывалась от властей, пока один добрый старичок-еврей не выписал ей справку об освобождении. Рассказывала, как приехала сюда и как трудно было привыкнуть к новому дому и к мужу, как много приходилось работать и делать мужскую работу, от которой оберегали ее дома. Однажды она

заблудилась в лесу со своей соседкой Зоей Зуевой, и их двое суток искали всей деревней, а когда нашли, то дед ее жестоко изругал. Присутствовавшая при том Зоя сокрушенно качала головой — ей, кажется, тоже досталось от мужа — по иронии судьбы председателя колхоза, в который так и не вступил единоличник Малахов.

Зоя была наверное самой блеклой и неинтересной из деревенских женщин. Характером она напоминала приживалку в богатом доме. Трудно было представить, что эта беззубая с потухшими глазами старуха была здесь когда-то первой леди и работала на привилегированной должности сельповской продавщицы. Она поддакивала всем, кто приходил в Надину избу, и перед всеми заискивала. Только в самой глубине ее глаз таилось — или мне так чудилось — что-то очень недоброе. Раз, когда Зоя, наигравшись в карты и напившись чаю, ушла к себе, баба Надя, посмеиваясь и горя глазами, рассказала мне про нее одну историю.

После войны денег в деревне было мало. В сельпо ничего не могли купить, и Зоя носила товар расконвоированным на зону в Тавеньгу. У тех деньги водились, и они охотно брали все, что она им приносила. Однажды она подсунула своим покупателям несвежие яйца. А в следующий раз когда пошла с подружкой в Тавеньгу, ее нагнали в лесу трое мужиков. Подружку не тронули, а нечестную продавщицу заставили заплатить за обман натурой. Зоя умоляла товарку, чтобы та ничего не рассказывала в деревне.

Но разве подобное обещание легко сдержать? И вот странная вещь — пол-Осиевской знало про Зоин позор, и только председатель колхоза так и остался в неведении.

Уже нет в живых ни Зои, ни ее мужа, ни тех мужиков, а бывшие истории хранятся в памяти последних их свидетелей и участников. Эти люди были

памятливы на самые мелкие происшествия, случившиеся несколько лет назад, и отношения между ними были невероятно прихотливы. Когда к бабе Наде заходила в гости соседка Нюра Цыганова, она никогда не пила чаю, сколько ей ни предлагали. А после ее ухода Надя всякий раз рассказывала, что Нюрка ужасная сплетница, балаболка, неряха и лентяйка.

Ольге Ганиной они завидовали, потому что она оформила инвалидность и получала дополнительные деньги, хотя здоровьем была крепче многих. И все же когда они собирались вместе, обиды как будто уходили.

Старухи вспоминали молодость, войну, замужество, строгих свекров и свекровей, следивших за каждым шагом невесток, голод, тяжелую каждодневную работу, за которую выставляли, но не оплачивали трудодни. Так мне стало понятно, почему сбегали люди в жуткие лесные поселки вроде «Сорок второго», если даже на зоне расконвоированным заключенным лучше жилось, чем советским колхозникам. Однако при этом в старушечьих воспоминаниях не было злобы ни к чему, даже к столь ненавистному деду Васе колхозному строю. Они гордились грамотами и наградами, сокрушались о том, что нынче молодежь не та и работать никто не хочет, с удовольствием вспоминали бригады и трудодни и не мазали всех колхозных председателей, сменившихся в Падчеварах за много лет, одной краской. Они больше внимания обращали на мелочи и частности, из которых в сущности и состоит жизнь, и власть была для них не абстракцией и не пугалом, но этой властью были большей частью свои же люди, которых им тоже было жаль. Каждая из них по отдельности уступала по уму покойному Василию Федоровичу. Но все вместе они были умнее его какой-то примирительной народной мудростью, что и позволяла деревне до сих удерживаться на краю обрыва и

преодолевать все напасти, какие только не насылали на нее головастые и неумные мужички-реформаторы.

В этих полуграмотных женщинах было что-то очень непосредственное. После Москвы я отдыхал в деревне душою. Мне казалось тогда, нет места на земле лучше, чем моя деревня. Я знал, что мне здесь рады, что Першихе не так страшно у себя на краю, когда на моем хуторке зажигается свет. Я привозил им гостинцы — конфеты, чай, кофе, лекарства, семена, батарейки для фонариков, отрывные календари. Однажды привез бананы — которых они до того в глаза не видели. Бабки ели торжественно, качали головами и не хотели выкидывать шкурки — им было их жаль.

Я жил в Москве, работал в университете, в моей жизни происходили важные и неважные события, я женился, вступил в Союз писателей, получил водительские права и съездил за границу. Но что бы со мною ни было, я всегда искал малейший просвет, чтобы на ночном 220-ом поезде Москва-Котлас с Ярославского вокзала доехать до станции «Вожега», и дальше на колхозном, вечно переполненном автобусе, иногда с пьяным водилой, рискуя свалиться в кювет или врезаться в бензовоз, добирался до дорогих моему сердцу Падчевар. Я любил приезжать туда в любое время года, иногда вырываясь на два-три дня, и первым делом шел в ларек за хлебом. Деревенские женщины стояли в очереди, одетые в сапоги, телогрейки или болоньевые куртки, с морщинистыми, рано поблекшими лицами. Глядя на них, я думал о том, что это и есть мой народ — измученный, униженный, ограбленный, брошенный на произвол судьбы и государством, и церковью.

Деревня сделалась мне очень близкой. Хотя я хорошо понимал, что никогда не смогу назвать ее родиной, мечтал, что сюда будет приезжать мой сын. Когда ходил на кладбище и сравнивал просторную

могилу дедушки Васи с тесной могилой отца на Домодедовском кладбище, мне хотелось завещать своим детям, чтобы меня тоже похоронили здесь.

Это заросшее травой, в березках кладбище заменяло в деревне и церковь, и клуб. Сюда приходили на все праздники, нарядно одетые, с детьми, выпивали, закусывали и лица были не печальными, но радостными. Смерть не пугала их. Они ждали ее, как ждали в ларьке очереди за хлебом и как с удовольствием и толком покупали товар — с удовольствием говорили о похоронах.

Смерти случались часто — то одна, то другая старуха или старик убирались на погост. Бывало, гибли и молодые, чаще по пьяни, от угара или по лихачеству (так погиб опытный электрик с Наволока Михаил Мазалев — полез чинить оборвавшиеся провода и от удара тока сорвался). В сельсовете выписывали водку на поминки. Несколько мужиков брались тесать гроб, копать могилу, и вся деревня торжественно шла к березкам. В чисто вымытой избе покойника — так и хочется сказать именинника — накрывали столы, и к скорби примешивалось тайное возбуждение от предстоящей выпивки. На выпивку скупиться было нельзя. Когда у прижимистой бабы Нади на поминках по деду слишком рано кончилась водка и осталась только двадцативосьмиградусная «Стрелецкая» (а разница в крепости напитков соблюдалась очень четко, и крепкие вина, вроде портвейна, за алкогольный напиток вовсе не признавались), то копавшие могилу мужику оскорбились и демонстративно ушли из избы. Бабушка на них обиделась, но по общему деревенскому вердикту — неправа была она.

А год спустя после смерти деда заболела и сама баба Надя. У нее нашли рак толстой кишки и направили в Вологду. Осенью мы получили от нее последнее письмо.

«Наше дело оказалось сложное. Предложили операцию я отказалась как будет выведена трубка в правом боку тогда что мне делать полена дров не принести. Была бы дочка дело другое. Вообще дела у меня плохие но я очень не расстраиваюсь все равно там быть правда сказали надо-бы бабуся раньше но что сделаешь».

Сквозь строки читалось: оставаться беспомощным инвалидом на руках у сына и невестки она не захотела. Я не знаю, чего здесь было больше — извечного русского отношения к смерти, как к снятию жизненного бремени, или усталости нашего века. Но все старухи говорили одно и то же: зажились, пора к березкам. А я с ужасом думал, что будет с этой деревней и вообще с нашей землей, когда старухи уйдут и некому будет молиться за их пропащих детей и внуков.

В ноябре на падчеварском кладбище появилась новая могилка — и над ней такой же простой и грубый деревянный крест с выцарапанной ручкой надписью, как и у деда Васи. Еще один деревенский дом опустел, и из него мало-помалу начали исчезать инструменты, посуда, вещи, которые продавал и пропивал единственный наследник нажитого за долгую жизнь богатства.

Но помимо смертей естественных случались и самоубийства, и убийства. Чаще всего вешались молодые угрюмые мужики, которым не на что было выпить — вешались от отчаяния, назло всему свету. Назло жене, которая не давала на бутылку, назло родителям, не желавшим содержать неработающих оболтусов. Убивали себя или убивали других. К убийству относились как к явлению тяжелому, но неизбежному и привычному.

Однажды я шел от автобуса с щупленьким и неприметным мужичком. Мы разговорились, и он вдруг сказал, что отсидел восемь лет за убийство. Сказал



буднично и бесцветно, и, глядя на него, невозможно было подумать, что он кого-то убил и сидел в тюрьме. Ласковое, немного глуповатое лицо оставалось совершенно бесстрастным, и эта бесстрастность казалась еще более пугающей. Кого он убил и за что, не убьет ли он снова, так же бессмысленно и просто, то одному Богу было ведомо...

Человеческая жизнь тут ценилась недорого. Я помню и другую историю — которую рассказывали с удовольствием и даже со смехом — про убийство, случившееся, правда, не у нас в деревне, где была хоть какая-то власть, а далеко в лесах. Туда вернулся рецидивист, проведенный в тюрьме едва ли не полжизни. Пришел к своей полюбовнице, стал требовать вина и удовлетворения похоти и в конце концов смертельно ей надоел. Но когда она пробовала его прогнать, мужик хватался за топор и, угрожая, настаивал на своем. Однажды разъяренная женщина выхватила у него из рук топор и как петуху отрубила голову. Была она баба дюжая, всю жизнь проработала на трелевке, так что он и дернуться не успел. В деревне облегченно вздохнули, погоревали о несчастной освободительнице, и она поехала в райцентр сдаваться. А через три дня вернулась. В милиции дела заводить не стали и ей только что благодарность не объявили.

Я не уверен, что эта история не была местной легендой. Но могло стать, что так произошло на самом деле. Здешняя жизнь причудливо текла по своим законам, с совершенно иным отношением ко всему на свете, и все более странной и чуждой она мне казалась, по мере того как я ее лучше узнавал.

Я знал в деревне почти всех, но коротко сошелся с очень немногими. Деревенский мир был не менее разнолик, чем мир городской, но здесь обо всех всё знали, зорко следили, обсуждали и подмечали, и ни одной случайной, незначащей детали не существовало.

Одни жили в домах, покрытых шифером или даже железом, а другие круглый год ютились в зимовках. Одни держали корову, поросят или овец, у других не было ничего. Одни покупали в ларьке только хлеб, а другие конфеты и пряники. Была в деревне и своя интеллигенция в лице учительницы Татьяны Николаевны Ковановой, которая окончила пединститут и учила меньше десятка ребятишек в сурковской начальной школе. Татьяну Николаевну уважали в деревне больше всех. Она организовывала местные выборы, когда заболела продавщица, именно ей доверялось продавать хлеб. Дома у нее стоял телефон и стиральная машина. Она была наверное одной из немногих благополучных деревенских женщин. Ее муж не пил. Он работал не в колхозе, а начальником средней руки в райцентре и домой приезжал на выходные на собственном уазике. Помимо этого у Василия Виссарионовича была моторная лодка, а на озере Воже рыбацкий домик. Кованов несколько раз приходил к нам в гости. Он любил поговорить о политике и выказать себя умственным человеком, бывал несколько раз в Москве и отзывался о ней в пренебрежительном тоне.

Иногда нас звали в гости и другие люди, занимавшие высокое общественное положение, вроде главной падчеварской продавщицы Нины Борисовой, которая первая отделилась от государства и открыла в Сурковской коммерческий магазин. Нина угощала нас

рыбником, грибами, домашним сыром, творогом и сметаной и жаловалась на то, что коммерция идет плохо. Как и в послевоенные безденежные годы в деревне давно уже ничего не покупали, а в основном донашивали старое.

Была в Падчеварах своя элита, были и свои парии, вроде першихиноного зятя Галаши — страшного, черного, заживо высохшего человека, который работал на скотном дворе, трезвым не бывал никогда и вскоре помер от цирроза печени.

Но все же главным образом жители деревни делились на тех, кто жил постоянно, и тех, кто приезжал на лето — их звали отпускниками. Между отпускниками и коренными иногда случались стычки в местном магазине, когда кончался хлеб и своим не доставалось. Пока колхоз был в силе, отпускников заставляли работать на сенокосе или на уборке льна. Считалось, что так они отрабатывают пребывание на этой земле и право пользования ею.

Среди самых колоритных отпускников была семья Ани Плотниковой. Плотниковы жили далеко на Севере, где-то на границе с Норвегией. Но сама Аня была родом из Осиевской и, выйдя на пенсию, купила на родине задешево полуразвалившуюся избу, выцепила ее, покрыла тесом и выкрасила. Она любила помногу и несколько даже утомительно рассказывать, чего ей стоило все это сделать, как сложно было найти материал и работников, которые неспешно и с перекурами трудились, но зато с удовольствием и толком до утра пили самогон. И только впоследствии, сам столкнувшись с похожими проблемами, я оценил ее страдания.

Плотниковы жили в деревне с марта по ноябрь, размашисто, с телятами и поросятами, с огородом, с теплицей. Уезжая на зиму в свою Норвегию, они увозили несколько мешков картошки, банки консервированного

мяса, огурцов и кабачков, сушеные грибы и ягоды. Для этого предприимчивая хозяйка договаривалась с колхозной машиной, а потом специально ездила в Вожегу и отправляла урожай в багажном вагоне.

Ее дом стоял позади бабы Надино. Соседки ходили в гости едва ли не каждый день, пока между ними не вышла очень характерная для деревни размолвка. Надина невестка, продавщица Татьяна однажды не продала Плотниковой конфет, сославшись на то, что кондитерских изделий своим не хватает. Татьяна была женщина не злая, но по-своему принципиальная и в душе терзавшаяся некоторой завистью, оттого что кто-то имеет два дома, и в деревне, и в городе, а у нее только один. К тому же сама она прожила несколько лет в Северодвинске, но там у нее не заладилось, она вернулась и на более удачливых горожан смотрела косо. Действительно ли существовало распоряжение не продавать приезжим конфеты, как утверждала впоследствии Татьяна, или же она хотела таким образом восстановить попорченную справедливость, так и осталось неизвестным, однако она не на ту напала.

Оскорбленная Плотникова накатала письмо в «Борьбу». Дескать, как помогать с сеном или льном зовут всех и не делят на своих и чужих, а как конфеты — так только колхозникам? А она, между прочим, не дачница какая-нибудь, а ветеран труда, много лет проработавшая в колхозе до того, как уехала на Север. В наступившие времена гласности это письмо посчитали проявлением народной инициативы, и редакция его взяла да и опубликовала, чего, я думаю, и сама авторша не ожидала. Конфликт обсуждался всеми Падчеварами, и между дружественными домами пролегла даже не тень, а целое затмение. Баба Надя не могла простить Плотниковой такого демарша, а в душе может быть побаивалась и разъяренной Татьяны. В

магазин теперь ходил плотниковский муж — забитый, больной человек, которому Татьяна презрительно швыряла батоны. Но для самой бабы Нади эта размолвка была печальна тем, что ей негде было больше смотреть телевизор, и она так и не узнала, чем кончился сериал «Богатые тоже плачут». Примирились женщины лишь после несчастья: на похоронах деда Васи.

Первое время я думал, что колхоз и меня заставит делать что-нибудь общественно полезное, хотя сильно сомневался в том, что не опозорюсь на сенокосе, а тем более на вязке льняных снопов. Но меня ни разу не тронули и никуда не позвали. Все держалось на определенной справедливости. Ведь землю, хотя правление и намерило мне пятнадцать соток, я так и не стал обрабатывать и не обнес забором. По-прежнему на ней косил для своих нужд маленький улыбающийся и совершенно непьющий мужичок Алик Вахрушин — на вид кроткий и ласковый, как колхозные телята, за которыми он ухаживал. Да и жил я здесь не так много, продукты почти все привозил из Москвы, а назад вез только грибы и ягоды, да если оставалось в рюкзаке место, картошку.

Но все же когда во время сенокоса, посадки картофеля или уборки льна, я шел мимо согнувшихся людей с удочками на реку или с корзинкой в лес, то испытывал неловкость. Однако косых взглядов никогда не встречал и осуждающих разговоров за спиной не слышал. И не оттого, что крестьяне были деликатны. Просто за каждым признавалось право жить, как он хочет. Возможно когда летом я приезжал сюда с семьей, какие-то наши привычки, чересчур изысканный по деревенским меркам стол, долгий утренний сон и ночные бдения на дворе, откуда мы с женой любили созерцать закаты, показались бы деревенским людям странными. Но поскольку хуторок стоял на отшибе, то

никто не знал, как мы там живем, когда встаем и ложимся, что едим и как проводим время. Никого кроме деда Васи и бабы Нади, да еще любопытной Плотниковой, оценивающе оглядевшей избу и посоветовавшей обклеить ее обоями, побелить и покрасить пол, у нас не было. Мы были предоставлены сами себе, интерес к нам вскоре утратили, и осудили в деревне совсем за другое, о чем я расскажу дальше.

А я, после того как мы привели более или менее в порядок дом и создали в нем минимум жизненных удобств, предался радостям лесной жизни, и эти часы были счастливыми и не омраченными ничем.

Север Вологодчины — край не самый красивый. Леса трудно проходимы, сосновых или еловых боров почти нет, и просто идти и гулять невозможно. Местность сырая, летом комариная, если несколько дней льют дожди, дороги разбивает так, что проехать может только трактор, и деревня оказывается надолго отрезанной от райцентра. Когда наступает сушь, река в иных местах мелеет едва не до основания.

Однако со временем я привязался к этой неласковой стороне. Ходил вместе с деревенскими бабами за ягодой — в июле за земляникой и морошкой, в августе за малиной и черникой, в сентябре за брусникой и клюквой, с мужиками удил рыбу в реке и в глубоком лесном озерце. Но чаще всего в лесу я бывал один.

Уходил я обычно далеко от деревни километров за десять на юг, к водоразделу, туда, где лес прорезали высокие сосновые гряды, по-местному, гривы. На этих гривах даже в самые неурожайные годы росли грибы, и я любил туда, как говорили в деревне, бывать. Там, вдалеке от жилья, редко кого можно было встретить. На много километров тянулся лес, в котором иногда попадались небольшие поляны и квартальные просеки, а деревень не было кроме одной.

Она называлась Коргозеро, потому что стояла на берегу одноименного озера. Жили в Коргозере лишь старики и старухи и никакой связи с миром, иначе как по заросшим и топким лесным дорогам и тропам, деревня не имела. Покойный дед Вася рассказывал, не знаю, правда это или нет, что когда-то в Коргозеро приходил из своей недалеко расположенной Тимонихи писатель Василий Белов. Вместе с мужиками он переставлял двор, а заодно записывал за ними

плотницкую речь. Но я так ни разу дотуда и не дошел. Слышал, как лают собаки и поворачивал назад. Таинственное очарование было в моем представлении о Коргозере, и это очарование я боялся растерять. Да и земля там была уже не моя, а Василь Ивановичева.

Однажды бродя по лесу, я встретил коргозерского старика. Он был мал, худ и с невероятно тонким, почти клинообразным лицом. К моему удивлению, дедок спросил, далеко ли до Падчевар, и пожаловался на то, что совершенно не узнает дороги. Мы разговорились. Оказалось, что он лет двадцать никуда из своей деревни не выходил, а теперь ему потребовалось в сельсовет. Мне хотелось поговорить подольше, но старик торопился засветло вернуться и пошел, что-то бормоча на ходу. Я глядел ему вслед и думал о том, что за эти двадцать лет переменилась не только дорога, но и столько других вещей, сколько не меняется в иные времена за целую человеческую жизнь. Даже сельсовета, куда он направлялся, больше не было — но все это прошло мимо него — сухонького, седенького, похожего на лесовичка человека. Я ничего не знал о его судьбе. Наверное она была нелегкой, как и у всех жителей этой земли. Но в отличие от деда Васи Малахова и от Василия Белова он казался совершенно примиренным со всем. У него было озеро, лес, болото и свой огород, который его кормил, и этого было совершенно довольно.

На коргозерах вообще лежал отпечаток примиренности и доверчивости. Как-то ранней осенью я встретил в лесу еще одного жителя загадочной деревни. Он приветливо со мной поздоровался, угостил сигаретой и объяснил, как лучше пройти к озеру. И ни настороженности, ни подозрительности в его глазах и голосе не было. Просто встретились два человека в глухом лесу, учтиво потолковали и разошлись каждый в



свою сторону, как будто был конец не двадцатого, а девятнадцатого века и нет нужды бояться незнакомца.

Кроме так и не увиденного мною Коргозера в окрестных лесах было еще несколько озер. До самого маленького, похожего на жирную запятую, Гагатринского идти было часа два. Этот путь я делил на несколько отрезков. Первый — по заросшей травой топкой и однообразной прямой дороге. Она вела прямо под линией электропередачи к Крутому ручью, довольно большой и веселой поляне, где прежде стоял зажиточный хутор, а теперь остался последний лесной покос, до которого можно было добраться на тракторе и вывезти сено. Здесь, присев на поваленное дерево, я делал первый перекур и глядел на склон гряды с желтыми березами и темными елями. Дальше дорога шла по руслу речки Токовицы, названной так, видимо, от того, что по ней селилось множество глухарей.

В сырое лето воды в Токовице было выше, чем по колено, и идти по ней было нелегко. Но мало-помалу дорога становилась выше и суше. Слева оставалось болото «Большой мох». Я шел по тропе совсем весело, пока не утыкался в старую узкоколейку. Свернув налево, можно было бы дойти до «Сорок второго», где жила Тася. Но в «Сорок второй» меня не тянуло. Я сворачивал направо, с полчаса шел, наслаждаясь тем, что под ногами твердая почва, переходил по полуразвалившемуся мосту чистую лесную речку Коргу, вытекавшую из Коргозера и впадавшую в Вожегу. В порожистой Корге водились хариусы, но сколько я ни пробовал, поймать их не получалось. За Коргой дорога снова поворачивала налево и по гриве, возвышавшейся над лесом, постепенно спускалась вниз, пока не упиралась в озеро.

Все эти дороги я отыскал в лесу сам и когда рассказывал в деревне, где побывал, на меня косились недоверчиво. Так далеко никто из местных не

забирался. Не то не было времени, не то боялись заблудиться. Но я всегда носил с собой компас и хорошо помнил карту, хотя и с компасом случалось мне несколько раз блуждать. Однажды я едва не заночевал в лесу прямо рядом с деревней — точно и в самом деле водил меня в сумерках леший. Только после того как вокруг сгустилась тьма и я уже совсем не знал, куда идти, хозяину леса наскучило со мной играть, и между деревьями мелькнул последний просвет. И все же страха в лесу я не чувствовал никогда, а напротив ощущал себя здесь в совершенной безопасности.

Вода в лесных озерах прозрачна, а рыбы столько, что когда я купался, то громадные щуки стремительно разбегались в стороны. Чаще всего я ходил на Чун-озеро. Оно было чуть больше Гагатринского и по форме напоминало каплю. Берега у него были топкие и плавучие, а дно сразу обрывалось. Мужики говорили, что глубина в нем едва ли не тридцать метров, но когда однажды зимой в поисках клева я просверлил не один десяток дырок в том числе и на середине, то больше семи метров нигде не обнаружил. Однако как бы там ни было, все сходилось на том, что Чун-озеро набито рыбой, но... она почти никогда не клевала. Говорили по этому поводу разное. Одни — будто бы чуткая лесная рыба, услышав приближение человека, пугается и уходит. Другие — что все дело в погоде и раньше старики знали, в какой именно день на озере будет клев. Но даже не ради рыбы, а для того чтобы поглядеть на Чун-озеро, я приходил сюда во всякий свой приезд.

На берегу чуть в стороне от воды стояла избушка, правда, никакого очарования в ней не было. Грязная, закопченная, с очагом вместо печки, окруженная сотней пустых бутылок, она совершенно не походила на те аккуратные и чистые зимовья, что мы видели когда-то с женой на Еломе. То ли места здесь были не такие

дикие, как на той стороне озера Воже, то ли изменился за эти несколько лет народ, но в чунозерскую избушку даже зайти было неприятно. Зато озеро...

В ненастную погоду оно было диким и суровым, настоящее северное таежное озеро. По берегам высились чахлые сосенки, нанизанное на их вершины висело низкое небо, и ветер гнал тяжелую сумрачную рябь. Но когда выглядывало солнце, все преображалось. Озерцо с кувшинками, стрекозами и прозрачной водой казалось веселым и домашним, словно мелиховский пруд. Я закидывал удочки, ставил донки с замиранием сердца и надеждой, что вот в этот-то раз, но увы... Озеро безмолствовало. Как я ни пробовал менять места и разные насадки, как ни колдовал над снастями, все было бесполезно. Тогда я шел на вытекавшую из озера речку Чунозерку. В ней жили бобры. Свежие, обточенные их зубами стволы деревьев переграждали речку, то и дело в ней появлялись новые запруды с коричневой водой, куда я закидывал удочку. Однако бобры в рыбалке были удачливее людей, и в сумерках я уходил без единой поклевки, но никогда не жалел о чунозерской рыбалке и не был ею разочарован. Подобно умным строителям лесных плотин я метил этими приходами вехи своей жизни — рождение сына, выход новой книги, наше с женой венчание — и каждый раз испытывал суеверный страх, что больше Чун-озера не увижу.

Как никакое другое место на земле оно запало мне в душу и казалось свидетелем самой человеческой судьбы — той вечной водой, что множество веков до нашего появления возникла в этом котловане и множество веков спустя исчезнет и для которой несколько десятков лет моей жизни, сколько бы значения я ей ни придавал, и даже несколько сотен лет существования Падчевар окажутся лишь крохотным миготом. Так не особенно оригинально о соотношении

временного и вечного я философствовал на этих топких и душистых берегах, поросших мхом, клюквой и голубикой, пил чай из озерной воды, сидел у костра, иногда дремал, а проснувшись, снова благодушествовал и размышлял о том, что еще случится в моей жизни к следующему свиданию с лесным существом, пока однажды не узнал, что несколько лет назад укромное таежное озеро, которому я пророчил бессмертие, едва... не осушили.

Приезжала группа ленинградских ученых, обследовала водоем и обнаружила на его дне огромные запасы какой-то уникальной кормовой водоросли. Если воду из Чун-озера отвести в Вожегу, то можно сделать завод по переработке ценного сырья, построить в колхозе большую свиноферму и вывести отстающее хозяйство в число ведущих, дабы оно оправдало свое революционное название. Только отдаленность Чун-озера и дороговизна проекта остановили разработчиков, подобно тому как остановила она и тех, кто именно по озеру Воже и всей здешней местности хотел перебрасывать в Волгу воды Онеги. Случись так, большая часть округи была бы затоплена, а мой любезный особняк оказался бы посреди не туманного, грезившегося мне белыми ночами, а самого что не на есть реального озера и добираться до него приходилось бы на лодке. Грустно осознавать, но именно наступившая в Отечестве разруха и разворуха уберегла эту природу от окончательного разорения. А иначе исчезла бы с зеленой карты маленькая голубая чунозерская капля, но зато появилась громадная лужа наподобие Рыбинского водохранилища.

Чун-озеро оставили в покое, а заодно выяснилось, что именно в его изысканном корме и была причина избалованности и особого нежного привкуса здешней рыбы. Бывали иногда случаи, когда озеро отдавало часть ее. Чаще всего щуки, ловившейся на живца,

причем поймать сорожку или окунька оказывалось труднее чем самих хищников. Щуки даже не садились на тройник — но держали живца в зубах как кошки, и так я подтягивал их к берегу и заводил в подсачек.

Удачливее была рыбалка на реке. Летом в ней ловились светлые речные окуни и продолговатые, почти квадратные в сечении ельцы. Я поднимался на лодке вверх к устью Чужги, а потом медленно сплавлялся, закидывая удочку и вытаскивая рыбу прямо на ходу. Ближе к осени, когда вода становилось холоднее и темнее делались ночи, в проводку на подслащенное тесто, смешанное с яичным белком, брала крупная сорога. Клев начинался обычно после заката и продолжался не больше часа. Однако за это время можно было успеть наловить и на уху, и на хорошую жареху, до боли в глазах всматриваясь в смутно мерцающий на воде поплавок. Откормившиеся за лето сильные сорожки стремительно его топили, отчаянно сопротивлялись и, случалось, рвали леску. На эту сумеречную ловлю выходили все мало-мальски охочие до ужения мужики, и то там, то здесь можно было увидеть самые разные лодки — деревянные, железные, резиновые, заводские и самодельные, в которых сидели и местные, и приезжие рыбаки.

Впрочем, как и везде говорили: то ли дело раньше... До строительства местной ГЭС из озера Воже, где было несколько рыболовецких колхозов, поднималась крупные лещи, щуки, озерные окуни и язи. Но теперь рыба ловилась только местная и некрупная. Я помню, как костерил эту реку бригадир, отец пятерых детей Самутин.

— Маху дали деды наши — не могли места лучше подобрать! Толку с реки никакого, а деревни с обеих сторон — поди объедь.

Река действительно была своеобразная. После того как вдоль нее вырубали лес и весной талая вода

вперемешку с землей, а летом после ливней дождевая, не задерживаясь, стекала в речную долину, уровень воды в Вожеге гулял не на один метр. Она то пересыхала и перейти ее можно было вброд, то переполнялась стремительно несущейся грязной водою, размывающей берега. Но при этом из-за многочисленных перекатов была совершенно непригодна для моторных лодок и потому добраться по ней ни до райцентра вверх, ни до сельсовета вниз, иначе как в паводок, было невозможно. Зимой она замерзала, но и замерзала как-то коварно. Несколько раз случалось, трактора ехали через реку и проваливались. По весне же года не было, чтобы на Вожеге не унесло лавы — временный, шириной в две доски мост с перилами с одной стороны. На целый месяц, а то и дольше восемь деревень, разделенных рекою, оставались без переправы, при том что магазин был лишь в одной из них. Только в начале июня правление колхоза давало деньги и ящик водки, и всем миром народ шел с помощью плота устанавливать новые лавы. За эти годы сезонных мостов унесло такое количество, что давно можно было бы сделать постоянный, но на это денег никогда не находилось.

На безлавые колхоз выделял лодку и перевозчика. Поначалу когда я только приехал, перевозчиком бывала какая-нибудь скучающая старуха или наоборот малец, не бравшие за переезд ни копейки. Но по мере погружения деревни в рынок, лакомое местечко облюбовали молодые лбы, сдиравшие за переезд по три тысячи рублей с колхозников и по пять тысяч со всех остальных.

И все равно это была река, и мне казалось, что у жителей, например, соседнего большого и богатого села Огибалова была зависть и ревность к Падчеварам, оттого что Огибалово стояло в стороне от воды и никакие леса и поля не могли возместить этой

недостачи. Река радовала глаз, и когда выйдя из лесу, я видел внизу ее долину, ее блеск, я любил эту нескончаемую реку, знал все ее повороты и глубокие места, ручьи и камни. Она была хороша во всякое время года. Но особенно в ноябре перед ледоставом, когда по берегам уже лежал снег и мимо него катилась большая, черная и, как масло, тяжелая масса воды. Снег осыпался с деревьев и кустов, и тихо бывало так, что можно было услышать, как он тает, разбавляя белизной темный цвет реки. По утрам после заморозков Вожега покрывалась заберегами. Они держались по несколько дней, но лед вставал не сразу. Зато и таяла река тоже поздно, в конце апреля или в начале мая. Однако этого времени я ни разу не заставал. Из-за распутицы до Падчевар в межсезонье было не доехать, и только от деда Васи с его тоской по старине я слышал, что в былые годы, когда уносило лед, грохот доносился до деревни, теперь же лед убирался тихо и незаметно.

Я приезжал в конце мая, когда вода спадала, зеленели берега, и начинался нерест. В такие дни я уплывал на видавшей виды, все той же резиновой лодке подальше от деревни, чтобы звук трактора или случайный человек не нарушали моего уединения.

Однажды в конце мая Вожега подарила мне четырехкилограммовую щуку. О том, что такие большие экземпляры тут водятся, я и не подозревал и в первый момент испытал нечто вроде гордости за униженную реку. Громадная рыбина схватила блесну ниже бывшей мельничной плотины. Она металась из стороны в сторону и несколько раз делала свечи. Ослабевшая за зиму в избе леска угрожающе натянулась, а старое негибкое удилище закрипело. Я стоял по колена в воде в бродниках, за мной возвышался отвесный берег. Не было у меня ни подсачка, ни багра. Щука упиралась, вставала против течения и двигалась рывками, точно проверяя мою негодную снасть на износ. Сколько так

прошло времени, я не помнил. От волнения непослушные руки иногда начинали мотать леску в другую сторону. Она ослабевала, и казалось, что рыба уже ушла. Но вот наконец я подвел ее к самым ногам и увидел, что она зацепилась лишь за один крючок. Метровая щука смотрела маленькими хищными глазами — темно-зеленая до черноты. Шансов у меня не было никаких. Тогда, мысленно с ней простившись и больше жалея не о том, что она уйдет, но о том, что мне никто не поверит и будут считать мой рассказ обыкновенной рыбацкой байкой, а Вожега так и останется неотмщенной, я выдернул щуку из воды. Удилище спружинило, моя недоуменная добыча ударилась о берег, слетела с крючка и в судороге забилась на обрывистой кромке земли. Двумя руками я отшвырнул ее подальше, в высокую траву, и обессиленный с резью в животе упал рядом.



Зимой и рыбалка, и жизнь в деревне были совершенно другими. Половина народу разъезжалась по городским квартирам. Мужики занимались лесным промыслом, что-то строили или ремонтировали, но делалось это все нехотя. В эти темные студеные месяцы особенно можно было почувствовать, что живой дух оставил деревню. Почти не было видно молодых лиц, не слышно детских голосов — многие дома стояли забитые и нетопленные, и лишь кое-где над занесенными снегом крышами поднимался дымок и угадывались узкие тропинки. Но от этого зимою деревня казалась трогательнее и беззащитнее. Отсутствие забот сближало людей. Чаше ходили в гости, зиму любили бы, когда б она не была слишком долгой.

Спешить было незачем. И даже выходить из дома было некуда. Стояли у избы лыжи, а вокруг один только снег и, случалось, целыми днями к дому никто не приходил.

Я читал, писал, слушал радио. Менялись радиостанции и голоса ведущих — где-то захватывали заложников террористы, проходили демонстрации и забастовки, готовились к выборам и выбрасывали триллионы рублей на их проведение, вспыхивали военные конфликты и лилась кровь. Появилась масса людей, жаждущих вести за собой толпы с нечистыми целями, но Падчевары никого не интересовали и здесь все было покойно и тихо. Жители этих мест не ждали уже от власти ничего — ни хорошего, ни плохого. Государство взяло от них все, что могло, и более для них не существовало. Раньше в зимние месяцы в деревню приезжали бригады врачей, артистов, лекторов, и это было событием в однообразной

сельской жизни. Теперь же деревенские люди были всеми позабыты и предоставлены сами себе. Если бы они вдруг вздумали бастовать, никто бы не обратил на них внимания, их было слишком мало, чтобы их голоса на выборах что-то значили, они не владели никакими богатствами, кроме жалких клочков истощенной земли, загубленной реки и изуродованного леса. Казалось, верховной власти всего легче было бы, если б они просто исчезли, вымерли и не донимали никого молчаливым укором.

Устав от радио, я уходил гостевать к бабе Наде, пока она были жива. Там собиралось немногочисленное общество. Пили чай, потом играли пара на пару в дурака, слушали концерт по заявкам, который передавала Вологда, обсуждали нехитрые деревенские новости, а больше молчали и так коротали вечера, как коротали саму жизнь. Даже вспоминать ничего не хотели. Новая жизнь ошеломляла их. Старух пугали стремительно растущие пенсии и цены, в которых они ничего не понимали. Тысяча рублей, десять тысяч, сто — они не могли этого разобрать и даже сосчитать. Они не знали, как эти деньги откладывать и сберегать.

Однажды одной из самых древних осиевских бабок молодой тракторист привез телегу дров и попросил тридцать тысяч. Старуха не то не расслышала, не то не поняла и подала ему триста.

— Хватит?

— Хватит, — ответил парень, не растерявшись. — А наколоть-то, бабусь, не надо?

— А сколько возьмешь?

— Да столько же.

И уехал от женщины с шестьюстами тысячами в кармане.

Когда ей объяснили, сколько денег она отдала, бабка ходила плача и смеясь, как безумная, и хваталась за веревку. И упрямым лейтмотивом звучало во всех

деревенских разговорах: раньше такого не было. Ни денег непонятных, ни пенсий с тремя нулями не было, но главное — не стал бы свой же мужик так бессовестно обманывать старую женщину. Уныние, какого она не знала со времени войны, охватило деревню в эти последние зимы. Так страшно им было, точно снова сбежали из зоны убийцы и бандиты и рыскали по опустевшим, беззащитным деревням.

Мне было немного тягостно, но я сидел и сидел, чувствуя себя, как и они, никому ненужным, отжившим свое человеком.

— Ночуй здесь, — говорила баба Надя. — У тебя, поди, и изба-то выстыла, и ийти далеко.

Но я вставал, и уже совсем поздно с фонарем безлунной зимней ночью возвращался домой. В избе и в самом деле было холодно. Я всегда топил ее на ночь, слушал, как воет ветер за стенами и в печной трубе, и смотрел на отражавшийся в окошке огонь, а потом, когда он угасал и только волнами переливались синие, красные и желтые угольки, долго сидел у печи, пытаюсь точно угадать тот момент, когда надо закрыть трубу. Об этом всегда предупреждали все мои знакомые и приводили в пример некоего мужика, хоть и своего деревенского, но угоревшего чуть ли не вусмерть. В деревне русскую печь на ночь никто и никогда не топил — только с утра. И я ворошил угли, пока не исчезали синие язычки, а когда ложился, то некоторое время боялся уснуть. Но из передка с его щелястыми окнами и холодным полом тепло и печные запахи выдувало быстро. В прохладной избе под несколькими одеялами и полушубком всегда спалось покойно и легко, а утром прикосновение ступней к остывшим за ночь доскам тотчас же прогоняло сонливость.

Я любил эту простую, бесхитростную жизнь, мне здесь хорошо работалось, но когда в снежном безмолвии проходила неделя или даже больше,

начинал чувствовать усталость и от этого дома, и от деревни, и от печки — от однообразия дней. Тишина и одиночество давили на меня. К тому же вскоре случилось еще одна странная вещь. Несколько лет спустя после того как я купил избу, в ней вдруг завелись мухи. Это были не те докучливые летние мухи, что питаются крошками еды и кусаются, но какие-то угрюмые похожие на тараканов черные продолговатые создания. Они оживали среди зимы, когда изба протапливалась, и не летали, а ползали по стенам и окнам, убивая меня своим несчетным количеством.

Дед Вася сказал, что такие мухи заводятся от старых дров. Но старых дров в избе не было, и я с ужасом понял — что это гниет сам дом. Его толстые бревна потрескались, стали изнутри превращаться в труху, а в трещинах завелись мухи и проникали в избу. С каждым годом их становилось все больше, и я подумал тогда о том, что будь я писателем-деревенщиком, то написал бы рассказ о деревенской избе, которая много лет стояла наперекор всем ветрам, морозам и дождям, но вот купил ее городской человек, она стала гнить и в ней завелись мухи. Потому что ничего кроме гнили от горожанина, а тем более москвича в русской деревне завестись не может...

А москвичи мою избу любили. Я часто ездил в деревню с друзьями. Это бывало в начале апреля, когда в Москве уже сходил снег, становилось грязно и сыро. Несколько бородатых мужиков, моих университетских друзей с рюкзаками и лыжами, довольно странно смотрелись в столичной толпе. Но стоило отъехать от Москвы на пару часов, все приходило в соответствие: в лесах лежал снег, а реки были покрыты льдом.

За зиму выпадало снега выше человеческого роста. Зимний лес был полон звериных следов. Мы спорили об их происхождении и выдвигали самые фантастические предположения от экзотической прошедшей мимо

россомахи до рано вставшего из берлоги медведя. С уверенностью назывались волк, лось и кабан, и только самих зверей не видели. Один лишь раз, правда, не зимой, а летней белой ночью к нашему дому подошла пара кабанов. Две черных свинки — одна покрупнее, другая помельче — спокойно бродили под окнами. Мы вышли с женой на двор и тихонько открыли ворота, так что могли наблюдать за ними почти с десяти шагов.

— А сюда они не залезут? — спросила жена испуганно.

Я сделал движение, будто собираюсь вскинуть ружье. Чуткие звери, до той поры мирно рывшие землю на краю пашни, шарахнулись в белую мглу.

Кабаны появились здесь лет двадцать назад. Они доставляли много радости охотникам, но еще больше хлопот огородникам. Дикие свиньи выкапывали картошку, а иногда и просто пугали ночью запоздалых путников, появляясь прямо на дороге. Однако убивать их без лицензии не разрешалось. Когда я удивленно спросил у деда Васи, неужто кто-нибудь из своих донесет, ведь это даже не охота, а защита собственного поля, он только изматюкался, и в глазах его блеснул так и не утоленный охотничий азарт.

— Разве что у тебя на хуторе ночью, пока никто не видит. Да и то выстрел услышат, докопаются.

Впрочем к чему — к чему, а к убийству живой твари меня не тянуло совсем. Хотя и зверей, и птицы здесь было очень много, и уже позднее в Осиевской купил избу мужичок, приспособившийся сдавать ее московским охотникам. Но я с ними так и не подружился.

Помимо рыбалки было еще два промысла, к которым я относился серьезно — заготовка грибов и ягод. Я пытался приобщить деревенское население к культуре собирания опят, однако переубедить консервативно настроенных поселян не смог. Они признавали только рыжики и желтые грузди, именуемые в этих краях подосиновиками (сами подосиновики прозывались «красноголовиками» и в случае полного отсутствия благородных грибов тоже шли в дело). В те дни, когда нарастали рыжики, деревенские бабы наперегонки чуть ли не с фонариками выходили шарить под молодыми елками. Я даже не пытался за ними угнаться, относясь к рыжикам как приезжий отпускник к конфетам в деревенском ларьке. Это лакомство (а рыжики, что говорить, были чудесны, и не случайно в былые времена недалеко отсюда расположенный город Каргополь славился рыжиками, которые собирали такими маленькими, что солили в бутылках) предназначалось только для избранных.

Мне было раздолье в другом: если год выпадал урожайный на опят, то небольшая прогулка в лес, и я волок столько крепеньких маленьких грибочков, сколько мог унести. А потом до полуночи мыл, жарил, отваривал, солил. Если же опят не было, приходилось побродить по лесу, чтобы набрать корзинку, но и это было в охотку. Подосиновики достигали невообразимых размеров, но при этом оставались не тронутыми червями, а коричневые подберезовики были на редкость крепкими и упругими. Нарезанные тонкими кружками и пластинами они за одну ночь высыхали на русской печи, и их потом хватало на целый год.

Сложнее было с ягодой. Вопреки распространенному убеждению, что весь север — это клюквенный, брусничный, черничный и морошковый рай — здешняя местность в этом отношении довольно убога. Километрах в двадцати на запад в окрестностях озера Воже и в самом деле находятся необъятные клюквенные болота. У нас же кроме нескольких лыв — так называли лесные полуполяны-полуболотца, где среди густой травы росла черника и клюква, а также Большого мха — единственного болота — не было ни одного ягодного уголья. Большой мох окормлял жителей всех падчеварских деревень плюс расторопных обитателей «Сорок второго», добравшихся до него на пионерках. Всем прочим приходилось идти довольно тяжелой дорогой километров пять или шесть.

Почему болото так называли, одному Богу ведомо. Оно и на болото-то не слишком походило. Когда я первый раз отправился его искать, то просто прошел мимо. Это была скорее заболоченная вырубка. Клюквы на ней было немного и некрупной. Ее очень рано еще неспелую начинали собирать и, к тому времени, когда ягода должна была бы поспеть, то на кочках, сырых пнях и полуразложившихся лежневках почти ничего не оставалось. И все же болото я любил не меньше озера и реки. Казалось бы, что красивого может быть в чавкающей под ногами воде, сыром мхе, низких березках и засохших сосенках? Но над Большим мхом стоял такой запах и такое небо висело над головой, так тихо и одиноко было вокруг, что сердце сжималось от печали и восторга. Пролетали птицы — большие клиновидные караваны журавлей или гусей, и снова наступала тишина. Я выбирал местечко посуше, разводил костерок и просто сидел на пеньке и смотрел по сторонам, даже забывая, зачем сюда пришел. Потом

находил кочку поусыпистей и начинал двумя руками неспешно ее обирать.

Иногда за ягодой я ходил с Нюрой Цыгановой — маленькой, сухонькой и на редкость бодренькой старушкой. Своей энергичностью и легкостью Нюра напоминала девушку. К ней единственной в деревне я относился с некоторой фамильярностью. Нюра это чувствовала, но нисколько не обижалась, а наоборот поддерживала мой тон. Ей было за шестьдесят, но и по лесу, и по болоту она носилась как козочка. В тяжелых бродниках я едва за ней поспевал. Я сильно подозревал, что Нюру разрывали противоречивые чувства — идти одна она боялась, а показывать мне ягодные места не хотела. Именно от нее я услышал историю о женщине, которая пошла однажды в лес, попала в охотничий капкан и в страшных муках умерла.

Эта история, как и многие другие, по-видимому, была своеобразным местным фольклором, но здешние женщины свято в нее верили и никогда не ходили в лес по одиночке. Простодушная Нюра так сильно мучилась тайной укромных угодий, что в конце концов я оставлял ее на болоте одну. Мы собирали клюкву каждый сам по себе, а потом сходились, и всякий раз оказывалось, что у моей «девушки» ягоды в два раза больше, но она меня примерно хвалила:

— Вот другой городской столько б не собрал, нет, — качала головой Нюра.

В Осиевской Цыганову не слишком любили. Покойная бабушка Надя осуждала за бесхозяйственность, над ней посмеивались — даже для деревни она была слишком деревенской, никогда не садилась играть в карты и пить чай, но работала много и была не то побогаче, не то менее прижимистой, чем другие. Она часто ходила в магазин в Сурковскую, возвращаясь оттуда навьюченная хлебом, пряниками, конфетами, сгущенкой или печеньем, и ни в чем ни



себе, ни внукам, которых ей подкидывали на лето, не отказывала.

С ней вечно случались какие-то досадные истории. Однажды она купила в магазине много живой рыбы, но засушить в печке — как это обычно здесь делали — не успела, и рыба протухла. Нюра выбросила ее на помойку, а на завтра косточки ей перемывала вся округа.

Но Нюра внимания ни на кого не обращала. Даже деревенская хитрость проявлялась у нее весьма своеобразно. Как-то я пришел к ней купить яиц. Она, как ни странно, была единственной на две деревни хозяйкой, державшей кур. Нюра сперва говорила, что куры несутся плохо и яиц нету и не будет и жаловалась на то, что куры свои же яйца и склевывают.

— Да неужто так бывает?

— Бывает, батюшко. Витаминов не хватат дак.

Потом после того как мы поговорили еще, велела зайти вечером. А когда наконец я собрался уходить, вдруг сказала:

— Ну пойду, гляну. Может снеслись уже.

И вынесла мне десяток превосходных яиц.

Всю жизнь над Нюрой тяготел рок. Она рано осиротела, в молодости жила в людях, а потом вышла замуж в деревню. Муж ее умер по халатности врачей в районной больнице. Ему забыли вовремя убрать капельницу, от нее истинную причину скрыли. Только пару лет спустя, когда она сама попала в больницу с ожогом, виновная медсестра ей во всем призналась.

Нюра была безграмотной и письма от детей приносила читать Наде. Ее дочь и два сына уехали работать в Заполярье, и, не желая расставаться с младшими, Нюра купила для них пустующий дом. В деревне ее опять осуждали: зачем ей две избы, тем более что купленная пустовала.

Но Нюра со свойственной ей наивностью рассчитывала, что хоть кто-нибудь из сыновей останется с матерью, женится и обзаведется хозяйством. Однако сыновья и слышать не хотели о том, чтобы работать всю жизнь в нищем колхозе. Никому не нужная изба с каждым годом все больше оседала в землю. Понимая бессмысленность этой покупки, Нюра очень жалела, что я купил дом у Таси, а не у нее.

— Лико ты, батюшко, мой дак передок двухэтажный, загорода есть, и крыша не тесом, а дранкой покрыта. Опять же в самой середке на деревне стоит. И жить-то в нем веселяй будет, не то что у тебя на даче страшно как, — говорила она, в сомнении качая головой и надеясь, что возможно его купит кто-нибудь из моих друзей. В качестве аванса Нюра даже так расщедрилась, что подарила мне превосходный матрас. Однако друзья мои, не перестававшие восхищаться сельскими видами и деревянной архитектурой, далеко от Москвы покупать избу не хотели, и Нюра осталась ни с чем.

Но, видно, дар предчувствия у нее был. Не зря она хотела удержать детей. Один из них вскоре уехал в Никель. Он написал, что устроился работать на комбинате и вдруг пропал. Нюра всю зиму маялась, ждала писем. Соседки ее успокаивали и говорили, что дело молодое, загулял парень и про мать забыл. Но время шло, вестей по-прежнему не было. А поздней весной, когда в оттаявшей тайге сошел снег, недалеко от города нашли хорошо сохранившийся труп Нюриного сына. Кто и почему его убил, какая трагедия произошла в заполярном лесу, так и осталось невыясненным. Да и кто бы стал это выяснять?

Несчастья Нюру не озлобили и даже не согнули. Она была настолько к ним привычна, что воспринимала как нечто само собой разумеющееся.

Я помню, однажды по дороге на болото она рассказала мне про свою старшую дочку. Девочка родилась с дефектом ног, долго не могла пойти. Когда в деревню однажды приехала бригада вологодских врачей, обследовавших всех детей в области, Нюре сказали, что ребенка необходимо на год класть в больницу. Нюра погоревала и отвезла дочку в Вологду.

— На целый год? — изумился я.

— На год, батюшко, на год, — закивала Нюра. — Ни разу и не побывала у ей.

— И не тосковали?

— Тосковала, конечно. Дак а куда я поиду? У меня хозяйство тут, свое, да телята колхозные. Разве кому оставишь? Когда привезли ее, сперва дичилась, привыкнуть ко мне не могла — а потом ничего, отошла.

Я думаю, что случись такое с кем-нибудь из моих знакомых — они не вынесли бы и половины. Во всяком случае когда год спустя у меня родился ребенок и сразу же попал в больницу, моя жена не помнила себя от тоски, да и я жил с ощущением, что если его потеряю, то моя дальнейшая жизнь просто не будет иметь смысла.

Нюра переживала все на редкость легко. И уж конечно дело было не в том, что я или моя жена были более тонкими созданиями. В Нюре просто присутствовала удивительная жизненная сила и стойкость, которой не было в нас. Она и сама себя не понимала до конца, а я был наверное тогда очень восторженным и юным и любил красивые и патетические сравнения. Но иногда мне казалось, что Нюра Цыганова — мать пятерых детей, потерявшая мужа и сына, беспечная, беспутная, лукавая и простодушная сладостная Нюра, столько вынесшая, что любой другой человек свихнулся бы, не знаящая себе цены, обидчивая и ни на кого не держащая зла Нюра, легкой, птичьей походкой идущая в сапогах с ведерком

клюквы по болотам и топям, и есть — сегодняшняя  
Россия.

Мои расхождения с деревенским обществом начались в ту пору, когда я задумал строить баню. Зная, насколько трудно выполнимой окажется эта затея, наверное не стал бы за нее браться. Но жить без бани было неудобно — да и вообще какая же деревенская жизнь, если негде попариться. Хотя, к слову сказать, удовольствие париться в Осиевской не признавали. В баню обычно ходили через несколько часов после протопки, когда она уже порядком выстывала, и только для того, чтобы помыться да постирать. Не то хотел я.

Человеку постороннему никакого материала на баню от колхоза не полагалось, а в те времена достать его было негде. В деревне мне все сочувствовали, но помочь не могли. Я поехал в Вологду и там в писательской организации взял письмо на имя председателя колхоза с просьбой оказать содействие. С этой бумагой выписал в правлении десять кубов леса на постройку бани и колодца, не обратив внимания на некоторую отчужденность и поджатые губы моих добрых знакомых. Но у меня были иные заботы — надо было кого-нибудь искать, чтобы этот лес валить, потом вывозить, наконец рубить баню и класть печку.

Однако вскоре все разрешилось: я познакомился с колхозным лесником по фамилии Тюков, который и взялся строить баню. В деревне мне советовали с Тюковым не связываться. Говорили, что он страшный пьяница, но другого выхода у меня не было — работающих мужиков на всю Осиевскую почти не осталось.

В декабре, когда светало в одиннадцатом часу, а смеркалось в третьем и стояли трескучие морозы, мы отправились с Тюковым валить деревья. Визжала

бензопила, громадные елки падали на землю, поднимая клубы снежного дыма, и Тюков заботливо отпихивал меня в сторону. В лесу он был трезв и сосредоточен. Повалив деревья и обрубив сучья, разводил большой костер и жаловался на то, что мужики этого не делают, захламляя лес, а штрафовать своих он не может. После мы приходили ко мне в избу и до полуночи сидели и пили водку. Света у меня в доме тогда еще не было, в недавно выцепленной избе изо всех щелей сквозило, выдувая последнее тепло. Я затапливал русскую печь, мы садились перед ней, и Тюков рассказывал мне свою жизнь.

Судьба его была по-своему даже более трагична, чем у дедушки Васи. Он был не менее его работящ, мастеровит и обстроил половину деревни, но сам ютился в бедной покосившейся зимовке вместе с женой, старухой-матерью и двумя взрослыми детьми. Долгое время он не знал своего отца, хотя жили они в одной деревне. Сразу после войны тюковская мать, у которой было уже двое детей, а муж погиб на войне, сошлась с парнем по имени Долька, который был чуть ли не вдвое ее моложе (так что, сделал я тогда вывод, история деда Васи и Першихи вообще-то была для тех послевоенных лет довольно типичной — война ударила в самое больное место — женщин было много, а мужиков мало, и это неравенство одних невероятно унизило, а других развратило). Ни о какой женитьбе речи быть не могло, тем более что Дольку забрали на семь лет в армию. Незаконный сын, унаследовавший и фамилию, и отчество от человека, погибшего на фронте года за два до своего рождения, рос хулиганистым, или, как здесь говорят, шалью. В конце концов когда его шалости показались чрезмерными, в воспитательных целях мальчика решили познакомить с папашей, который вернулся из армии.

Знакомство это, однако, Тюкова не исправило, может быть, наоборот, обозлило и глубоко ранило. Он любил выпить и погулять и ни в том, ни в другом не знал меры. Трезвый он был — золото человек, но пьяный невыносим. От его многодневных запоев страдали и дети, и жена. Выпив, Тюков становился буйным, дрался, и однажды по пьяни ему отрубили нос.

Историю тюковской жизни я описал в рассказе «Галаша». Этот рассказ прочитал мой хороший друг, литературный критик, и сказал, что все ему понравилось кроме истории с отрубленным носом.

— Это какая-то гоголевщина.

Возражать я не стал — но этот невыдуманный сюжет имел неожиданное продолжение, о чем я скажу чуть дальше.

Тюков любил со мной поговорить о жизни. Как и дедушка Вася, он принадлежал к очень странному и малочисленному сословию деревенских интеллигентов. Причем не таких интеллигентов, как школьный учитель, врач или агроном — это была какая-то совершенно другая, маргинальная интеллигенция. В покосившейся тюковской избенке, где не было ни полированных шкафов, ни зеркал, ни телевизора — непременно атрибута всех деревенских изб, время в которых было теперь расписано по телесериалам, стояли книги. Он брал в библиотеке журналы и книги у меня.

Он был абсолютно честным человеком. При своей должности колхозного лесника, от которого зависело, где отвести делянку и кому сколько насчитать леса, он мог бы давно озолотиться, но с какой-то грустью Тюков говорил:

— Не могу я воровать и взятки брать! Воспитали не так.

В сущности у него была совершенно собачья работа — вся жизнь в лесу, в любую погоду, осенью, зимой, весной в дождь и стужу, летом, когда съедают комары.

Не бывал он в лесу, только когда у него случались запои. Колхозное начальство смотрело на это сквозь пальцы — заменить работягу Тюкова было нечем. Когда я ходил за грибами, в самых глухих уголках леса встречались следы его деятельности: посаженные ряды елочек, расчищенные завалы, крепкие квартальные столбы. Он показывал мне самые сокровенные лесные уголья, которые и местные жители не знали. Но был в наших отношениях момент, меня смущавший.

Это были те годы, когда вся страна жила на талонах, которые к тому же еще и нерегулярно отоваривали. А я привозил водку из Москвы, накапливая ее несколько месяцев и побираясь у друзей. Я испытывал большие терзания, понимая, что спаиваю этого человека, пытался утешить себя тем, что если не я, то кто-нибудь другой ему нальет. Но все равно чувствовал вину перед тюковской семьей и со страхом ждал, когда его жена Лиза выскажет все, что обо мне думает.

Более удивительной женщины, чем Лиза, я не встречал нигде и никогда. Бывшая школьная учительница, очень хорошая, любимая учениками и любившая свою работу, она со стыда уволилась из школы, после того как Тюкову отрубили нос. Она никогда не роптала, не жаловалась, а жила и жила, делала свое дело — сначала учительницей, потом работала на почте, а когда и оттуда ее уволили по сокращению штата, стала носить старухам хлеб в дальние деревни.

Напиваясь, Тюков иногда ее бил, и она ходила с синяками на лице. Но ни одной жалобы по деревне от нее не пошло. И остальные были к этому чувствительны и отдавали Лизе должное. Она была всеобщей любимицей. Так мне открылась еще одна особенность деревенской психологии: здесь любят и искренне



сострадают тому, кто несчастен, но не любят слишком удачливых.

Однажды ко мне подошла тюковская мать и попросила:

— Алеша, не давай ты ему водки. Деньгами лучше заплати.

Она попала в мое больное место. Когда Тюков поставил сруб и пришел рассчитываться, я сказал ему, что водки у меня нет. Деньгами за работу заплачу и даже больше, чем уговорились. Тюковская губа выпятилась и обиженно задрожала, как у ребенка.

— Больше ничего я тебе, Николаич, делать не стану. И ушел, оставив меня с недоделанной баней.

Я понимал — дело тут не только в водке. Он обиделся на меня, потому что я вмешался в его жизнь и вздумал ему указывать. Видит Бог, я не хотел этого делать. Я почувствовал себя настолько усталым, что никакая баня мне уже не была нужна. В тот раз впервые я уехал из деревни не с чувством сожаления, а с облегчением. То, что было для меня чистой радостью, превратилось в неудобноносимое бремя.

Так случилось, что я не был в деревне почти год, а снова приехал с тем самым другом — критиком, что читал «Галашу». Вечером, как водится, мы выпили и долго говорили, спорили и глядели на зимнее звездное небо, а с утра меня разбудил стук в дверь. Я открыл — на пороге стоял Тюков.

— Отравы-то не привез? — спросил он, как ни в чем не бывало, но глаза его глядели в сторону.

— Вчера все выпили, — ответил я безжалостно.

Мой заспанный товарищ смотрел на безносого Тюкова, раскрыв глаза.

— А «Галашу» я прочитал, — сказал Тюков угрюмо и даже как-то угрожающе.

Теперь обомлел я — публикуя этот рассказ в «Новом мире», я меньше всего ожидал, что в деревне

Осиевской его кто-то, а тем более Тюков прочтет.

Критик же ни слова не говоря, полез за бутылкой.

— Ничего получилось, — сказал мой протагонист, сразу повеселев, — так если не знать, то даже интересно.

Что эта оценка выражала, я не уразумел, но самой большой стыд испытал при мыслях о Лизе.

— Лизка-то разводиться со мной задумала, — точно угадал мой страх он.

— Из-за рассказа? — побледнел я.

— Да нет, Николаич, не пугайся. Ты здесь не при чем. Это еще до того она сказала. Сил нет у нее больше меня терпеть. Как же я теперь жить-то буду, Николаич?

Но добрая женщина не сказала мне ни слова в упрек, и с Тюковым она не развелась и продолжает нести свой крест.

После того как Тюков прочитал мой рассказ, я окончательно похоронил идею не привозить ему водку. Наша дружба возобновилась и строительство бани окончилось. Оставалось только сложить печку.

Печки Тюков класть не умел, и сделать это вызвался его старенький отец, которого все по-прежнему кликали Долькой, Доляком, избегая называть полным и дико звучащим для России именем — Адольф. Отец и сын давно примирились друг с другом. Вместе выпивали, вместе работали, но большой теплоты в их отношениях не было. Ни разу Долька не побывал в доме у тюковской матери — вечно виноватой, работающей старухи, избегавшей смотреть в глаза невестке и по моему еще больше Тюкова боявшейся, что Лиза подаст на развод и тогда Тюков точно повторит судьбу першихиноного Галаши.

У Доляка была семья, но он рано овдовел, дети разъехались, и старик жил бобылем на краю Осиевской ближе всего к кладбищу. Он был к тому времени тяжело болен, но держал корову, сам ее доил и сдавал молоко в колхоз. Печку он мне сделал отличную, но оказалась она последней в его жизни — несколько месяцев спустя после того, как обсохла приречная глина, его отвезли на близкий погост, и парился я первый раз уже без него. Однако я забегаю вперед.

Для того чтобы сложить печку, нужно было где-то раздобыть полсотни кирпичей. Но кирпича в магазине не было. И тогда местный пастух — худощавый мужик лет пятидесяти, ровесник Тюкова, но при этом инфантильный как подросток, пообещал мне, что достанет кирпич за бутылку. Я не очень серьезно к этому отнесся. Пастух был пьяницей погорше Тюкова и

более болтал языком и обещал, чем делал. Прошло месяца два или три. И вот однажды утром, когда я ушел на вырубку за малиной, он привез к нашему дому на лошади кирпич и потребовал водку. Жена пробовала ему отказать и неубедительно ссылалась на то, что хозяина нет дома. Но пастух был настойчив. Его трясло со страшного похмелья, и водка ему была необходима как противоядие.

Жена вынесла бутылку, стакан и закуску. От последней он отказался, залил в себя стакан и... как подкошенный упал к ногам бедной женщины. Дыхание его остановилось. Широко открытые глаза бессмысленно смотрели в небо.

«Умирает», — подумала жена.

Пастух лежал на земле. Жизнь, казалось, едва теплилась в его щуплом теле. Рядом переминалась с ноги на ногу колхозная лошадь и скучным мутным глазом глядела на незадачливого кучера. Прошел час, другой. Ему не становилось ни хуже, ни лучше. Жена боялась от него отойти. Наконец пришли две сердитые женщины. Они грубо подняли пастуха, кинули его на телегу, как мешок, и ни слова не говоря уехали. А к вечеру о нас говорила вся деревня...

Кирпич, как выяснилось, пастух украл на колхозном дворе — причем, кирпич старый и никому не нужный. Но мне все равно пришлось идти в правление колхоза и объясняться. Заводить дело из-за полсотни кирпичей не стали, но в деревне отношение к нам переменилось.

Деревенские старухи, случалось, месяцами и даже годами обивали пороги правления, просили материала и работников, но им под всяческими предлогами отказывали. А тут приехал городской, с водкой, и сразу же ему все, а своим шиш. Полсотни кирпичей переросло в полтысячи, вся Осиевская перемывала нам косточки и простить завершения банной эпопеи не могла.

Жена моя, когда ходила в ларек наталкивалась на недоброжелательные взгляды и осуждающий шепот милых моему сердцу северных старух. Ее демонстративно не замечали, и только тюковская Лиза была единственным человеком, кто от нас не отрекся.

Я этого не ожидал. Мне казалось, что старые кирпичи мне в вину не поставят, и с этого момента в моем мировосприятии что-то нарушилось. Я понял, что как был для них чужим, так чужим и останусь. Ничего неожиданного в этом не было. Не кирпичи, так что-нибудь другое нас рано или поздно разделило бы.

Мое положение в деревне было изначально фальшивым. У них не было ничего кроме покосившихся изб, комарья, разбитых дорог и заброшенности — а у меня городская квартира, Москва, другая жизнь. Мы стояли на разных берегах, и даже общей юности, родни и могил, как у Плотниковой, у меня с ними тоже не было.

Однако последней каплей, переполнившей чашу умиления и изменившей мое отношение к деревне, стало другое: в избу стали регулярно залезать. Тридцать лет стояла она и никто ее не трогал, а стоило мне там поселиться, наведываться стали по нескольку раз в год. Лазили пацаны, может быть местные, может быть те, кто приезжали сюда на лето.

— Дак шали-то, — говорила Першиха, хотя ласковое это слово мало подходило к здешней шпане.

Тюков пообещал, что разберется. После этого больше не залезали, а может быть просто надоело и поняли, что взять нечего. Но я перестал относиться к деревенскому дому как к дому. Он стал для меня просто местом, куда можно приезжать — рыбачить, ходить по лесу за грибами или ягодами. А ощущение обетованной земли и обретенной родины пропало. Оно осталось во мне как одно из самых дорогих и сокровенных воспоминаний, и я не испытываю неловкости за свои

выспренные чувства. Они были наивными, но искренними, и я благодарен судьбе за то, что это сердечное умиление у меня было.

Год от года жизнь там становится хуже и хуже. Не рождаются дети, умирают люди, многие кончают самоубийством. А у тех, кто остается, впереди ничего нет.

Тюковская дочка Света закончила школу. Умная, красивая девочка, она поехала учиться в Вологду в техникум, получила специальность — но работы там не нашла. Нет работы ей и здесь. Она сидит в этой тесной и темной зимовке, и какое ее ждет будущее, я не знаю.

Когда я говорю со своими университетскими друзьями, преуспевающими в новой жизни, и они пытаются убедить меня в том, что в стране несмотря ни на что происходят перемены к лучшему, я всегда рассказываю им о Светке Тюковой.

В последние годы в райцентре в Вожеге, как и везде, появились коммерческие палатки, люди с Кавказа покупают и увозят лес, торгуют. Есть какие-то договоры не то с финнами, не то со шведами. То, что не успели вычистить «товаришши», доделают господа.

А деревня живет своей жизнью. Или вернее своей смертью умирает...

Последний раз, когда я там был, случилось еще одно несчастье. Старший сын Нюры Цыгановой Леня, который развелся с женой и на радость матери вернулся в колхоз, вместе с безотказным Тюковым переставлял в соседней деревне двор. После этого, как водится, выпили. Идти домой было километра три. На полдороге, когда поднимались в крутую горюшку, Леня упал. Тюков выбился из сил тащить его. Зашли в ближайший дом. Нюрино сына положили на печку — сами сели выпивать до утра. Несколько раз звали спящего присоединиться, но он молчал. Однако дурного

никто не думал — просто сидели и пили. Наутро стали мужика будить, а он был уже холодный.

Рассказывая мне об этом по дороге на Большой мох, Нюра долго костерила ни в чем не повинного Тюкова, а потом горестно проговорила:

— Умер Леня. От факта сердца умер.

**Падчевары**

***Повествование в рассказах***



## **Зимняя рыбалка на озере Воже**

Первый раз после большого перерыва я отправился в Падчевары на новом викторовском джипе. Привыкнув совершать долгий путь в вологодскую деревню на котласском поезде, потом несколько часов дожидаться колхозного или рейсового автобуса, трястись в нем пятьдесят с лишним раздолбанных километров по большаку и идти от остановки по разбитой проселочной дороге с тяжелым рюкзаком еще час до дому, уже жалея, что купил избу так далеко от Москвы и добираться до нее едва ли не сутки, я удивленно и словно во сне взирал, как громадная, легко и быстро идущая по дороге «тойота-лендкрузер» миновала Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль и Вологду, и, выехав из дому не слишком ранним мартовским утром, мы даже не к вечеру, как рассчитывали, а в послеобеденное время подъезжали к деревеньке, недалеко за которой начиналась архангельская земля.

На недавно построенную прямую бекетовскую дорогу ложились длинные тени. Медленно опускавшееся солнце играло на стеклах автомобиля, остались в стороне на всхолмиях среди лесов и полей красивые, занесенные снегом знакомые и незнакомые деревни с громадными северными избами — Гридино, Нефедовская, Огарковская, Анциферовская, Бухара и Огибалово, — в машине было не жарко и не холодно, играла приятная музыка, и в этом беззвучном и устойчивом движении посреди белого пространства было что-то неверное и нереальное.

Как часто я в Падчевары в прежние годы ни ездил, перемещение из городской квартиры в деревню было делом не только физически хлопотным, но порою и рискованным. Между этими мирами лежала очевидная

граница, которую поезд в неведомый мне миг пересекал тряской ночью, так что я ложился спать в одном измерении, а просыпался в другом и никогда не был уверен, что вернусь обратно. Там, где будило меня наутро беспокойство, была всегда иная погода, люди, слова, даже самый воздух был резче, ко всему нужно было подготовиться, себя собрать и переиначить — но, сидя в несущемся со скоростью полтора ста километров в час джипе, как мог я уразуметь, на каком отрезке пути — на мосту через Волгу, на границе Ярославской и Вологодской областей, в самой деревянной Вологде или где-то за ней — начинался этот иной мир?

Впрочем, одну очевидную границу мы все же пересекли. Покойный крестьянин Василий Федорович Малахов, которому я был обязан и покупкой избы в Падчеварах, и любовью к этим лесистым глухим местам, сидя на терраске своего дома, покуривая со мною «Астру» и отвечая на вопрос, отчего нет в деревне садов и ни у кого не растут яблони, вишни или сливы, рассудительно заметил, что климат здесь неподходящий, а вот в соседнем Харовском районе плодовые деревья не мерзнут, на две недели раньше вскрываются реки, распускаются деревья и поспевают рожь, причем разница между деревнями столь ощутима, будто кто-то прочертил линию между теплом и холодом. Голубоглазый хромой старик оказался прав: проехав поворот на Харовск, мы с удивлением обнаружили, что после обычной и почти не изменившейся с утра картинке весенней природы с почерневшим набухшим снегом в полях, гомонящими черными птицами и блестящим от воды асфальтом не плавно и не постепенно, но очень резко, скачком, прибавилось белого снегу по обе стороны дороги, а сама она оказалась покрытой ледяной коркой и погрузилась в безмолвие. Столбик на законном термометре автомобиля, даже не заметившего смены

дорожного покрытия и так же ровно поглощавшего километр за километром новой дороги, стремительно пополз вниз, по обочинам замелькали вешки, поставленные на тот случай, если путь заметет. Все здесь было иным, весна еще не приступала к зимним застывшим краям, здесь начинался мой Север, где я отсутствовал три года и теперь не мог понять, радует или тревожит меня возвращение, но одно обстоятельство в этой поездке меня определенно смущало.

Я и на своих-то доставшихся от покойного тестя «Жигулях» в Падчевары не ездил и не потому, что «Жигули» были старенькими, а из чувства неловкости перед деревенскими жителями. А тут джип, известие о котором облетит всю вожегодскую волость и надолго застрянет в народной памяти... И хотя вряд ли в северной деревне могли догадаться, сколько он стоит и кто в Москве на таких машинах ездит, приезд на чужеземном автомобиле в глухие края невольно бросал тень на мою гордую и опрятную бедность. Нет, никогда бы я не согласился на эту безумную поездку, отозвавшемуся впоследствии многими неприятными минутами, когда б не безрассудная страсть к рыбной ловле, противиться которой я был не в состоянии, ибо только на джипе мы могли пробраться на озеро Воже — цель нашего нынешнего путешествия.

В Вологодской губернии замечательные озера — Кубенское, Белое, Сиверское, — там водится много рыбы, но все это ничего по сравнению с озером Воже. Даже мой душевный богач, единоличник дед Вася, для которого вся местная природа была безнадежно погублена проклятыми большевиками, уважительно сказывал:

— Лужа большая, за раз не вычерпаешь.

Падчеварские бывали на Воже редко, без своего транспорта туда было не попасть, однако разговоры об

озере среди охотников и рыболовов разговаривали, и другой мой деревенский знакомый, колхозный лесник Тюков, к гиперболам и восторгу души не слишком склонный, в минуты частого летнего или зимнего бесклевья на нашей погубленной реке или капризном лесном Чунозере говорил, что зимой рыбалка на Вожеском озере и впрямь интересная, и разводил руками, показывая окуней, которые то и дело рвут прочнейшую леску.

Именно он заронил нам с Шурой, чаще прочих моих друзей бывавших в Падчеварах, отчаянное желание пробраться на вожеский лед зимой. С другой стороны, и хозяин джипа Викторов, охотник и рыболов, равного которому я не знал ни по мастерству, ни по трудолюбию, ни по разнообразию блесен, лесок, мормышек, катушек и прочих снастей, у него имевшихся, тоже был наслышан от знакомых егерей на Кубенском озере об этом малодоступном водоеме, и так все сплелось, что мы поехали.

Сердце мое забилося, когда остались последние километры до поворота на Наволок. Машина свернула с главной дороги и, ныряя вверх-вниз по падчеварским холмам, так что я не мог разглядеть свой дом, обыкновенно отовсюду видимый, совершала последние километры пути. Наконец после изгиба реки, где дорога разветвлялась, прямо в конце зимника, как если бы он вел к дому и не сворачивал, а шел через поле, появилась изба.

Издаലെка казалось, что за три года с ней ничего не случилось. Так же одиноко, беззащитно и бесприютно посреди полей под сенью трех высоких осин и березы дом стоял от деревни метрах в двухстах, охраняя мое житье от любопытного взора. Однако этого расстояния было вполне достаточно, чтобы зимой к избе было не подъехать и без лыж не подойти. Я честно предупреждал об этом своих товарищей и предлагал

оставить автомобиль в деревне, а дальше всем вместе делать тропу, но Виктор на это предложение обиделся: не для того он такую машину купил, чтобы пасовать перед сугробами.

Мы неслышно въехали в притихшую, занесенную снегом деревеньку, которая выглядела зимой пустынно, умиротворенно и трогательно, словно почти не осталось в ней жителей, а те, кто есть, впали в спячку. Джип проехал по главной улице, свернул на боковую и двинулся дальше по тракторной колее через небольшое поле, за которым стоял дом. В чистейшем рыхлом снегу трехтонный японский «крейсер земель» застрял метров через двадцать — некоторое время он волок перед собой кучу снега, а потом беспомощно зарылся капотом и встал. Снег достигал середины дверей. Коренастый, широкоплечий и малость кривоногий, как азиатский наездник, Виктор вылез сконфуженный, а Витальич, четвертый кандидат в вожеские рыболовы, первый раз в жизни готовившийся выйти на лед и горевший желанием изловить свою первую рыбку, огромный рыжеволосый человек, которого с университетских лет мы привыкли называть по отчеству не оттого, что он был нас старше, а за великий рост, доброту и рассудительность, покашливая, заметил, что Викторова предупреждал, но разве ж он кого слушает? — и мы с Шурой отправились за трактором к бригадиру Самутину.

К тому времени, когда Самутин подъехал на тракторе к месту пленения «тойоты», водитель наш уже достал довольно широкую и плотную зеленую ленту и стал деловито подсоединять «лендкрузер» к «Беларуси».

По растерянным глазам падчеварского тракториста, бывшего последней надеждой для нескольких десятков деревенских старух, которым привозил он дрова, корма, баллоны с газом, чинил лавы, заборы и городил

огороды, по передернувшемуся темному лицу его было видно, что дядя Юра чего-то не понял — подумал, наверное, что либо он слегка перебрал и взгляд у него не фокусируется, либо городские совсем спятили, потом посмотрел на Викторова, как на младенца, и промычал насчет стального троса.

— Это специальный сверхпрочный материал, — пояснил автомобилист уважительно. — Ты потихонечку, осторожненько, чуть-чуть дерни ее, а дальше она пойдет сама.

— Да зачем так? — удивился Самутин. — Я тебя на дорогу вытащу, и езжай куда надо.

— Э-э, на дорогу не надо, — одновременно обеспокоенно и ласково возразил Викторов; густые усы его подрагивали. — У нее коробка автоматическая, ее буксировать нельзя.

Самутин сел в «Беларусь», дернул рычаги и подался вперед, одновременно с ним включил заднюю передачу и нажал на газ Викторов. Однако джип даже не тронулся с места, а японский супертрос, как прелая клинская лесочка диаметром 0,2 миллиметра, на которую попался вождеденный килограммовый окунь с озера Воже, лопнул.

Из спящих домов вылезло человек пять. Они на все лады обсуждали машину, Самутина, снега, тросы, разбойных окуней, давали советы. Меж тем бригадир, ни на кого не глядя, ласково матерясь, привязал гремучую цепь — трактор уперся и без особого труда выволок сразу потерявшую свой праздничный и высокомерный вид иномарку на дорогу. Затем он позвал другого колхозного тракториста, Валю Цыганова, и вдвоем они расчистили дорогу до хуторка.

Только теперь, оказавшись возле дома, мы увидели, как пострадала за три года моего отсутствия изба. Мало того, что в нее, как всегда, залезли и разбросали по комнате вещи и посуду. Были оборваны снаружи

провода, дом еще больше покосился, а с крыши над коридором между двором и передком съехало несколько досок, и вся середина оказалась заметена снегом. Я опечалился оттого, что застал дом в упадке, было неловко перед гостями, как если бы я был виноват в том, что нет света, дымит холодная печка и едва-едва нагревает квартиру. Однако очень скоро начался дружеский ужин при свете газовой лампы, которую захватил запасливый Виктор, чувство вины сначала ослабло, а некоторое время спустя и вовсе исчезло, и изба с ее гладкими янтарными стенами и прямоугольниками окон с занавесками в красный горошек опять предстала в своем волшебном виде.

Напрасно убеждал нас серьезный и настроенный на рыбалку предводитель, что надо пораньше лечь спать, пораньше встать и ехать на озеро — сдвинув плечи, мы сидели вокруг стола, бросали в печь все новые дрова, так что температура в щелястом и не приспособленном для зимней жизни передке мало-помалу поднялась до пяти градусов по Цельсию; мы грелись изнутри, выходили на двор, отворяли ворота, глядели на белеющие в черноте поля, мерцающие звезды и огни дальних деревень; потом и этого показалось нам мало, и мы развели на снегу костер; вокруг огня растаял снег и обнажилась земля; мы вспоминали, как вдвоем с Витальичем выцепляли двор и никто в деревне не верил, что двое дачников смогут такое дело осилить.

Я соскучился по своему дому, который казался мне уже ушедшим в прошлое и несуществовавшим, был снова влюблен в каждое бревнышко, старенькие корзины, мучные лари и деревянные самодельные вилы, бродил по нему и не хотел идти спать, глядел на деревню, и хотя с тех пор повидал много удивительных мест, северный край показался в тот час моему опьяневшему сердцу еще более красивым.

Мужики меня понимали, и как ни торопил нас вожатый, и сам разделявший восторг помолодевших, взволнованных душ, отправились спать мы далеко за полночь и утреннюю зарю проспали. Двинулись в одиннадцатом часу, потом, не иначе как от вчерашнего умопомрачения, в одном месте я потерял ориентиры, и вместо того, чтобы ехать через Бекетово, мы понеслись по неверной дороге в Липник, так что на водоеме оказались около полудня.

Летом никакие дороги к Вожескому озеру не ведут, со всех сторон оно окружено болотами, и добраться до него можно только по воде; зимой же реки превращаются в дороги, и на озеро едут не только со всей Вологодской области, но и из сопредельных краев вплоть до Северодвинска. На самом озере ни одной деревни, кроме древнего и некогда очень большого села Чаронды, нету, но Чаронда находится на противоположном, кирилловском, берегу. Она давно опустела, и там не осталось никого, кроме нескольких старух, которым раз в год завозят по льду муку, макароны, чай да соль, и они сами себе пекут хлеб, поют песни и рассказывают сказки, зато в нашей восточной части озера есть рыбацкие избы.

С того единственного раза, когда я на озере побывал тринадцатью годами раньше, в памяти моей остались десятка полтора небольших домов, сети и моторные лодки возле причала, но теперь, повторив все изгибы русла Вожеги и выехав наконец в ее широкое устье, мы увидели даже не деревню, а целый городок. Наверное, больше сотни домов от совсем маленьких сарайчиков до изб-пятистенок стояли на высоком правом берегу реки, напозая друг на друга, и можно было представить, сколько собирается здесь в выходные дни, а особенно летом, народу и какой стоит шум. Однако, по счастью, в этот будний день людей было не слишком много, и большая часть домов была



заколочена. Лишь двое мужиков курили на берегу и с любопытством глядели на притормозившую «тойоту».

Накатанная дорога в этом месте кончалась, и дальше через озеро уходила колея. Дул холодный ветер, и громадное снежное поле лежало перед нами. На севере и юге оно сливалось с небом, на противоположном берегу виднелась колокольня в Чаронде и довольно большой высился посреди снегов черной полосой остров Спас, на котором прежде тоже была деревушка с церковью, и в датированном пятьдесят седьмым годом отчете туристической группы в турклубе на Большой Коммунистической улице в Москве, где я и узнал про существование этого дикого озера, сохранилась фотография рыболовецкой артели со Спаса: семеро бородатых босоногих мужиков тянули полный рыбы невод.

— Тяжелая у вас, ребята, машина, — сомнительно сказал подошедший к нам дедок.

— У нее мощность знаешь какая, — возразил Виктор, но легкая, как поземка, неуверенность просквозила и тотчас же улеглась в командирском голосе.

— Ох, тяжелая, — повторил дедок.

На самодельном невесомом шарабане, состоящем из двух камер от «Беларуси» и мотоциклетного мотора, легко и быстро старичок-ледовичок покатыл по заснеженному полю к трещине — так называли нагромождение торосов километрах в трех-четырех от устья, где велась основная рыбалка и куда мы тоже собирались попасть.

Виктор с Витальичем надели на колеса цепи, и мы двинулись по занесенной снегом колее. Первые метров пятьсот машина шла уверенно, потом начала пробуксовывать, нехорошее предчувствие сжало наши сердца, но прежде чем мы успели в нем разобраться, в

том месте, где колея не то раздваивалась, не то сбивалась и ее пересекала другая, джип встал.

Водитель несколько раз дернул его сначала вперед, потом назад, цепи глубже проели снег, машина села на днище, и освободившиеся могучие колеса завращались на мощных осях.

Мы вылезли наружу. Вокруг было то, что поэтически называется не то ледяным, не то белым безмолвием; посреди этого открытого пространства как-то странно ощущались не только размеры заветного озера, но и величие страны, где оно находилось, а кроме того, по-видимому, только русскому человеку понятная и присущая вопреки собственным сиюминутным интересам гордость за поглотившие японскую игрушечную машинку вологодские снега.

— Вот теперь понимаешь, как застрял в России Наполеон, — произнес склонный к историческим раздумьям Витальич. — Ну что, мужики, будем пробовать?

Обыкновенно застрявшую машину пытаются толкать. Особенно хорошо это получается враскачку — но как можно было сдвинуть эту махину?

«Тойота» сидела безнадежно, и казалось, теперь ее не вытащит никакой трактор, да и откуда было здесь трактору взяться? Самое разумное было отправиться рыбачить, а «лендкрузер» как не оправдавший своего предназначения и названия бросить и дать ему спокойно в мае, когда сойдет лед, погрузиться в ил и вчинить иск знаменитой компании за обман потребителя, однако вместо этого мы начали операцию по спасению самурайского крейсера.

В комплекте автомобиля помимо нарядного шелкового тросика имелась небольшая туристическая лопатка, которая сломалась примерно через полчаса энергичной работы сменявших друг друга мужиков. Машина редела, но не думала трогаться с места; мы

навалились на нее — она все глубже продираала цепями рыхлый снег, пока наконец не уперлась в лед. Теперь она сидела в плену так прочно, что выдернуть ее можно было только подъемным краном или вертолетом.

Помрачневший и не склонный к шуточкам Викторов отправил нас с Шурой на берег за ветками, а они с Витальичем продолжали руками копать под днищем. Издалека наши друзья выглядели очень трогательно в своем усилии, как если бы два муравья, большой рыжий и поменьше черный, умертвили, а потом попытались притащить в муравейник гигантского навозного жука.

Принесенные ветки «тойота» размазала по снегу, но какие-то неуловимые признаки в ее поведении заставляли предполагать, что мы на верном пути. Мы толкали ее втроем враскачку изо всех сил, был самый разгар дня, никто не проходил ни в ту, ни в другую сторону, и только видны были точки рыбаков возле вздыбленного тороса. Там клевало...

— Мужики, — произнес Викторов густым голосом, когда очередная попытка провалилась, — давайте так. Вы идите рыбачить, а я тут повожусь сам.

Ему даже никто не стал отвечать — настолько нелепо звучали его слова. Мы устраивали перекуры, по очереди отгребали снег, потом сходили в рыбацкую избу за лопатой, нарезали новых веток с прибрежных кустов и побросали их под колеса, сломали и эту лопату, а машина по-прежнему не сдавалась. Она была ужасно мощная и стыдилась своей беспомощности, казались ненужными все ее цилиндры, лошадиные силы, плавные автоматические двери, воздушные подушки, гигантская панель управления, кондиционер, мы подтрунивали над ней, погоняли матерными криками, хохотом, беспечностью, веселостью и остроумием.

И наконец — о чудо! — джип вздрогнул, получил небольшое ускорение, взобрался на кручу и, не веря

себе, проехал вперед несколько метров. Однако его было мало вытащить, машину надо было развернуть, потому что самое опасное для нее оказалось съезжать и заезжать на колею; еще несколько раз она садилась, снова матюги, и, уразумев некоторые тонкости в искусстве джипования, мы ее выпихивали, и когда наконец автомобиль стоял в нужном месте и нужном направлении и можно было отправиться рыбачить, на озеро спустились тихие сумерки весеннего равноденствия.

Солнце садилось прямо за Чаронду, за высокую церковь, подсвечивая береговую линию, лес и избушки на берегу. Джип и четыре фигуры подле него отбрасывали четкие тени; поднялась мелкая поземка, и вспотевшие тела спасателей озябли, но что-то умиротворенное чувствовалось в этом вечере. Мимо нас тянулись рыбаки. Согнувшись, на лыжах или пешком они натужно волокли за собой, как собственные тени, доверху набитые рыбой сани; так идут, возвращаясь с поля после трудового дня, выполнив долг, крестьяне. Никто не обращал на нас внимания, как если бы застревающие в снегах джипы и суетящиеся вокруг них столичные пижоны в пуховых куртках были здесь делом привычным и надоедливым.

На обратном пути мы застряли в последний раз уже на самой колее, и когда через два часа, измотанные, почти в совершенной тьме, выехали к реке, Шура, который лучше всех знал владельца джипа, ибо прожил с ним пять лет в крестообразном общежитии университета на проспекте Вернадского, шепотом сказал мне, что если завтра Виктор вздумает снова ехать на машине по озеру, то он выйдет возле рыбацких домиков и дальнейшей ответственности за эту авантюру нести не будет.

Я не отнесся к Шуриным словам серьезно. После сегодняшнего дня только полный идиот мог снова лезть

на джипе в озеро, а владельца процветающей фирмы идиотом назвать было никак невозможно. Но едва мы отъехали от озера и на проторенной колее машина пошла уверенно, обрел свою обычную самоуверенность и автомобилист. Троице не смевшим от ужаса слова вымолвить пассажирам стал он объяснять, что проанализировал ситуацию и понял свои ошибки: цепи надо снять, они только мешают, потому что с ними машина быстрее проваливается и зарывается, ехать же надо не останавливаясь и не меняя колею, а еще надо взять две лопаты, доски, и никаких проблем с автомобилем не будет.

Шура сомнительно покачал головой, и тогда Викторов неожиданно расвирепел и, оторвавшись от руля, так что машине грозило улететь в кювет, стал говорить, что, может быть, для нас важнее всего надраться и он не понимает, зачем для этого надо было ехать за тридевять земель, но его задача — проверить в деле джип, а если машина застрянет, хотя практически теперь это исключено, он и один ее откопает. Нам осталось только хорошенько посидеть вечером в протопленной и теплой избе, за полночь лечь спать и набраться сил перед новым трудовым днем.

Без цепей машина застряла иначе, чем с цепями. Теперь по прошествии времени (а с тем же Викторовым мне доводилось вытаскивать год спустя на Кубенском озере из снежной ямы и снегоход «Буря», и прицепленные к нему здоровенные сани, и переделанную под рыбацкие нужды карету «скорой помощи», хотя с «тойотой-лендкрузером» ни в какое сравнение это нейдет) я затрудняюсь сказать, какое из вожеских застреваний было лучше и в который раз мы застряли скорее. По-моему, это произошло примерно на одинаковом расстоянии от дороги, но психологически второе оказалось все-таки более тягостным.

С одной стороны, теперь мы знали, что четырьмя мужиками джип, в принципе, вытаскиваем и его освобождение из снежного плена лишь вопрос времени и труда, с другой — ну, первый день ладно, туда-сюда, ребята поразвлекались, а на второй хотелось порыбачить, и когда машина встала, не было больше шуточек, началась суровая, скупая на слова мужицкая работа.

Несмотря на полный абсурд происходящего, мы не унизились до ругани и обвинений, мы ведь были настоящими друзьями, пусть один ездил на джипе, другой на «вольво» двадцатилетней давности, третий на «Жигулях», а четвертый на велосипеде. Но часа через два беспрестанных трудов, глядя на скрючившегося под колесами небритого олигарха, Шура вдруг принялся рассуждать о природе русского успеха и, отирая пот, отряхиваясь от снега, сказал нам с Витальичем, что здесь, на этом льду, он понял одну вещь, и, может быть, ради этой вещи и стоило ехать, — а именно, что никогда ни он, ни Витальич, ни я не смогли бы стать владельцами фирмы, джипа и загородного дома и добиться успеха, а вот Виктор смог. И не потому, что он фантастически трудоспособен и упорен, а потому, что успех приходит лишь к тем, кто действует против всяческих правил. Когда прут вопреки очевидному, когда абсолютно ясно, что делать таким образом нельзя, а они делают, тогда, и только тогда, добиваются в этой стране результата.

Мы с Витальичем как люди исконно столичные и, следовательно, менее амбициозные отнеслись к этим словам как к очередному проявлению Шурино остроумия, патриотичный Витальич лишь кротко возразил против словосочетания «эта страна», однако Александр, пять лет проживший с Викторовым в общаге и даже носивший одну с ним обувь (у обоих иногородцев был одинаковый размер, но саратовец

стачивал левый ботинок, а норильчанин правый, и через год они обыкновенно менялись), по-видимому, не шутил.

Викторов занимался бизнесом так, как иные пишут стихи, романы или даже — страшно вымолвить — критические статьи. Он искренне свое дело любил, по-рыцарски ему служил и уверял нас, что по большому счету его преуспевающие знакомые такие же люди, как и мы, упрекал в обывательском высокомерии и приводил немало примеров замечательной человечности своих новых друзей. И хотя мы не вполне были свободны от сомнений, гораздо радостнее было сознавать, что романтичный товарищ наш одинаково верен дружбе и со спивающимся приятелем молодости, и с директором московской гостиничной сети. А вот о затененных сторонах своих лирических переговоров коммерсант никогда не рассказывал, и по внезапной жесткости его лица и резкости слов можно было только догадываться, чего ему стоило подняться и, теснимому со всех сторон, удерживать свой плацдарм.

...А все-таки с цепями было лучше. Или снег вчера был не такой рыхлый. И потом, совершенно никуда не годились гладкие доски, прихваченные нами из дома, по которым скользили колеса. Мы снова отправились на берег за ветками. Шура посерел лицом, будто работал не на свежем воздухе, а в задымленном цехе. Витальич, на которого благодаря его стати падала основная нагрузка, держался за спину, да и я уже не верил, что этот кошмар когда-нибудь кончится. И только Викторов не терял духа, был деятелен и бодр, продолжал откидывать снег. Я глядел на эту картину словно со стороны, хотелось стряхнуть наваждение, и, как бывает в минуты сильной усталости, казалось, что все это в моей жизни уже было: рыхлый снег, черная линия леса, небо, поземка, тяжелое дыхание — это и есть жизнь, а остальное — лишь приложение к ней. Трудно было

представить, что однажды все закончится и я окажусь в тепле, уюте, покое, и тут мне вспомнилось, как много лет назад в одном из наших первых походов после целого дня проливного дождя, когда мы промокли до нитки и не осталось сухой одежды в неправильно уложенных рюкзаках и мы малодушно объявили молчаливую забастовку, забившись под пленку и достав бутылку водки, Виктор в одиночку разбил лагерь, установил тент, разжег огромный костер, сварил макароны, вскипятил чаю и ни словом, ни жестом ни тогда, ни позднее нас не попрекнул...

Мимо проехали два «уазика», и, глядя на то, как легко скачут отечественные «козлы» по родным снегам, Витальич молвил:

— Вот это, я понимаю, машина.

В его голосе не было ничего, кроме ровной констатации факта, но владелец «тойоты» смурнел час от часу, и я чувствовал, что он готовит нам новый рабочий день.

Порыбачить мы опять не смогли. Правда, в тот день мы закончили джиповать засветло, и на обратном пути у нас осталось полчаса, чтобы зайти в рыбацкую деревню и купить там рыбы. Поселение выглядело довольно странно, это было в чистом виде мужское царство — этаким андрогинный рай. Поскольку дрова в нем были дефицитом, мужики набивались по несколько человек в чью-нибудь избу, куда с улицы заходили, как в дымовую завесу, и коротали ночи, чтобы наутро отправиться на ледовую работу. Многие из них жили в Вожеге — пристанционном поселке, месте сумрачном и угрюмом, но здесь легче было прокормиться: промышляли круглый год рыбой, а осенью клюквой и грибами, помогали строить новые дома и тихо пережидали затянувшуюся реформенную непогоду.

Мы купили у них несколько свежих судаков, пожарили, сварили умопомрачительную уху, но в тот



день сломался перевпечатлявшийся Шура, и мы сидели вдвоем с Витальичем. Иногда Викторов отрывал голову от подушки и пытался загнать нас спать, однако мы никуда не шли и гадали, сколько часов продлится завтрашняя джиповка, в коей мы не сомневались, хотя в этот раз Викторов неуверенно дал слово, что на лед больше не сунется; водка нас уже не брала, и я предательски помышлял о том, чтобы никуда не ездить, а остаться дома, посидеть с удочкой на речке, где иногда ловились мелкие и окушок, и ершик.

Однообразие и схожесть дней стали угнетать, и душа просила выходного, но когда в кромешной тьме меня разбудил истошный вопль и стук — Александр вышел по малой нужде на улицу, и за ним захлопнулась дверь, — то понял, что никуда от друзей своих мне не деться и быть единоличником в компании не удастся.

Когда назавтра мы подъехали к озеру, в устье реки стояло несколько «Жигулей», «Москвичей» и «Запорожцев». Была суббота, на озеро прибывал народ, но, похоже, ехать по снегу решался лишь на «уазиках». Именно эти жалкие «Жигули» и «Москвичи» хозяина джипа и подкосили: представить, что его нарядная, могучая машина будет позорно стоять в одном ряду с отечественными консервными банками, Викторов не мог.

Он замешкался, завозился со снастями и пробормотал:

— Вы, мужики, идите, а я следом.

Не задавая лишних вопросов, смиренные, тихие и пешие, не оглядываясь назад, мы побрели к торосу. Идти по снегу было не слишком легко, ноги проваливались, в лицо дул ветер, но душу грела слабая надежда, что уж сегодня мы будем вознаграждены за два дня кромешных страданий.

Минут через десять мы услышали за спиной странный звук.

— Не оборачивайтесь!

Но это уже не имело значения. Мимо нас на громадной скорости, рыча, мчался викторовский джип. Мы даже не замахали руками, а проводили его глазами спокойно и отстраненно, готовые в любую минуту прийти на помощь, но на этот раз водитель выбрал новую тактику. Он шел не по колее, а по целине на максимальной скорости, едва касаясь колесами снежной поверхности, как судно на воздушной подушке. Сбавь он скорость хоть на мгновение, тотчас же рухнул бы в снега, и теперь уже навсегда, — но благодаря мощному двигателю японская махина перла через озеро, как русский предприниматель. Не хватало только видеокамеры, чтобы ее движение заснять и продать фирме в качестве рекламного ролика всепобеждающей восточной техники. Джип уменьшался в размерах, уже не было слышно звука мотора и нельзя было понять, застрял он или добрался до тороса, а если добрался, то как станет там разворачиваться и где набирать скорость для обратного пути.

Черные точки впереди, казалось, застыли и не приближались, как если бы мы топтались на одном месте, не в силах преодолеть вращение Земли. Несколько раз посреди целинного снега попадались знакомые нам громадные ямы, устланные ветками смятого ивняка, будто в них ночевал и ворочался во сне оттаявший мамонтенок, и снова тянулся без конца и края ровный снег.

Потом куча рыбаков стремительно приблизилась, мы стали различать отдельные фигуры, а когда подошли к торосу, возле которого, как на выставке, на истоптанной сотнями пар ног площадке, даже не погрузившись в плотный снег, стояла готовая к новым победам самодовольная «Тойота», то по чуть-чуть озабоченному викторовскому лицу угадали, что что-то было не так. Причем это «не так» относилось отнюдь не

к джипу, но к самой атмосфере и в особенности к рыбакам: нечто легкомысленное и слишком беспечное почудилось нам в их поведении. Мужики не сидели над лунками, не было характерных движений рук, судорожно вытаскивающих леску, люди слонялись, выпивали, трепались, бесцеремонно разглядывали машину, и только один человек на льду, сурового вида, с обветренным лицом, одетый в яркий пуховик, перелетал от дырки к дырке, хватался за ледобур и яростно делал новые лунки. В первый момент мы не поняли, а потом поглядели на пустой лед — и до нас дошло: сегодня нет клева.

Наверное, на волшебном вожеском озере такое бывало нечасто, может быть, нам фантастически не повезло, и оставалось только представлять здоровенных колючих красивых окуней, которые должны были рвать леску, вылезать из лунки и биться на льду, но сторожки молчали. Викторов дырявил все новые отверстия, и длины бура едва хватало, чтобы пробурить толщу льда; он менял цвета и размеры мормышек, нацеплял то мотыля, то опарыша, однажды ему удалось вытащить подряд двух ершиков, он блеснил, бросал в лунки ароматные присыпки, кормового мотыля и говорил, что сейчас вот-вот пойдет клев, главное — не унывать, и мне опять вспоминался дождливый вечер, когда мы сидели под пленкой и так же безучастно на него глядели...

А рыбаки меж тем лениво толковали про перемену погоды и собирались домой, советовали нам приехать в начале мая, когда лед на озере подымается, отрывается от берега и нужно на лодке к нему подплывать, а дальше идти пешком к трещине, и вот тогда-то и бывает самый сумасшедший клев, и каждый из нас с ужасом думал, что в этом случае джип не застрянет в снегу, а уйдет на дно и нам придется доставать его оттуда.

Витальич, которому так и не суждено было поймать на льду свою первую рыбку, достал бутылку, мы разложили закуску, выпили, стало нам тепло и хорошо. Благодушно мы смотрели и приглашали выпить Викторова, который уверял, что на льду никогда не пьет, и, не желая сдаваться, продолжал бегать от лунки к лунке. Потом и он махнул рукой и сел рядом с нами:

— Разливайте!

На обратном пути, загрузившись всем скопом в машину без сучка и задоринки, мы, с гиканьем пронесясь по снежному полю, купили в мужицкой деревне судаков и уехали, так и не поймав ни одной стоящей рыбы, но зато подарив рыбакам превосходного крупного мотыля с московского Птичьего рынка и оставив о себе память странную и темную — кто были эти люди и зачем сюда приезжали?

Ночью погода переменилась. Задул восточный ветер, испортивший нам единственный день рыбалки, Шура принялся топить печь, но с равным успехом можно было бы развести костер на улице, тепло из передка выдувало, мы промерзли насквозь и утром, побросав неубранный дом с немытой посудой, отступили из деревни. Викторов боялся, что вечером под Москвой может быть пробка, торопил нас, в суматохе я не мог отыскать ключ и закрыть дом, и мне казалось, что больше я в него не вернусь. Но уже на подъезде к Харовску градусник за окном машины полез вверх, в Вологде текли ручьи, была весна, за три дня, что мы отсутствовали, еще больше почернели и осели поля, прибавилось гомонящих птиц, все было снова хорошо, мы обгоняли всех, кто был на дороге, повеселевший Викторов обещал Шуре помочь с работой, подарил нам на память по зимней удочке с вольфрамовыми мормышками, и я даже не расстроился, когда оказалось, что мой рюкзак с картошкой и грибами

забыли в избе, и теперь ему предстояло дожидаться весны и тихо гнить со всем содержимым на лавке.

## Летние ночи в Падчеварах

— Эй, мужики, это вы в марте на джипе приезжали?

На самом краю деревни на плоской крыше сарая совсем на городской манер жарилась под горячим июньским солнцем незнакомая компания: несколько молодых парней, девицы в купальниках, блестели бутылки, орал всюду магнитофон, и лишь сумрачная полная тетка средних лет, в темном платке, молчаливо и не обращая на молодежь внимания, ходила с ведром по огороду и скрашивала эту немыслимую картину, хотя бы чуть-чуть придавая ей нормальный деревенский вид.

Главный среди отдыхающих, здоровый, коротко постриженный качок в узкой майке, недоверчиво поглядывал на меня и двоих Тихомировых.

— Я думаю, мы с вами найдем общий язык, — сказал он наконец значительно, но не вполне уверенно. — Залезайте к нам, мужики.

— В другой раз как-нибудь.

Качок недовольтно засопел — не привык, чтобы ему отказывали.

— Давай, давай залезайте.

Но мы уже двинулись. В спину нам засвистели, заулюлюкали, а потом стали посылать безобразные ругательства.

— Это кто такие? — изумились Тихомировы, которые никакого отношения к джипу не имели.

— Да шут их знает.

Я их и в самом деле почти не знал. Аккуратная, обшитая и покрашенная голубой краской, покрытая шифером теплая зимовочка, которую облюбовала компания, была ближайшей к моему дому, если не считать низенького дома старухи Першихи. Они так и стояли рядом — окруженный кустами черной

смородины старый передок с разобранным на дрова двором и голубая, какая-то на вид совсем не северная легкомысленная избенка. Когда я купил свой хутор, а зимовка еще пустовала, после того как из нее съехал наш зимний спаситель бригадир Самутин — для его большого семейства она оказалась слишком мала, — одинокая Першиха очень сокрушалась, что я не поселился в этом ладном домике, тремя оконцами смотревшем на тихую зеленую улицу.

— И тебе, и мне спокойнее было бы, — приговаривала старуха всякий раз, когда я шел мимо, и она нарочно выходила мне навстречу. — Дому так догляд нужен.

Я кивал, но уединенный, защищенный от любопытного взора, просторный, хотя и не такой обустроенный, настоящий вологодский хутор с видом на долину реки и окрестные леса был моему сердцу милее, нежели маленькая зимовка. Да и все равно эту избушку мне никто бы и не продал. Председатель колхоза берег ее для своих, и в конце концов в зимовке поселился его знакомый вожегодский мужик, приезжавший сюда на охоту и изредка привозивший охотников чуть ли не из самой Москвы. Были ли они его друзьями или же он занимался своеобразным бизнесом, я не знал, но новый хозяин вскоре умер, и теперь в деревню как к себе на дачу стал ездить на «уазике» его сын и возить своих друзей.

Кажется, они тоже охотились, что-то рассказывал мне про них лесник Тюков, упоминала Першиха, но я на новых соседей внимания не обращал, и им до меня дела не было. И вот на тебе... Не одни коситься станут, так другие в друзья набиваться. И чем больше я над этим размышлял, тем сильнее мне делалось не по себе: что, если вся эта шепутная команда закатится ко мне в гости? Но кто бы мог подумать, что Богом забытые Падчевары станут местом отдыха вожегодской богемы?

А погодка была и впрямь дачная. Середина июня, солнечно, тепло, белые ночи — даже трудно поверить, что всего два-три месяца назад снега было выше человеческого роста, в нем застревали мощные машины, невозможно было согреться в избе и все вокруг было белым-бело...

Переход от зимы к весне, таяние снегов, ледоход, прибавление светового дня были, пожалуй, единственным, чего я в деревне еще не видел. А вот к концу весны, покончив с экзаменами в университете, всегда старался поспеть и наступление лета очень любил. Оно приходило стремительно, на глазах, за несколько даже не дней, а часов деревья покрывались листвой, будто старались наверстать потерянное время. Желтым, голубым, фиолетовым цвели луговые цветы, дни и ночи напролет пели птицы, и до сумерек летали бабочки.

У магазина стояла невысокая старуха с двумя сумками через плечо и, щурясь на солнышко, приговаривала:

— Ой, беда, овода скоро подымутся.

Дом опять обворовали. Утащили пузатый чайник со свистком и кастрюли, но самое ценное я держал в сеннике — небольшой комнате в верхней части двора, которая запиралась мощным амбарным ключом и за все десять лет моего деревенского житья еще ни разу не сдалась вору. Ее пытались взломать топором, лазили проволокой в замок, долбили стамеской, но все было тщетно — и дверь, и засов были сделаны на совесть.

С большого и невидимого озера дул сильный и теплый ветер, мы сидели в высокой светлой горнице, глядели по сторонам, и было так хорошо от молодого разноцветья. Вместе с Тихомировым я вытащил на улицу к колодцу оставшуюся после зимы грязную посуду и сгнившую картошку, мы прибрались в доме, распахнули настежь окна, передок отогревался,



проветривался, наполнялся запахами летней земли, комары уже поднялись, но были еще не слишком наглыми и в избу не лезли. Света по-прежнему не было — теперь его отсутствие почти не ощущалось: на двух керосиновых плитках можно было прекрасно приготовить обед, еще у нас имелся примус, и я почувствовал себя опять вернувшимся во времена, когда только стал счастливым домовладельцем и на керосинке или в русской печи готовил себе еду.

На деревенской свалке зоркий Тихомиров отыскал самовар, мы почистили его и на улице кипятили воду, жили неторопливо и тихо, беседуя про разные интересные места, в которых побывал в командировках Николай Иванович, и в том числе про Вьетнам, где мой гость познакомился и подружился с большим Витальичем, а через него и со всеми нами. И нет-нет да и поглядывал я в окошко на нехороший дом — но, слава Богу, слышал только доносившуюся оттуда музыку...

Худо ли, бедно, но мы залатали с Николаем Ивановичем протекавшую над коридором крышу, починили перила в коридоре и сделали небольшое крылечко перед дверью, чтобы не нужно было высоко задирать ногу, когда переступаешь из коридора порог квартиры. Собрались было даже смастерить из ненужного мучного ларя новый топчан для приема гостей, но без гвоздодера разобрать прочное сооружение, построенное много лет назад солдатом Анастасием, не смогли. Ломать ларь было жалко — только мне он был без нужды, а отдать его тюковской матери, как она просила, не получалось, потому что ларь, видно, собирал солдат прямо в коридоре, и вытащить его через небольшую дверь на улицу было невозможно.

В разговорах и неспешных делах, в воспоминаниях и молчании проходили наши долгие дни. Вечерами мы рыбачили на металлической лодке со смешным

фабричным названием «Романтика», которую я привез в свое второе падчеварское лето из Москвы. Лодка шла быстро, не боясь ни перекатов, ни камней, слушалась весел и обладала всего двумя недостатками: во время рыбалки стоило случайно задеть удочкой борт или дно, она гремела на всю реку, и затащить ее на гору к дому было делом нелегким.

Покуда был жив дед Вася, он давал мне здоровенную тачку, и я привозил на ней лодку к его избе с резными окошками и терраской, стоявшей гораздо ближе к реке, чем мой аскетичный хутор, но после дедовой смерти баба Надя держать «Романтику» в своей усадьбе отказалась:

— Гли-ко ты, батюшко, залезут ко мне из-за твоей лодки и напужат.

Мне пришлось оттащить посудину к своему дому, и с тех пор я ни разу ее на воду не спускал и плавал на резиновой. Однако с годами моя самая первая надувная лодочка, которую я многожды раз пропарывал, латал и заклеивал, наконец окончательно сгнила от хранения в сыром доме, металлическая же все скучала в нижней части двора вместе со старыми досками, телегой, хомутами и козлами, и зима была ей нипочем. Ее-то мы с Николаем Ивановичем и спустили в это лето на воду — она легко выдерживала троих пассажиров, и, швыряя в разные стороны блесны, мы ухитрились выловить в вечер по щучке-другой — на большее река не расщедривалась.

Мы ходили на Чунозеро, где клевало по обыкновению вяло, зато нас поедом ела мошка и куковала на другом берегу кукушка, и я бессознательно начинал считать звонкий бой лесных часов, но голос птицы то и дело прерывался, и больше четырех раз подряд она не куковала.

Белые ночи хороши еще и тем, что не заставляют никуда торопиться. Можно прийти домой как угодно

поздно и сколько хочешь спать, так что мы рыбачили до полуночи, потом шли в гору к дому, затевали ужин и сидели в полутемной комнате до рассвета. Соседи нас не беспокоили — может быть, уехали, а может быть, все про нас поняли и потеряли интерес, и никто не мешал нам благодушествовать, но все-таки что-то неладное было на сердце...

Я глядел нерадивым хозяйским оком на свой потемневший и растрескавшийся пятистенник с перекошенным, осевшим двором и разъехавшейся кровлей и хорошо понимал одну вещь: дом надо либо бросать, либо спасать. Перекрывать крышу, чинить крыльцо, укреплять стены и делать это сейчас, потому что через несколько лет будет уже поздно. Когда-то его купив, я вложил в него столько денег, столько душевных и физических сил, жил неделями поздней осенью и зимой, не ходил ни на рыбалку, ни в лес, ни на болото, нанимал в деревне работников, упрашивал их и кланялся в ножки, угощал водкой, готовил им в печи и на керосинке обеды, возил из Москвы запчасти к их мотоциклам, но сделать всего, что требовалось, не успел, а теперь не было у меня ни прежнего запала, ни времени, ни денег.

Если бы в избу не залезали, наверное, и относился бы я к ней иначе. Но так не лежала у меня больше к дому душа, я чувствовал себя здесь незащищенным, и снова, как в первые падчеварские недели, казалось мне, все выталкивает меня отсюда.

Да и после деда Васи и Тюкова близких мужиков в деревне у меня не осталось...

В предыдущем рассказе я ничего не написал о смерти своего друга не друга, даже не знаю, как назвать, а вернее, сказать, кем мне был этот человек, на пятнадцать лет меня старший, с которым мы столько километров исходили по лесам, просидели часов в лодке и на льду, проболтали зимними ночами у русской

печи в холодном доме и выпили водки, с кем ссорились и мирились, играли в шахматы или просто курили и молчали.

Тюков сам пришел ко мне знакомиться еще в первую мою падчеварскую осень, когда, по-детски влюбленный в деревенскую усадьбу, я приносил из леса маленькие елочки и сосенки и рассаживал их вокруг дома.

— Посадки одобряю, — сказал невысокий коренастый человек в пиджаке и сапогах, открыто улыбнулся беззубым ртом и протянул руку, — только сосна не приживется.

Я недоуменно воззрился на широкое лицо, на котором отсутствовал нос.

— Лесник я здешний, — пояснил он. — Во-он изба моя в Кубинской, видишь, крыша виднеется. Заходи чай пить.

И снова я удивился, потому что всегда мне представлялось: лесник должен жить в избушке где-нибудь в лесу, а не посреди деревни. Я вообще тогда очень многому удивлялся и радовался, всем живо интересовался, со всеми охотно знакомился и не слушал пересудов деревенских старух, что Сашка Тюков-де страшный пьяница, ему и нос в пьяной драке отрубили и нечего мне с ним дружить.

— Тюкоу, — произносил его фамилию на здешний лад дед Вася.

Что еще я мог сказать о нем кроме того, что сосенки действительно не прижились, зато елочки подросли, а сам он стал героем моего рассказа, а затем и целой повести, из-за которой я теперь немного тревожился: вдруг она нечаянно попала в Падчевары, ходит по домам и обсуждается своими невыдуманными персонажами. Ведь тот самый первый и давний мой рассказ о своей жизни Тюков случайно прочел и оттого относился ко мне странно: ему и приятно, и неуютно

было оттого, что о нем пишут мелкими печатными буквами и читают самые разные люди.

У нас были какие-то неловкие отношения. Я даже не знал, как к нему обращаться, и звал по имени, к здешнему «дядя Саша» так и не привыкнув. А величать его по имени-отчеству или просто по отчеству, как он меня, не мог. Однажды в один из рано наступавших декабрьских вечеров зимнего солнцестояния, когда, промокшие и продрогшие, мы вернулись с Тюковым из леса, где рубили деревья для бани, и в темной кухне уселись перед открытым огнем русской печи, он рассказал мне историю своего рождения, про свою мать, потерявшую на войне мужа, и про молодого деревенского парня с редким именем Адольф, который был его настоящим отцом, но очень долго сына не признавал. Настоящее тюковское отчество звучало для моего уха диковато, а звать иным не поворачивался язык.

Я по-своему и любил и боялся падчечварского сураза, после того как однажды полушутя-полусерьезно он ни с того ни с сего сказал:

— Я ведь, Николаич, и убить тебя могу.

Наверное, просто так не говорят, и, значит, была у него причина, да и вообще порою чувствовалась в его наливавшихся скорым гневом глазах, в странных и даже надменных отношениях с деревенским миром, в какой-то затаенности и уязвленности страшная и непроходимая обида. Никому в голову в деревне не приходило и не пришло бы звать его словом, каким звали в прежние времена рожденных вне брака детей, но в глубине души он все равно был постоянно к оскорблению готов и поджидал обидчика. Может быть, и та роковая драка, когда ему отрубили нос, по этой причине случилась, да и вообще вся жизнь пошла наперекосяк. Я думаю теперь, он тянулся ко мне, потому что я был из другого мира, и рассказал свою

историю, боясь, как бы она не дошла до меня стороной в насмешливом пересказе. Но по легкомыслию и небрежности я в ту пору над его болью не задумывался, не понимал ее, не чувствовал. Мне было интересно его слушать, ходить по лесу и рыбачить и... продолжать о нем писать. Не только о нем, а о многих здешних людях. Но Тюков был особенным и после деда Васи самым дорогим.

Он искренне по мне скучал, радовался, когда я приезжал, и, покуда лесник был жив, он присматривал за домом, и избу не потрошили так сильно. Но все это в сюжет рассказа о зимней рыбалке и утонувшем в снегах джипе никак не вмещалось, хотя именно тогда в заснеженном марте, когда, застряв в сугробе в самый первый раз еще в деревне, там, где теперь зеленела трава и летали бабочки, мы пошли разыскивать бригадира Самутина, первое, что Юрик мне сказал, было:

— Сашка Тюков умер...

— Как — умер?

— Так вот и умер, — повторил Самутин, довольный произведенным его словами впечатлением.

... Потом уже Лиза рассказала мне, как все произошло. Тюков давно маялся животом и грешил на водку, знал, что пить ему нельзя, тем более пил он все подряд, но остановиться не мог, почти не закусывал и потом унимал боль настоем чаги. Однако несмотря ни на что был в свои пятьдесят с небольшим крепким и сильным мужиком, ворочал один громадные хлысты, был зол в любой работе, проходил в день десятки километров, все хвори запивал молоком, заедал картошкой с рыжиками, и казалось, в здешнем воздухе ничего дурного стрястись с ним не может, постепенно жизнь его устоится, он образумится и станет таким же степенным, неторопливым стариком, каким был дед Вася. Однако беда подступила с другой стороны.

Прошлой осенью Тюков почувствовал стеснение и боль в груди, и наконец стало ему так трудно дышать, что, не любивший лечиться и куда-нибудь из деревни уезжать, он отправился в райцентр в больницу. Там с ним обошлись невежливо, толком не выслушали, и обиженный лесник вернулся ни с чем домой. За обидой ушло время, минула зима, и, когда весной уже совсем хворый и обессиленный он поехал в райцентр снова, делать что-либо было поздно.

— Какой диагноз, ему самому не сказали, а направили в Вологду на инвалидность, — рассказывала мне Лиза ровным и бесстрастным голосом, стоя у печи в своем неизменном белом платке и скрестив тонкие учительские руки. — Я ничего не знала. И не догадывалась. А он переживал очень, говорил, умрет скоро. Я ему — ну это если первую группу дадут, тогда дело плохо. А тебе скорее всего вторую или третью, пенсию будешь получать. Печь новую собьешь. Он поехал, а потом возвращается — я его на дороге встретила, идет и показывает мне бумажку: дали ему первую группу. Так я жалела тогда, что сказала ему, что если первая, то худо, значит, совсем. Но слово-то назад не вернешь. Сам-от думал, от вина помрет, а вышло — от рака легких. Мучился очень все лето, пить бросил, не вставал, а Света с нами уже не жила давно. Она в больнице лежала на сохранении.

Так вот странно все сплелось: отец умирал, а дочка в это время рожала.

Девочкой, девушкой она была чудо как хороша. Помню, как поразило меня ее нежное юное лицо. Когда я приходил к Тюкову, она редко оставалась в избе, стеснялась и убегала, и я никогда не мог хорошенько ее разглядеть, но грустно было подумать, что эту девочку в глухой, безлюдной и никому не нужной северной деревне ждет. И кто мог тогда представить, что случится на Светкином пути и подобно своему

покойному отцу она прославится на всю Вологодскую область только благодаря событию, наоборот, радостному и счастливому?

Окончив школу, Света поехала учиться в Вологду на продавщицу. Однако прижиться в городе, как и когда-то молодому, вернувшемуся из армии Тюкову, ей не удалось, и она возвратилась в деревню. А там какая работа? Сама Лиза, когда уволилась после истории со скандальной тюковской дракой из школы, а потом уже уволили ее по сокращению штатов с почты, устроилась в собесе разносить по деревням пенсионеркам хлеб и пристроила на эту же должность Светку. Так и трудились они на пару, и Бог весть сколько бы еще эта трудовая повинность — хождение по разбитым падчечварским дорогам с набитыми хлебом сумками — продолжалась, когда б два года назад Света не вышла замуж.

Верней сказать, не вышла, а попросту переселилась к электрику, который жил на той же улице в доме напротив. Поначалу она все ходила к нему смотреть цветной телевизор, а однажды объявила матери и отцу, что собирается у соседа поселиться насовсем.

— Живи, если хочешь, — в сердцах сказала Лиза, — обратно будет недалеко перебираться.

Перебираться, однако ж, не пришлось, ибо жизнь у молодых, столь нетрадиционным для деревни образом соединившихся, заладилась. Несколько месяцев спустя они расписались. Свадьбу затевать не стали из-за отсутствия денег, и желанную для каждой девушки роль невесты в белом платье Светке сыграть не довелось. Просто съездили в сельсовет, или как это место теперь называется, и расписались. А еще через некоторое время молодая жена забеременела, и врачи обнаружили, что у нее будет... тройня.

Все лето молодая ходила большая и неповоротливая. Потом ее положили на сохранение в



районную больницу. Но дома был при смерти отец, и она запросилась в Кубинскую. До рождения внуков лесник не дожил, все лето промучился и в начале октября умер, а Светка еще оставалась в деревне. До родов было несколько недель.

Как это часто с двойней и тем более с тройней случается, роды начались преждевременно. Из деревни повезли ее в райцентр, в Вожегу. Но там в больнице имелся всего один кювез, и тогда из Вологды вылетел санитарный вертолет. Я не знаю, сколько это стоило и кто оплачивал борт, но на вертолете Свету Тюкову, самую обыкновенную деревенскую женщину, ничью ни родню, ни знакомую, привезли в вологодский роддом, и той же ночью она родила двух мальчиков и девочку. Здоровых и крепких. Таких же, как она сама.

К ней приходили из газет, пытались брать интервью и фотографировали — шутка ли, последний раз в области тройня родилась пять лет назад, — но роженица журналистов чуралась и, как только дети набрали положенный вес, сбежала в свою деревню.

Там ей подарили целое приданое для детей — стиральную машину, кровати, одеяла, пеленки, одежду, посуду, даже памперсы, которые жаль быстро кончились. Она живет в красивой северной деревне, где давно уже нет своих детишек, кормит грудью сначала одного, потом другого, потом третьего, недосыпает, стирает белье, убирает дом, а еще сажает и копает картошку и лук. Ей помогает мать, и так живут они наперекор всему, что творится в округе, пьянству и вырождению — только что будет с ее детьми?..

На следующий день за Тихомировыми должна была прийти машина. Еще по дороге сюда они договорились с шофером разбитого «жигуленка», который вез нас из Вожеги в Падчевары, что через несколько дней он приедет и их заберет, и эту последнюю ночь мои гости не спали. Они встречали на дворе восход солнца, и я

хотел дожидаться его вместе с ними, но в четвертом часу, когда небо на северо-востоке заалело и дневное светило, по моим представлениям, давно должно было подняться, как любил говорить покойный дед Вася, на три березы, а оно все не поднималось — ему мешал лесистый пригорок, — не выдержал и отправился спать. Супруги остались и утром рассказывали, какое это было фантастическое зрелище, когда брызнули из-за лесистой горушки солнечные лучи, будто начался пожар, загорелось небо, и лица светились восхищением, не было на них ни тени усталости от бессонной ночи. Я слушал их и чувствовал, как привязался к этим немолодым и все же гораздо более молодым, нежели я, людям, знал, что они уезжают не только с сожалением, но и тревогой и им не хочется оставлять меня одного, но им нужно было на работу, а мне — оставаться здесь.

Стояли у дома аккуратно собранные пятнистые станковые рюкзаки, мы глядели на извивающуюся вдоль реки дорогу и ждали машину; вся местность хорошо просматривалась, изредка вдалеке поднималась пыль, и тогда они набрасывали на плечи рюкзаки, но оказывалось, что это едет в Сурковскую колхозная полуторка, автолавка или молоковоз. А машина за ними так и не приехала, хотя шофер обещал, и сто рублей, которые они готовы были заплатить, считались здесь неплохими деньгами. Мы пробыли вместе еще один вечер, а на завтра я проводил их до рейсового автобуса и как ни уговаривал не торопиться, по деревенскому обычаю мы вышли слишком рано и застали автобус на пути к конечному пункту. Чтобы не ждать на жаре, пока он доедет до последней деревни и вернется, проехали до большого села Бекетова, где по сравнению с Падчеварами было многолюдно, мужчины и женщины ходили по-городскому одетые, прогуливали

детей молодые мамы и по моде щеголяли в мини-юбках девицы.

Странное дело, даже спустя много месяцев я хорошо помнил обстоятельства тех обыденных дней, погоду, дорожную пыль, стрекот кузнечиков, свои ощущения и среди них то, что все же до города Бекетову было далеко, и никто не удивился, когда на обратном пути автобус свернул с дороги и через поле по ухабам, поднимая за собой клубы белой пыли, которая проникала в салон и скрипела на зубах, поехал в родную деревню водителя. Там, в Назаровской, белоголовый, молчаливый и аккуратный автобусник скоро пообедал в доме у тещи и невозмутимо продолжил путь, и приодевшиися перед поездкой в райцентр пассажиры не роптали, его поджидая, а я рассказывал своим друзьям, как много лет назад этот же шофер вез меня на станцию и так же обедал в этом доме, только в добавление ко всему взял еще поросенка, который всю дорогу бегал по салону и визжал.

День был жаркий и душный, и когда в Падчеварах я сошел с автобуса, а они отправились дальше в Вожегу, мне стало по-настоящему грустно и сиротливо. Не доходя до Осиевской, я свернул направо к березовой рощице, где находилось падчеварское кладбище, на котором хоронили людей из трех деревень, расположенных на правом берегу реки. У левобережных был свой погост — так было заведено, чтобы не зависеть от времени ледостава и ледохода, когда связь между двумя берегами прерывалась, а смертушке до людских неудобств дела не было.

Прежде я приходил на кладбище к деду Васе и бабе Наде, но теперь мне нужно было найти могилу, что появилась здесь меньше года назад. Кладбище было немаленькое, здесь хоронили, должно быть, не одну сотню лет, но совсем старинных захоронений я не

обнаружил, не было здесь никогда и часовни, и общей ограды, а стояли среди берез большей частью простые деревянные или металлические кресты или конусообразные памятники со звездочками, фотографиями, надписями и всего несколькими разными фамилиями: Малаховы, Цыгановы, Шинины, Ковановы, Самутины, Матросовы, Першины, Ганины, Тюковы...

Я хотел, но постеснялся спросить у Лизы или у тюковской матери, схоронившей уже своего третьего сына, был ли Тюков крещен.

Скорее всего нет. Ведь он родился в сорок седьмом, когда не осталось в округе ни одной действующей церкви и много лет тут не крестили, не венчали и не отпевали.

Но сколько ж было теперь его старухе матери лет? Должно быть, уже за восемьдесят. Там, в избе, когда я зимой зашел к Тюковым, дома не было никого, кроме нее, и, охнув, маленькая, высохшая, ослепшая, но сохранившая разум бабка сползла с кровати и стала тревожно и хрипло спрашивать:

— Кто?

Я был уверен, что она меня не помнит, но когда назвал себя, вспомнила, обрадовалась и стала говорить, как Саша про меня вспоминал и все ждал, что я приеду.

— Когда ж меня Бог возьмет, а, Алеша? А? — спрашивала так, будто я мог что-то об этом знать. — Сашу-то когда хоронили, столько про него слов хороших сказали, сколько он за всю свою жизнь не слышал. Как людям помогал, для других все делал, а себе ничего.

Прежде она часто ходила на кладбище, где не был похоронен ее пропавший на войне муж, но лежали и рано умершие дети, и тюковский отец Долька, но теперь, после того как умер последний сын, сил ходить не стало...

Могила Тюкова была на краю, просторная, аккуратная и ухоженная, с уже установленным памятником и фотографией совсем молодого, незнакомого мне человека с еще не изуродованным лицом и немного растерянными глазами.

Я постоял недолго, выкурил сигарету и пошел к дому.

Всегда, когда остаешься один после того, как уехал кто-то близкий, нападает тоска. И не дожидаясь, пока она совсем меня заберет, прихватив весла и снасти, я собрал рюкзачок и пошел на реку. Было еще рано, по-прежнему висело над землей дрожащее марево, в котором медленно плыли над травой деревенские избы, гумно, овины, и в неподвижном воздухе я стал грести вверх по течению. Падчевары скоро скрылись из виду, остался позади брод, через который вела дорога на Чунозеро и через который еще совсем недавно гоняли на левый берег Вожеги совместное стадо колхозных и частных коров, и в помощь двум колхозным пастухам назначался по очереди кто-то из деревенских. В прежние годы коровы обыкновенно шли утром мимо моего дома вдоль загороды к реке, их перезвон меня будил в девятом часу, и, глядя на мычащих животных с мелодичными колокольчиками на шее, слушая окрики пастухов и удары кнута, я всякий раз думал, как чувствуют себя колхозные буренки рядом с хозяйскими — наверное, как детдомовские детки с папиномами.

Но теперь «детдомовских» ни в одной из деревень не осталось, их перевели на центральную усадьбу и должность пастухов упразднили, а своих коров пасли рядом с избами.

Раньше я редко когда отплывал дальше чем на полкилометра от деревни, жалел время и ловил прямо тут, у плота, где полоскали белье бабы и где было у противоположного берега в излучине несколько

глубоких мест, но в этот раз решил подняться километра на три вверх. Река была покойна и полноводна, изредка билась возле берега щука, гоняли малька окуни, плескались плотва и ельцы, но к середине июня по-настоящему уловистая рыбалка уже отошла. И все равно сидеть в лодке было хорошо, никуда я не спешил, а вспоминал, как несколько лет назад теплым сентябрем ловил в этом месте окуней. Бросал лодку без весел, и ее медленно-медленно несло вниз мимо желтых берез и темных елок, отражавшихся в очистившейся после лета воде, а я забрасывал в разные стороны удочку с красным поплавком, и у меня тотчас клевало.

Окуней тогда было так много, что я не мог съесть их сам и относил бабе Наде, но ей они были не в радость: это была ее последняя осень. Был жив и Тюков, у кого-нибудь из них я сидел вечерами, и не хотелось уезжать, а жить здесь долго-долго — хотя уезжать было надо...

Когда стемнело, я развел на берегу костер и пожалел, что не захватил с собой чайник. Странное дело, мне всегда казалось, что в середине июня темнеть в этих краях не должно вообще, однако от часа до половины третьего становилось довольно сумрачно и невозможно было разглядеть поплавок. Мне нравилась эта неожиданная теплая ночь на реке, и я решил провести ее у воды всю и встретить восход. Однако вскоре после полуночи за спиной стало погромыхивать, вспыхивать, воздух сгустился еще сильнее, и я испугался, что меня застанет на реке гроза. Я боялся оказаться на воде в железной лодке, быстро смотал удочки и погреб наперегонки с тучей. Молнии сверкали такие яркие, что озаряли всю местность, в реке отражалось небо с краями великолепных слоистых туч, но гром раздавался не сразу, был еще очень слабым, и хотя это означало, что разряды бьют далеко, в их фиолетовом свете было что-то зловещее. С правого

берега лес отступил, потянулась загорода, и видно было, как над долиной реки нависала невообразимо тяжелая, громадная туча, должно быть образовавшаяся над большим озером. Наливаясь на глазах, она неспешно смещалась в нашу сторону.

Я хорошо знал, что должно за этим последовать: налетит порыв ветра, встанет стеной дождь и начнется светопреставление, какое однажды в этой деревне мне уже случилось пережить. Нигде больше я не видел подобных гроз — в течение часа молнии били одновременно с треском грома, и от близких разрядов в доме с вывернутыми пробками вспыхивали лампочки. А деревня с разломанными деревьями и разметенными крышами после грозы выглядела как после побоища.

В лицо подул свежий ветер, начал накрапывать дождик — но я уже добрался до деревенских мостков, бросил лодку со снастями и побежал вверх в гору. Исполнилось около двух часов ночи, деревня спала и казалась совершенно пустой, только в одном доме горел свет, но живший в нем человек не выключал его никогда, даже если куда-нибудь уходил, и все к этому привыкли.

Молнии освещали луг, гумно, деревья и избы, но по-прежнему не было слышно грома, хотя грозе давно пора было начаться. Теперь я уже успевал добежать до дома и хотел, чтобы она разразилась и я стоял бы во дворе и оцепенело смотрел на непогоду. Но на полдороге со склона холма облегченно и огорченно увидел, что тяжелая туча проходит восточной стороной и, наверное, сейчас там, где ехали в поезде Николай Иванович с Людмилой, льет страшный ливень и, заглушая стук колес, гремит гром. А у нас постепенно стало стихать, молнии потускнели, сменились зарницами, дождик, чуть-чуть помочив землю и прибив пыль, перестал, и я пожалел, что напрасно ушел с реки и не встретил солнца.

И была еще одна, самая короткая в году, ночь на воде, когда я снова сидел один у костра, ждал восхода и не мог поверить, что эта ночь последняя и уже завтра утром я буду подъезжать к Москве. Будет казаться мне несуществующей деревня, снова потребуется усилие души, чтобы переместиться из одного мира в иной и привыкнуть к большому городу и его людям. Я сидел на песчаной косе, грел руки и наблюдал за тем, как светало. Комары исчезли, было очень тихо, и примерно в километре вниз по течению виднелся отблеск рыбацкого костра. Мимо проносилась река, и слышны были ее звуки: журчание воды на перекате, всплески рыб, шуршание темных стволов и веток о тростник, взмахи крыльев неведомых ночных птиц. Слабо светили звезды, где-то далеко лаяли собаки, и очень слабо гудел в небе самолет. Я сидел в каком-то странном бездумье и опустошении, а потом перед самым рассветом сверху по реке поплыл туман. Он надвигался из-за излучины, как вчерашняя туча, и поглощал деревья, камни, захватил меня, мой костер и лодку и двинулся дальше вниз. В тумане встало солнце, но он не рассеивался, а только наливался упругостью, тяжелел, оседал каплями воды на деревьях, кустах и сиденье лодки, как если бы по земле ползло дождевое темное облако, и из-за него мне так и не удалось увидеть восход. В четвертом часу дружно запели птицы, снова появились комары, я сел в сырую лодку и поплыл к чужому костру.

В этом месте река переставала петлять и примерно на километр тянулся широкий плес. Незнакомые мужики стояли у его начала лагерем. Один спал, а другой спустился к воде, где легонько качалась выдолбленная из цельного ствола маленькая лодка с одним веслом, и я вспомнил, как однажды на далеком озере Долгом пробовал на такой лодочке грести, но



ничего у меня не получалось, а сын хозяйки, у которой я купил избу, очень ловко с суденышком управлялся.

— Закурить не будет?

Я подгреб к рыбаку и достал тюковскую «Приму».

— Курите такие?

— Еще как курю, — обрадовался он: в этих краях не только Тюков, но и все мужики предпочитали сигареты без фильтра.

— Берите все.

Он растерялся:

— А ты как?

— Да мне они ни к чему.

— Ну ты цайку хоть попей. — И я догадался, что этот пожилой добрый человек в офицерском плаще не падчечварский, у нас здесь никто не цокал, а вот в верховье реки, в Тигине, цоканье было делом привычным.

У костра лежал потрепанный номер толстого журнала.

— Читаете?

— Да не, костер развести взяли.

Хотелось открыть журнал и посмотреть, кто был в нем напечатан и чьему произведению, знакомого или незнакомого мне автора, предстояло сгореть в этом бесхитростном огне на берегу реки, но протягивать руку я постеснялся.

Поднялся ветер, и туман исчез так же стремительно, как появился. Солнце осветило верхушки деревьев. Мы сидели у прозрачного утреннего огня и говорили о рыбалке, о колхозной старине, о бедняцкой коммуне, которую построили в двадцатые годы на берегу реки между Тигином и Устьем, но она не сохранилась, и о самой речке, где прежде было много рыбы и раков; рыбак рассказал, что родом он из Лещевки, предпоследней из тигинских деревень, находившихся выше по течению реки, но долгое время

жил в Северодвинске, а теперь вышел на пенсию и вернулся на родину. Здесь у него было хозяйство, огород, корова, рыбалка, и весной на долбленой лодке он спускался с товарищем до Бекетова, рыбачил и ночевал в палатке, но в этот год задержался. Я радовался, что могу как бывалый поддержать этот разговор и обсудить рыбалку на лесных озерах — Долгом, Манозере, Чунозере и даже на самом Воже, где какая водится рыба и на что в разное время года берет.

Проснулся и подошел к костру другой рыбак, помоложе и на вид помрачнее — я еще в самом начале своей падчеварской жизни подметил, что в здешних краях чем человек старше, тем добрее, — и они стали собираться вынимать сеть, а я отправился прятать «Романтику» на левом берегу — затаскивать ее к себе на гору мне не хотелось, да и было одному не под силу. Первое место показалось мне не слишком удачным, и в голову закралась гадкая мысль, что славные рыбаки могли заметить, где я ее схоронил, и, сам себя ругая за подозрительность, перепрятал лодку в другом, чертыхаясь и надрываясь, а потом, оглядев заросли ивняка, в который раз убедился, что лучшее враг хорошего, разделся, переплыл реку, держа над головой одежду, и пешком вернулся в деревню.

Было раннее утро. У часовни в Кубинской стояла Лиза. Она вся вымокла под дождем, и было столько радости в ее глазах, столько невысказанной таинственной благодарности, что вдруг кольнула меня странная, но очень точная и верная мысль, что Лиза — святая. Но только если я кому-нибудь об этом скажу, то она ужасно рассердится.

Она подошла ко мне, и я увидел в ее глазах странное колебание. Она точно сомневалась, надо ли мне говорить то, что она хотела сказать.

— Вот еще, — сказала она, себя пересилив, — Саша говорил, что в больнице какую-то повесть вашу читал.

Ему медсестра принесла.

Она замолчала.

— Обиделся он, как вы про маму его написали. Про меня, говорит, что хочет пусть пишет, а про нее-то зачем?

Я похолодел:

— Но ведь я не писал о ней ничего дурного.

— Я не знаю, я не читала, — сказала она торопливо и невнятно, как человек, выполнивший очень неприятное, но необходимое дело, — вы заходите к нам чаю пить, — и пошла по дороге в Наволок.

## Осенний поход в Коргозеро

И все же более и зимы, и весны, и лета я любил деревенскую осень. Она начиналась почти всегда в одно и то же время — около середины сентября, когда становились сырыми и пахли грибами тихие леса, созревала на болотах клюква, темнели от дождей стога свежего сена, в небе тянулись караваны гусей, желтизна берез и зелень елок смешивалась над синей водой покойных лесных озер, была удачлива вечерняя рыбалка на темной реке и счастливо-утомленное возвращение к дому. Поднявшись по покосившейся лесенке, я включал мягкий электрический свет, присаживался на высокий порожек у двери, с усилием двумя руками стаскивал болотные сапоги с натруженных ног, ставил на лавку корзину или рюкзак, умывался, ужинал, пил горячий чай и так остро чувствовал не растерявшую за день тепло избу и ощущал весь этот бесценный, не напрасно прожитый день, в котором не было обидно ни за одну минуту. Я жалел тогда лишь о том, что не могу жить так всегда, и в сентябре мне удается вырваться в деревню только на несколько денечков, а в остальное время я связан работой, домом. Как хотелось пожить здесь вдоволь и никуда не спешить, а медленно наблюдать за уменьшающимися днями и делающимися прозрачными лесами.

Здесь, в одиночестве, где целый день бродя по лесам, ни с кем не встречаешься, разве что, испуганно вздрогнешь, когда из-под ног с шумом взлетит огромный глухарь, и от того приобретаешь привычку, как этот самый глухарь, токовать и бормотать себе под нос, — здесь я невольно предавался самым странным

мыслям и фантастическим мечтам. И одна из них была о Коргозере.

О таинственной, окруженной лесами и стоящей на отшибе деревне, куда заросли все пути-дороги и вели лишь лесные тропы, я слышал столько, сколько в Падчеварах бывал. Жадно расспрашивал сам, разглядывал Коргозеро на карте, много раз вокруг лесного селения кружил и восхищался его укромным расположением, подходил совсем близко и слышал за деревьями лай собак. Несколько раз встречался в лесу с приветливыми коргозерами — так звали жителей деревни, — казалось мне, сделаю я еще один шаг — и увижу серые крыши деревенских изб. Часто грезилось мне Коргозеро во сне, но до той осени наяву ни разу я до него не доходил, выставляя в качестве причины своей нерешительности обстоятельство литературное: когда-то в Коргозеро, по словам деда Васи, наведывался из своей Тимонихи суровый писатель Василий Иванович Белов, и, случайно поселившись с ним по соседству, я уважал его территорию и границы переступить не смел.

Я не был тогда еще знаком с Беловым лично — видел только однажды на несостоявшемся открытии памятника Сергию Радонежскому в деревне Городок под Москвой. Было это году в восемьдесят шестом не то седьмом. По распоряжению властей открытие сомнительного религиозного монумента отменили, машину со скульптурой еще рано утром задержали на Ярославском шоссе в районе Мытищ, но народу собралось много, и оцепившая местность милиция вела себя как трусливая волшебница Бастинда: милицейские патрули перекрыли шоссе и пути к Городку, однако идти по лесу никто не возбранял и люди постепенно просачивались к месту сбора. Здесь же стояли пустые автобусы, и высокий милицейский чин призывал всех расходиться и садиться в автобусы, которые, якобы,

направлялись к ближайшей железнодорожной станции, а по слухам в хотьковское отделение. Народ собирался в большую кучу, говорили о масонских происках, ругали московского вождя Зайкова, и ситуация была довольно нервной: заря массовых демонстраций над Русью еще не занялась, а лишь забрезжила и, как поведет себя неласковая власть, было неясно.

Милиция прибывала, в толпе раздавались выкрики и призывы к неповиновению, нас брали в кольцо, небо хмурилось, скульптор Клыков нервничал, и только невысокий, коренастый, похожий на старичка-лесовичка в теплой куртке с меховым воротом и седой бородкой Белов, стоявший посреди почтительно окружавших его фигуристых людей, насупленный, зоркий и ничего не боящийся, казался сильнее и выше всех, был единственной защитой — при нем-то тронуть нас не посмеют. И действительно не посмели...

И потом я так любил «Плотницкие рассказы» и «Привычное дело», а еще помнил смущенного, обаятельного их автора, когда он приезжал к нам в университет и, озирая набившихся в большую аудиторию студентов и преподавателей, говорил глухим и невыразительным голосом, как жалеет о том, что не довелось ему здесь поучиться...

И вот по мере того, как я облазил всю доступную мне здешнюю округу и одно лишь Коргозеро оставалось белым пятном, все больше и больше меня туда тянуло и хотелось хоть одним глазком взглянуть и на деревню, и на озеро. На самом-то деле я боялся туда пойти не из-за одного мистического страха перед Василием Ивановичем и его землей, а еще и потому, что не хотел тревожить в душе чувство сожаления, опасался, как бы не пронзила меня мысль, не заняло сердце, что в Коргозере-то и надо было покупать избу. Там-то уж точно встретилась бы мне затерянная земля, которой я грезил, а то обстоятельство, что добираться до нее еще

труднее, чем до Падчевар, и никакие импортные джипы и отечественные «козлы» туда не ходят, лишь радовало меня.

Настроение мое было тем более тягостно, что на этот раз неведомые воры взялись за избу всерьез и не только украли все ведра, кастрюли, самовар, одежду, сняли колеса с велосипеда, вывернули лампочки и утащили даже детскую раскладушку, но сумели взломать главный и доселе не сдававшийся мой бастион — запиравшийся на амбарный ключ сенник, для чего они разобрали крышу и вынесли оттуда всю водку и еду. И в Осиевской, и в Кубинской уже давно почти все, с кем я встречался, когда шел с бидоном и пластиковой бутылкой на колодец или на реку, спрашивали об одном и том же: залезали ко мне или нет? И это жадное любопытство было неприятно.

Однако в этот раз оказалось, что за прошедшие месяцы от набегов пострадал не я один; люди жаловались, что воруют не только у отпускников вроде меня, но и у тех, кто живет постоянно.

— Раньше-то никогда такого не бывало. И замков не держали. Приставят батожок к двери — значит, нет хозяина. Никто и не пойдет.

Говорили, что в Падчеварах орудует чуть ли не шайка, что у кого-то в Наволоке украли стиральную машину, а в другом доме у старухи утащили старинную икону. Приезжала милиция, и на какого-то парня из Сурковской недели наручники и увезли, но он якобы был не один, а взял всю вину на себя, и дружки его остались на воле.

Я уже свыкся в душе с мыслью, что избу мою рано или поздно разорят совсем, как вороны чужое гнездо, и поделаться с этим я ничего не смогу. Но пока были целы стены, окна и крыша, я жил сегодняшним днем и старался не думать о том, что станет завтра.

Назло всему я любовался желтеющими деревьями, поднимался вверх по реке на лодке, ходил по лесам, тщетно пытаюсь насобирать опят или подосиновиков. Обычно в эти осенние приезды едва успеваешь поворачиваться. Осенью для приезжего человека каждый час на счету: за не слишком длинный световой день надо и в лес за грибами сходить, и ягод набрать, а еще успеть на вечернюю рыбалку. Потом до полуночи сидеть и чистить, отваривать, солить или резать на сушку грибы, готовить уху или жарить рыбу. Однако в этот год я опоздал, плотва брала в сумерках вяло, грибы почти все отошли, лишь попадались в лесу усеянные черными склизлыми опятами пни, иногда встречались громадные желтые грузди или, как красная сыпь на траве, появлялись крохотные, годные только для засола горькушки.

А больше ничего и не осталось — но зато было много времени, я угадал к самому расцвету золотой осени: леса светились и полыхали, под ногами все было желтым и красным, ночами зажигались над деревней звезды, мерцали и обнимали холмистую землю. И хотя деньки стояли большей частью пасмурные и тихие, снова был в природе праздник равноденствия дня и ночи, жизни и смерти, холода и тепла, покоя и тревоги, был первый праздник церковного нового года — Рождество Богородицы. По вечерам я иногда заходил к счастливой помолодевшей бабе Лизе, которая никогда не спрашивала меня про обворованную избу, но рассказывала, как приезжал к ним из Вожеги батюшка и окрестил троих деток, а заодно и их молодых родителей, а еще исповедовал и причастил тюковскую мать.

— Всех из избы выгнал, когда исповедовал.

— Положено так.

Но Лизе было смешно и странно, что ее, хозяйку, выгнали из собственной избы.



— А еще говорят, церковь в Огибалове скоро откроют. Алешка-поп из Северодвинска служить будет.

Оказалось, что один из деревенских стариков, который прежде жил в Северодвинске, а потом купил в Кубинской дом, был дьяконом в северодвинской церкви. Странное настало время, ни воровства поголовного, ни попа крестящего и исповедующего прежде не было, плохое мешалось с хорошим и уравнивалось, как осенние дни и ночи.

С крынкой молока я возвращался из хорошо протопленной Лизиной квартиры, наугад нащупывая в поле разбитую колею, поднимался в комнату, включал старенький транзистор, крутил ручку и странствовал по шорохам и волнам. В ночные падчеварские часы далекие радиоголоса отвлекали от одиночества и тревоги. Что-то старческое, мнительное объявилось в моей душе к сорока годам. Я вспоминал страхи бабы Нади, боявшейся после смерти деда включать свет в избе, и, обыкновенно беспечный и легкомысленный, отмахивающийся от ее вопроса: «Не страшно тебе там одному-то?», любивший уединение и волю, тщательнее обычного запирал засовы и ночью тревожно прислушивался ко всем звукам. Но никто не трогал меня, и даже веселые соседи были настолько увлечены осенней охотой, что больше не загорали на крыше под щедрым сентябрьским солнышком. Только однажды я пережил несколько неприятных минут, когда возвращался в сумерках с реки и вдруг увидел стоявшую на краю поля белеющую «Ниву».

Я вспомнил, как тюковский сын Алексей рассказывал мне, что где-то здесь на краю овсяного поля охотники устроили лабаз и что туда наведывался медведь, и сам Алексей однажды видел, как зверь шел берегом реки. Тропинка в этом месте вела через кусты, земля была изрыта кабанами, и в моей голове тотчас же возникла картина: сидящие в засаде охотники и треск

веток на берегу, торопливые выстрелы... Что делать — кричать, петь песни? Я шел ни жив ни мертв и, только когда кусты кончились, облегченно вздохнул.

Но опасность поджидала меня с другой стороны. Однажды в лесу за рекой далеко от дома я случайно набрел на гриву: посреди обыкновенного заросшего травой неинтересного заболоченного леса возвышался крутой холм и по его склонам стеной взбирались на кручу деревья. К холму вела неприметная тропинка. Я поднялся по ней и увидел мшистую поляну, а на поляне россыпь громадных, размером с тарелку, подосиновиков. Они росли кругами, и большинство из них было старыми и червивыми, в другой раз я не обратил бы на такие грибы внимания, но теперь был рад и им.

Часть грибов я поджарил, остальные решил сушить. У меня оставалось мало дров, и, поскольку дни стояли нехолодные, уже два дня как я не топил печь, но по такому случаю хорошенько ее протопил, нарезал и разложил сверху грибы и пораньше закрыл вьюшку, хотя в глубине печи еще вспыхивали голубые огоньки, а сам ушел в баню. Я поступал так иногда с печкой, зная, что через час, максимум два угарный газ разложится, зато печь будет очень горячей. И в самом деле, когда поздней ночью, распаренный и счастливый, наглядевшись на осенний закат и звездное небо, накатавшись по сырой траве, вернулся, в избе было сухо, тепло и никакого угара не чувствовалось. Утомленный, я наспех поужинал, лег спать и сразу провалился, но сон мой был неспокоен. Проснулся я от какого-то странного ощущения. В избе было уже светло. Остро пахло подсыхающими подосиновиками, и запах их казался неприятным. Мне было вообще очень нехорошо.

Некоторое время я лежал и не понимал, что происходит. Потом босиком подошел к окну, не ощущая

ступнями привычного холода. За запотевшим стеклом не было видно ничего: молочный туман лежал на земле, как лежит зимой снег, и был он гуще и холоднее тумана летнего. В ушах шумело, булькало, болела голова, меня подташнивало, и очень медленно краем сознания я начал понимать, что в избе угар. Никогда прежде угорать мне не доводилось, хотя об опасности угара меня часто предупреждали и рассказывали, что угорают даже местные, ко всему привычные люди, особенно когда топят холодную печь, и мне сделалось жутко, будто я выпил какой-то отравы или съел бледную поганку. Страшно было из-за этого непонятого тумана, который мог принадлежать уже иному миру. Я не понимал, жив я или мертв, стоит этот туман наяву или же только в моих глазах, но сообразил быстро открыть печную трубу, распахнуть окна и дверь и выскочил на улицу.

Туман не двигался, он был непроницаем и непроходим, и казалось, закопаченный этим туманом и упакованный в него, как в целлофан, дом остался один в целом мире. Трудно было дышать, меня стало выворачивать, но рвоты не было, а только навалилась страшная слабость. Я сидел на порожке дома под просвечивающей кровлей и мерз, разевая рот, как рыба, и думал о том, что мне невероятно повезло: я мог бы не проснуться и мой московский страх однажды не вернуться из деревни был не напрасен. Только уже совсем окоченев, зашел домой и лег спать, не закрывая окон и двери, но даже во сне в зыбкой дрожи чувствовал, как очищается сознание и сквозь радость спасения пробивается в нем хозяйское прижимистое сожаление, что понапрасну извел накануне вечером столько дров.

Наутро от тумана не осталось ничего, в доме остыла печка; светило солнце, грибы высохли, голова моя прошла, и все произошедшее показалось муторным

сном, но с той поры я стал бояться закрывать печь и тревожно смотрел на таинственные огни в ее глубине, чье мерцание могло принести не только жизнь и тепло...

Быть может, с той ночи я потерял счет проведенному в Падчеварах времени, и стало чудиться мне, что живу я здесь давным-давно. Писать не хотелось, и, дабы оправдать свое пребывание в деревне и отсутствие в семье, как на работу я ходил на Большой мох и приносил оттуда клюкву, которой уродилось сей год немало, но на истоптанном и уже обобранном бабами из всех окрестных деревень, как обклеивают птицы вишню, болоте не так-то легко было найти нетронутую кочку. Еще клюква росла по берегам Чун-озера, и, как-то раз, возвращаясь с лесного озерца, я увидел стоявшего посреди реки человека. В этом месте был брод, однако человек забрал левее, а значит, он был нездешний и вот-вот должен был черпнуть. Спортивная фигура показалась мне знакомой. Я пригляделся внимательнее и убедился, что это был один из спасателей джипа.

Так у меня появился спутник. Опытный Александр, которому случилось в молодости прожить целый год в деревенском доме в Кириллове, не только спас меня от одиночества, но и взял на себя ответственность закрывать печь так, чтобы не угореть, однако и не выпустить тепло, а также пополнил запас еды и питья, благодаря чему в первый же вечер красноречиво и окончательно развеял мои литературные сомнения, подбив на поход в Коргозеро, к которому я был в душе давно готов. Два дня спустя после неудачного путешествия к Устью, заброшенной деревне, стоявшей в том месте, где впадала в Вожегу речка Чужга и куда мы так и не добрались, потому что на полдороге нас накрыло ветром и дождем, мы двинулись на юг.

Чтобы сократить путь, переплыли на лодке через речку и, спрятав «Романтику» в прибрежные кусты, пошли вдоль линии электропередачи. Это была уже ставшая привычной мне дорога к ягодным угодьям Большого мха, но в эту осень она сделалась совершенно сухой, и на тропе, где обычно мы брели по колено в воде или скакали с кочки на кочку, было видно неглубокое, жутковатое русло обезвоженной Токовицы. Вокруг было какое-то невообразимое количество птиц. Я не знал их названий, но то и дело, пестрые, черные, тяжелые, они с шумом срывались с места, взмывали в воздух и перелетали с дерева на дерево.

Вскоре нашу дорогу пересекла узкоколейка. Около нее стояла снятая с рельсов маленькая самодельная дрезина — пионерка, на которой приехали сюда сборщики ягод. А у нас теперь был выбор. Можно было идти более коротким путем прямо вдоль столбов в Коргозеро или же сделать круг, пройдя по железнодорожной насыпи, и свернуть к крохотному Гагатринскому озеру. Вторая дорога казалась мне красивее, в одном месте она шла по гряде, и мы вступили в долгую арку под нависшими над шпалами ветками деревьев. Узкоколейкой здесь уже не пользовались, хотя еще несколько лет назад я ехал по ней на пионерке вместе с прежней хозяйкой дома и ее сыном. А теперь мост через речку Коргу, за которой наша дорога сворачивала к Гагатринскому озеру, был почти разрушен; бывая здесь каждый год, я видел нараставшие разрушения, но перейти на ту сторону по уцелевшим бревнам пока что еще было возможно.

Следы одичания, заброшенности домов и лесов я видел не только здесь. Еще несколько лет назад на Чун-озеро можно было проехать на тракторе, дорогу худо-бедно поддерживали, чистили, теперь же в нескольких местах ее перегородили огромные стволы вывороченных бурей деревьев, и чтобы их обойти,

приходилось делать изрядный крюк по лесу. И почему-то казалось мне, все это происходило из-за того, что помер трудяга Тюков, незаметно ухаживавший за здешним лесом.

От Гагатринского озера, дальше которого я никогда раньше не ходил и где безуспешно мы попытались рыбачить, дорога повернула налево, затерялась в болотце, а потом вынырнула из него и вскоре снова влилась в столбы; оказалось, она просто делала крюк.

Здесь ходили, должно быть, нечасто. В прежние и совсем недавние времена, которые даже мне удалось застать, Коргозеро, формально относившееся к нашему бессмертному колхозу «Вперед», опекалось падчеварскими мужиками. Сюда приезжали они на тракторе целой бригадой на сенокос, жили по две недели, а заодно помогали коргозерским старухам по хозяйству, латали крыши, чинили загороды — но уже несколько лет никто из Падчевар в Коргозеро не навещивался; природа быстро брала свое, тропинка была совсем узенькой, а еще через несколько лет она зарастет совсем, рухнет мост через Коргу, и никто не найдет далекое селение. Но вот наконец деревья отступили, перед глазами появилась громадная открытая холмистая местность, стога, мы прошли еще совсем чуть-чуть, и от того, что увидели, перехватило дух.

Вдали окруженное березами, в золотой чаше лежало круглое озеро, а прямо перед нами располагалась вологодская Ясная Поляна. В ней было изб пятьдесят. На огромном скошенном лугу с равномерно распределенными по всему зеленому пространству стогами паслось несколько коней, а в стороне стояло довольно большое сооружение, похожее на амбар, и, только приглядевшись к нему внимательно, в постройке с усеченными главами и порубленными крестами можно было разглядеть бывшую церковь.

Из дома вышла старуха и, не глядя на нас, пошла к коням. Издалека плохо было видно, что она делает — уж не коней ли ловит, но оказалось, что бабка попросту отгоняет красавцев от стога сена. Мы направились к первой встреченной нами коргозерке, однако, сурово взглянув в сторону незваных гостей, величественная старуха скрылась в огородах, и мы растерянно остановились перед таинственной деревней. Тропинка вела к калитке в чужой загороде, открывать ее мы не решились и обошли деревню справа, ступив на единственную и не слишком широкую улицу. Дома на ней стояли по обе стороны, отчего поселение было вытянутым, но не вдоль озера, как я предполагал, а по направлению к нему, и ближайшую к воде избу разделяло с берегом с полкилометра. Деревня была сама по себе, а озеро само по себе.

Иначе и не могло быть. Точно так же, как не было ни одной деревни на берегу озера Воже, не считая единственной Чаронды, невозможно было построить дома и на берегу Коргозера — оно было окружено тростной, и только в одном месте рыбаки прорубили проход к чистой воде. Так что зря мы тащили удочки — рыбачить на озере можно было лишь с лодки. Да и само озеро, давшее название селу и такое большое на карте, вблизи удивило меня своей незначительностью. Крохотные лесные озера были куда живописнее, а вот таких чудесных деревень я еще не видел нигде.

Все было в ней очень уютно, чисто, убрано, и, быть может, впечатление этой аккуратности усиливалось оттого, что в отличие от колхозных деревень, где дороги были разбиты тракторами и после дождей колеи и ямы заполнялись водой и грязью, в Коргозере было необыкновенно тихо, опрятно. Можно было спокойно идти по самой середине улицы мимо чистых окон с резными наличниками, ровных оград и березовых поленниц, и от этой картины, пасущихся на сыром лугу

коней, от тишины и покоя пахнуло такой стариной и зануло сладко сердце...

Мы остановили одну бабку — услышав, что мы из Осиевской, она обрадовалась и стала называть известные и неизвестные имена деревенских старух и мужиков, и оказалось, что она хорошо знала тюковскую матушку, с которой когда-то ходила на посиделки, и очень сокрушалась о Сашиной смерти.

А еще она рассказывала, как до войны жила несколько лет в Ленинграде на Литейном, и было странно слышать от нее названия петербургских проспектов и дворцов и ужасно хотелось подольше с бабкой потолковать, узнать, почему поехала она в Питер и почему вернулась, как сложилась ее жизнь и как живется в тиши и одиночестве теперь. Она звала нас зайти в дом и даже предлагала переночевать, почему-то совсем не боясь незнакомцев, и только сокрушалась, что не может ничем, кроме лука и картошки, угостить. Но Шура потянул меня дальше.

— Представь, как станет ей тоскливо, когда мы уйдем.

У закрытого много лет назад магазина мы встретили двоих мужиков, поговорили о рыбалке и снова услышали жалобы, что раньше-де рыбы было много, а теперь она вся перевелась, и на всякий случай узнали, по каким дням уходит рабочий поезд из Сорок второго в Кадниковский.

Только теперь, достигнув Коргозера, я понял, что мои представления о его оторванности от мира были преувеличенными. От Коргозера до Сорок второго, где жила прежняя хозяйка моего дома Тася Мазалева, вела довольно хорошая дорога, а Сорок второй — возникший вскоре после войны леспромхозовский поселок — при всей своей неуютности и искусственности был местом вполне обжитым, устойчиво связанным с железной дорогой, снабжением, почтой и медпунктом.



День был серенький, изредка собирался дождик, мы бродили по деревне, и мне хотелось узнать, почему люди облюбовывали те или иные места; наверное, она была очень старая и очень отдаленная — и если все здешние деревни располагались кустами по семь-восемь, а то и больше деревень, Коргозеро было единственным поселением, стоявшим обособленно. Отчего никто не захотел рядом — из удаленности от реки или жаждали простора и уединенности его первые поселенцы?

Но больше всего поразила меня одна изба. Что-то было в ней или, вернее, вокруг нее необычное и в то же время с детства знакомое. Я не сразу разобрал, что именно, и, только приглядевшись, понял. Возле дома росли яблони. Невысокие, больше похожие на кусты, может быть, какого-то особенного сорта. И снова вспомнился мне дед Вася: так вот, значит, где была граница тепла и холода, водораздел двух бассейнов рек, стекавших с одной стороны в Белое море, а с другой на юг — к Волге. Должно быть, она проходила именно здесь, и весной можно было увидеть, как по-разному тает с двух концов Коргозера снег.

Напоследок мы двинулись в сторону церкви. Она была открыта, но совсем не загажена, как многие из северных брошенных церквей, которые мне доводилось повидать, росписи на стенах не сохранились, однако неожиданно взгляд наткнулся на надписи на полу и стенах. Их делали, видно, дети, приезжавшие сюда на летние каникулы. Девичьи имена, годы посещения, но никакой похабщины, и одна очень странная, крупными буквами: «Гос., прости меня». Почему-то именно так, с сокращением. Я пробежал глазами по стенам, а потом увидел еще одну слабую, сделанную карандашом надпись. Пригляделся... «Здесь вешали хлеб...» Дальше шли фамилии, которые я не запомнил, и цифры: «1943», «1944».

К Падчеварам мы вышли уже в сумерках ни живые ни мертвые от усталости и не сразу поняли, что лодки на месте нету. Почти час искали ее по берегу, казалось, вот-вот она появится, и мы просто перепутали кусты — но надеяться было не на что и нечего искать. Пока мы ходили по лесам, «Романтику» увели и скорее всего уже продали кому-нибудь за пару бутылок. Жалко было ужасно...

В темноте по лавам перешли речку, собрали ужин и опять сидели до утра в янтарной избе, выходили во двор, отворяли ворота, смотрели на звезды и далекие огни и никак не хотели уходить, вспоминали свое детство, студенческие годы, говорили про друзей, про детей, про наших рано умерших отцов, про Сашку Тюкова и про деда Васю, Светку, Лизу... А наутро заколотили окна, закрыли двери, и дом остался посреди поля. После того как он скрылся за горушкой, мне подумалось вдруг, что, быть может, мой осенний поход в Коргозеро был прощанием с этой землей. Все было открыто, и на душе сделалось печально и сиротливо. Странно все это было. Как та последняя сухая падчеварская осень.

---

<b>notes</b>
--------------

## **Примечания**

**1**

Я не нищенка *(фр.)*